АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
VI

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1957

SOMMAIRE

Articles: O. P. Sounik (Léningrad). Sur la caractéristique typologique des langues toungousso-manchoures; M. S. Gourytcheva (Moscou). Les tendances principales du développement des groupes de mots en français; **Discussions:** A. A. Réformatski (Moscou). Qu'est-ce que structuralisme?; A. S. Melnitchouk (Kiev). A propos du structuralisme linguistique; **Communications et notices:** T. A. Ivanova (Léningrad). De l'histoire de la déclinaison des noms en russe; A. N. Gvozdev (Kouybichev). Ont les positions phonémiques la fonction distinctive?; V. K. Tchitchagov. Problèmes de l'onomastique historique russe. Sur la rélation des noms russes et grecs dans la langue russe de XV—XVII siècles; A. B. Pravdine (Tartou). Sur les significations proto-slaves du datif; Y. D. Aprésiane (Moscou). Le problème du synonyme; V. V. Chevorochkine (Moscou). Sur l'histoire du génitif indo-européen; **De l'histoire de la linguistique:** O. N. Troubatchev (Moscou). Le dictionnaire étymologique des langues slaves de G. A. Iliyinski; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** Z. Tyl (Prague). Travail sur le nouveau dictionnaire de la langue vieille tchèque; Le VIII congrès international des linguistes.

CONTENTS

Articles: O. P. Sunik (Leningrad). On the typological characteristics of the Tungus-Manchur languages; M. S. Gurycheva (Moscow). The main trends in the development of word-groups in French; **Discussions:** A. A. Reformatsky (Moscow). What is structuralism?; A. S. Melnichuk (Kiev). On the linguistic structuralism; **Notes and queries:** T. A. Ivanova (Leningrad). From the history of Russian noun-declension; A. N. Gvozdev (Kuibyshev). Have phonetic positions distinctive function?; V. K. Chichagov. Problems of Russian historical onomastics. On the relation of Russian and Greek names in the Russian language of the XV—XVII centuries; A. B. Pravdin (Tartu). On the Proto-Slavonic meanings of the dative case; Y. D. Apresyan (Moscow). The problem of the synonym; V. V. Shevoroshkin (Moscow). On the history of the Indo-European genitive; **From the history of linguistics:** O. N. Trubachev (Moscow). G. A. Iliyinsky's etymological dictionary of the Slavonic languages; **Critics and bibliography; Scientific life:** Z. Tyl (Prague). Work on the new dictionary of the old Czech language; The VIII th International congress of linguists.

Бюро Отделения литературы и языка Академии наук СССР, дирекция, партбюро и местком Института языкознания АН СССР и редколлегия журнала «Вопросы языкознания» выражают глубокую благодарность всем организациям, научным учреждениям и отдельным лицам, приславшим в их адрес поздравления с сороковой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и пожелания новых успехов советским ученым.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов* (и. о. зам. главного редактора), *Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова.*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

О. П. СУНИК

К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯЗЫКОВ ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКОЙ ГРУППЫ

Тунгусо-маньчжурские языки, как и языки монгольские, тюркские, угро-финские, японский, корейский и некоторые другие, принято называть агглютинативными (точнее — суффиксально-агглютинативными). Исследователи тунгусо-маньчжурских языков, говоря об агглютинации в каждом из этих языков, прежде всего имеют в виду суффиксацию.

«Эвенский язык, наряду с прочими языками тунгусо-маньчжурской группы, принадлежит к языкам агглютинативным. Как словообразование (образование новых слов), так и словоизменение (изменение основ (? — *О. С.*) в зависимости от словосочетания, т. е. склонение, спряжение) происходит в нем с помощью как бы приклеивания особых частиц—прилеп. Эти прилепы-приставки в эвенском языке всегда следуют за основой слова, т. е. относятся к разряду суффиксов-подставок» [1].

Иногда тунгусо-маньчжуристы говорят об агглютинации, как об основном, или ведущем (следовательно, не единственном), способе словообразования и словоизменения. Но и в этих случаях под агглютинацией понимают присоединение к корню или основе слова различных суффиксов [2], иначе — постпозитивных по отношению к корню формальных морфем [3] и т. п.

Как будет видно из дальнейшего, приведенные формулировки являются недостаточными. Они не учитывают всех типов слова, а также всех грамматических средств (способов) словообразования и словоизменения.

1

О морфологических типах слова

В результате исследования морфологической природы лексики тунгусо-маньчжурских языков устанавливаются три важнейших типа простого («синтетического») слова, внутри которых могут быть отмечены более дробные подтипы.

Первый тип может быть назван суффиксально-продуктивным, или суффигирующим, типом слова [4]:

Эвенк. *сукэдэвкэнмузэрэн (сукэ-дэ-вкэн-му-зэ-рэ-н): сукэ-* корень слова (иногда внешне совпадающий с основой и формой существительного ед.

---

[1] В. И. Цинциус, Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка, Л., 1947, стр. 9. То же в более краткой редакции см.: Т. И. Петрова, Очерк грамматики нанайского языка, Л., 1941, стр. 8; Г. М. Василевич, Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1940, стр. 7.

[2] См. О. А. Константинова и Е. П. Лебедева, Эвенкийский язык, М.—Л., 1953, стр. 44.

[3] В. А. Аврорин, Грамматика нанайского языка, ч. I. Автореф. докт. диссерт., Л., 1955, стр. 8.

[4] В статье приняты следующие сокращения названий языков: эвенк. — эвенкийский, эвен. — эвенский, нан. — нанайский, маньчж. — маньчжурский, ульч. — ульчский, удэйск. — удэйский, негид. — негидальский.

числа им. падежа) «топор»; *сукэдэ-* производная глагольная основа «ударить топором»; *сукэдэвкэн-* каузативная основа глагола («побудительный залог») «заставить ударить топором»; *сукэдэвкэнму-* оптативная основа глагола («желательный вид») «хотеть заставить ударить топором»; *сукэдэвкэнмуҗэ-* видовая основа того же глагола («несовершенный» вид); *сукэдэвкэнмуҗэрэ-* временна́я основа того же глагола (настоящее несовершенное время); *-н* окончание 3-го лица ед. числа: «он хочет заставить (кого-то) ударить топором».

Энен. *молавкаччоттан (мо-ла-вкач-чот-та-н): мо-* именной корень (иногда внешне совпадающий с основой и формой существительного ед. числа им. падежа) «дерево»; *мола-* производная глагольная основа «пойти за дровами»; *молавкач-* каузативная основа глагола («побудительный залог») «заставить кого-либо пойти за дровами»; *молавкаччот-* видовая основа глагола («обычный вид») «обычно заставлять кого-либо пойти за дровами»; *молавкаччотта-* временна́я основа того же глагола (настоящее время); *-н* окончание 3-го лица ед. числа: «он обычно заставляет (кого-то) пойти за дровами».

Нан. *сэпэкэнсэлӈгуеэси (сэпэ-кэн-сэл-ӈгу-вэ-си): сэпэ-* именной корень слова (иногда внешне совпадающий с основой и формой существительного ед. числа им. падежа) «соболь»; *сэпэкэн-* основа уменьшительной формы существительного единственного числа «соболек» (иногда — производная основа другого имени «детеныш соболя»); *сэпэкэнсэл-* основа формы существительного множественного числа «соболики» (~ «соболята»); *сэпэкэнсэлӈгу-* основа формы отчуждаемой принадлежности того же существительного; *сэпэкэнсэлӈгуеэ-* форма винительного падежа лично-притяжательного склонения; *-си* лично-притяжательное окончание 2-го лица ед. числа: «тебе принадлежащих соболиков (~ соболят)», «твоих маленьких соболей (~ соболят)».

Маньчж. *тацибукудэ (таци-бу-ку-дэ): таци-* глагольный корень слова (< * *та-ци-*), иногда внешне совпадающий с непроизводной глагольной основой или формой глагола повелительного наклонения 2-го лица ед. числа «учиться»; *тацибу-* каузативная основа глагола, иногда внешне совпадающая с формой повелительного наклонения 2-го лица ед. числа «учить»; *тацибуку-* производная основа отглагольного существительного (имя деятеля), иногда внешне совпадающая с существительным ед. числа им. падежа «учитель»; *-дэ* окончание дательно-местного падежа: «у учителя, учителю».

Количество подобных примеров легко увеличить во много раз. Но и из приведенных примеров должно быть видно, что данный морфологический тип слова составляют многоморфемные слова, состоящие из корня (корневой морфемы) и нескольких суффиксов, последний из которых (наряду с так называемой нулевой формой) является окончанием слова, а все другие вместе с корнем образуют различные типы основы этого слова.

Второй тип — суффиксально-непродуктивный — образуют неизменяемые слова (слова, не имеющие форм реляционного словоизменения, но обладающие явными признаками морфологического строения, морфологической членимости). В составе каждого из них выделяется корень и один-два суффикса. Слова эти входят в разряды наречий, прилагательных; к ним относятся также некоторые служебные слова. Многие из этих слов имеют следы былой изменяемости. Таковы, например, окаменевшие формы местных падежей приводимых ниже наречий — в прошлом, возможно, различных падежных форм одного слова (имени), а теперь — разные слова.

Эвенк., эвен., негид. *аваски*, нан. *хаоси*, ульч. *хаваси*, маньчж. *абси* «куда?» Ср. соответственно *эвэски*, *эуски*, *эвэси*, *эбси* «сюда». В словах этого типа при их сопоставлении выделяется прежняя именная основа

ава- ~ *хао-* ~ *хава*, *эвэ-* ~ *эу-* ~ *эвэ-* ~ *эб-* и бывшее именное окончание *-ски* ~ *-си*, восходящее к форманту старого направительного падежа. Ср. еще эвен. *угэски* «вверх», *ујгич* «сверху», *ујлэ* «вверху», *ујли* «по́верху» и т. п.

Такова же морфологическая структура и многих других наречий места, времени, некоторых наречий качества [1]. Такие же явления наблюдаются в структуре отдельных разрядов прилагательного [2].

Еще более окаменелые остатки бывших суффиксов прослеживаются в некоторых так называемых образных словах (наречиях). Т. И. Петрова, изучавшая указанные слова в нанайском и ульчском языках, выделяет следующие аффиксальные реликты, называя их «словообразовательными суффиксами» образных слов: *-м*, *-мҗи*, *-йган*, *-мсак*, *-риа*, *-рак*, *-п*, *-бар*, *-ла*, *-лиа* [3]. Ср. нан. *ӈэгҗэн* <* *ӈэ-гҗэ-н* «светлый» (прилагательное); *ӈэм* «светло», *ӈэмди* «светлее и светлее», *ӈэп* «очень светло», *ӈэмсэк* «вмиг светло», *ӈэрбэр* «сплошь светло» и т. п. Сопоставление этих и подобных слов позволяет выделить в них этимологический корень (прежнюю основу?) **ӈэ-* и соответствующие непродуктивные аффиксы (окончания?), многие из которых в плане этимологическом членимы: **-м-са-к*, **-м-ди*, **-ра-к* и т. п. В современном же нанайском языке слова этого типа представляют собой изолированные окаменевшие образования, не участвующие в живых процессах аффиксального образования и изменения слов.

В рассматриваемый морфологический тип слов должны быть включены и все продуктивные типы имен прилагательных, а также наречий, образуемых от именных и глагольных корней или основ посредством особых суффиксов. Так, в ряде языков от именного корня *мō-* («дерево») посредством суффикса *-ма* образуется относительное прилагательное: нан. *мōма* «деревянный». Ср. *сэлэмэ* «железный», *аӈгома* «искусственный, сделанный» и пр.

От корней качественных прилагательных посредством суффикса *-җи* ~ *-т* ~ *-ч* образованы качественные наречия: нан. *улэнҗи* «хорошо», *масиҗи* «крепко», *ајаҗи* «ладно» и т. п. В плане историческом наречия эти восходят к падежной форме имени (творительный-инструментальный падеж), впоследствии изолировавшейся и ставшей неизменяемой. Что касается тунгусо-маньчжурских прилагательных, то, говоря строго, они тоже неизменяемы, так как их изменения (например, склонение) влечет за собой субстантивацию прилагательного и превращение его в существительное. Но в нанайском и ульчском языках некоторые качественные прилагательные могут иметь словоизменительные формы. В функции предиката к их основам присоединяются лично-предикативные окончания: *улэн* «хороший», *улэм-би* «я хороший», *улэн-си* «ты хороший», *улэ(н)-ни* «он хороший» и т. п. В этом случае они относятся к первому морфологическому типу слова.

Качественные прилагательные и качественные наречия тунгусо-маньчжурских языков имеют аффиксальные формы субъектной оценки и формы, выражающие степень проявления качественного признака. Но формы эти являются не словоизменительными (реляционными), а формообразующими (деривационными).

Третий тип — несуффигирующий, или «корневой», состав-

---

[1] См. Е. П. Лебедева, Наречия места в эвенкийском языке, М.—Л., 1936, где приведены параллели из других тунгусо-маньчжурских языков и указана литература вопроса.

[2] Ср. В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 108.

[3] Т. И. Петрова, Образные слова, служащие для передачи световых и цветовых впечатлений в нанайском языке, «Уч. зап. [Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена]», т. 101—Фак-т народов Севера, Л., 1954, стр. 116—118.

ляют относительно немногочисленные, но весьма употребительные слова, не обладающие ни признаком морфологической членимости, ни признаком изменяемости. По своим общеграмматическим («категориальным») значениям и функциям они относятся к отдельным разрядам наречий, местоимений, служебных слов, а также к междометиям: эвенк., эвен. *н'ан*, удэйск. *н'а* «еще», «опять», нан., ульч. *гучи* «еще», эвенк., эвен. *он* ~ *они*, нан., ульч. *хони* ~ *хон'* ~ *хо*[н] «как?», эвенк. *туги*, нан. *ту*ŋ, удэйск. *ту*, негид. *тā* «так», нан., ульч. *чу*, *тэр* «очень», «весьма», маньчж. *нэ* «ныне, теперь», нан. *нэ* «непременно», *хэм*, *чуңну* «весь», «всё», *ма* «на!», *гэ* ~ *кэ* «ну!» и проч.

Значительную в количественном отношении группу слов данного (третьего) типа составляют некоторые виды так называемых образных слов (наречий), например: нан. *баң* «временно», *суп* «сплошь», *маң* «вплотную», *пос* «насквозь», *сар* «врассыпную» и т. п. К данному морфологическому типу относятся и такие слова, как нан. *эм* «один», «некий», *ман'а* «только», *тэни* «только что» и т. п.

Выделенные здесь в особые (второй и третий) типы слова подробно описаны во всех упомянутых грамматических очерках отдельных тунгусо-маньчжурских языков. Однако при общей характеристике морфологического строя этих языков слова данных типов в расчет как бы не приняты.

Итак, распространенные в опубликованной литературе взгляды на морфологическую природу слова в тунгусо-маньчжурских языках следует признать односторонними. В значительных оговорках нуждается и общепризнанная среди специалистов «наиболее полная морфологическая модель» тунгусо-маньчжурского слова: корень + основообразующие суффиксы + словоизменительные суффиксы + суффиксальные частицы и т. п. Необходим учет всего многообразия морфологических типов (и соответственно — «моделей») слова тунгусо-маньчжурских языков. Только при этом условии может быть дана всесторонняя типологическая характеристика грамматического строя этих языков.

2

Грамматические способы образования и изменения слова

Выше упоминалось, что отдельные исследователи тунгусо-маньчжурских языков, определяя морфологический тип данных языков как суффиксально-агглютинативный, признают агглютинацию (говоря точнее — суффиксацию) главным, но не единственным средством образования и изменения слов в этих языках. Наиболее полный перечень такого рода средств применительно к структуре нанайского языка дал В. А. Аврорин: «В нанайском языке применяются следующие (в порядке их важности) способы выражения грамматических значений слов: употребление формальных морфем, употребление суффиксальных частиц, употребление служебных слов, удвоение основ, интонация, чередование звуков в корне» [1].

Перечень этот, как будет видно из дальнейшего, требует существенных уточнений.

Прежде всего необходимо заметить, что перечисленные способы (или средства) употребляются не только и не всегда для выражения грам-

[1] В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 8. Ср. О. А. Константинова и Е. П. Лебедева, указ. соч., стр. 40 (Способы выражения грамматических значений слова: а) суффиксы, б) служебные слова, в) вспомогательные глаголы, г) интонация, д) порядок слов в предложении), стр. 45 («Кроме агглютинативного способа образования и изменения слов, в эвенкийском языке словообразование может происходить путем чередования гласных звуков в слове»).

матических значений слова. Одни из них, например употребление формальных морфем (т. е. суффиксов), используются как в целях словопроизводства (выражение производных лексических значений), так и в целях словоизменения (выражение частных грамматических значений слова); другие, например чередование фонем в корне, — только для словопроизводства. Третьи, например употребление служебных слов, — для выражения синтаксических связей между знаменательными словами или словосочетаниями, для образования аналитических форм слова, а также для особого выделения лексических значений знаменательных слов и т. п.

В число рассматриваемых средств (или способов) входят разнородные лингвистические явления — фонетические (чередование фонем), морфологические (суффиксация) и синтаксические (порядок слов, служебные слова). Но поскольку все они выступают как определенные факты грамматического строя языка и исследуются в грамматике, их следует, по-видимому, называть, как это и принято в ряде лингвистических работ, грамматическими способами образования слов, грамматическими способами изменения, сочетания слов и т. п.

Более полный перечень грамматических способов, употребляемых в тунгусо-маньчжурских языках, может быть представлен в следующем виде: 1) суффиксация: а) агглютинативная («склеивающая», «сополагающая»); б) фузионная, или флективная («сплавляющая»); 2) чередование фонем в основе слова; 3) супплетивизм; 4) редупликация; 5) интонация; 6) порядок слов; 7) служебные слова.

Способы эти применяются не изолированно, в одиночку, а комбинированно, во взаимодействии. Часть из них образует синтетические формы, другая часть — преимущественно формы аналитические [1].

Что касается двух последних способов — порядка слов и слов служебных, — то они неоднократно и достаточно подробно освещались в грамматических работах по отдельным тунгусо-маньчжурским языкам.

Служебные слова, противопоставляемые знаменательным, делятся на 1) собственно служебные и 2) слова, употребляемые иногда в роли служебных, но не утратившие своих конкретно-лексических значений и выступающие в других случаях как знаменательные. К первым относятся послелоги, союзные слова, слова-частицы. Ко вторым — некоторые существительные с локативным значением, выступающие часто в роли послелогов, некоторые глаголы, выступающие часто в роли вспомогательных глаголов и связок.

Способ служебных слов, являясь как бы контрастирующей противоположностью способа суффиксации, должен по своему весу считаться не последним, а по крайней мере вторым в общем ряду всех грамматических способов, употребляемых тунгусо-маньчжурскими языками. Подобно тому, как со способом суффиксации связаны синтетические формы, так со способом служебных слов связаны аналитические формы данных языков. Способы эти не только «контрастируют», но и взаимодействуют, дополняя друг друга и образуя так называемые аналитико-синтетические формы, ибо обычно каждый из компонентов аналитического сочетания имеет свое суффиксальное (т. е. синтетическое) оформление.

Способ суффиксации и способ служебных слов связаны не только

---

[1] Словесное ударение не выступает в тунгусо-маньчжурских языках в качестве одного из возможных грамматических способов, так как оно является не свободным, а связанным. В этих языках не используется и способ словосложения, хотя в историческом прошлом он несомненно выступал как один из важнейших способов образования сложных слов, которые в современных языках развились в синтетические формы, образованные по способу суффиксации. В этом же направлении развиваются и некоторые непродуктивные сложные слова современных языков.

исторически (многие суффиксы восходят к служебным словам), но и синхронно: в современных языках богато представлены энклитические частицы — так называемые суффиксальные частицы (или частицы-суффиксы), которые часто лишь по форме отличаются от слов-частиц. Некоторые из суффиксальных частиц прочно срослись с соответствующими словами (знаменательными или служебными), став их органической принадлежностью, выражающей определенную форму слова. Большинство же энклитических частиц (вопросительных, усилительных, соединительных и т. п.), хотя и входят в единый звуковой комплекс, образующий слово (его соответствующую форму), органической частью этого слова не являются (подобно русск. *ли*, *же*, *то*, *бы* и т. п.).

Употребление суффиксальных частиц не может быть, следовательно, включено в общий перечень грамматических способов, наряду с суффиксацией, служебными словами и т. д. По значению и функциям многие энклитики близки некоторым разрядам служебных слов (особенно — словам-частицам). По своей же форме и типу соединения со словом они не отличаются от суффиксов и относятся поэтому к способу суффиксации — агглютинативной (в подавляющем большинстве случаев) или фузионной (отдельные случаи).

Тунгусо-маньчжурские языки обладают относительно твердым, фиксированным порядком слов—членов словосочетаний и предложений. Общее правило гласит: зависимые члены предшествуют членам, от которых они зависят — определение предшествует определяемому, дополнение — дополняемому, обстоятельство — слову, от которого оно зависит, подлежащее предшествует сказуемому (хотя и не может считаться зависимым). Возможные нарушения этого правила выступают как инверсии, обособления, пропуски, т. е. имеют свое особое значение и назначение.

Способ порядка слов используется как дополнительное (а иногда и основное) средство выражения синтаксических функций слова. Ср. нан. *улэн наj* «хороший человек», *наj улэн* «человек хороший» и т. п.

Но в ряде случаев порядок следования слов (членов словосочетания) может определять и лексические значения, а также общеграмматические значения слов (как частей речи). Ср., например, нан. *улэн холаj(ни)* — *улэнҗи холаj(ни)* «хорошо читает», «хорошо читающий (он)». При «обратном» порядке членов — *холаjни улэн* «чтение (его) хорошо (хорошее») — меняются не только синтаксические значения (функции) слов (членов сочетания), но и их лексические значения: *улэн* в первом сочетании — обстоятельство, выраженное качественным наречием «хорошо». Его эквивалентом является производное качественное наречие *улэнҗи* (по происхождению — изолированная форма творительного падежа *улэнҗи*); *улэн* во втором сочетании — сказуемое, выраженное качественным прилагательным «хороший,-ая, -ее» (заменить его наречием *улэнҗи* нельзя); *холаjни* — в первом случае — сказуемое, выраженное лично-предикативной формой причастия (окончание 3-го лица ед. числа *-ни* является факультативным, необязательным); *холаjни* — во втором случае — подлежащее, выраженное субстантивированной формой причастия (имени действия) в форме именительного падежа (нулевой показатель) лично-притяжательного склонения (*-ни* притяжательное окончание 3-го лица ед. числа). Окончание *-ни* может быть заменено во втором случае притяжательными окончаниями других лиц и чисел, но совершенно отсутствовать не может, так как это привело бы к изменению значения конструкции. Теоретически возможное *холаj улэн* скорее всего могло бы быть понято как инверсированная форма *улэн холаj* «хорошо читает», «читает хорошо».

Как видно из приведенного примера (число их может быть во много раз увеличено), мы сталкиваемся здесь не только с грамматическим спо-

собом порядка слов, взаимодействующего с суффиксацией и интонацией, но и с тем, что в германистике иногда называют конверсией — особым видом словопроизводства [1].

В ведущем грамматическом способе словообразования тунгусо-маньчжурских языков — способе суффиксации (иногда он неправильно именуется «способом агглютинации») давно уже отмечены две разновидности соединения суффиксов друг с другом и с корнями слов. Одна из этих разновидностей характеризуется простым соположением морфем, другая — сплавлением (или «фузией»). Первую мы обозначали выше термином «агглютинативная суффиксация», вторую — «фузионная, или флективная, суффиксация». И та и другая встречаются во всех языках группы, в одном и том же слове или разных словах.

В дополнение к примерам суффиксации, приведенным ранее для характеристики морфологических типов слова, приведем здесь следующие: нан. *индакансалбани* «его собачек». Морфологический состав этого слова ясен, границы каждой морфемы могут быть четко установлены, а значения морфем строго определены: *инда-* первичная именная основа («собака»), *-кан-* суффикс уменьшительности, *-сал-* суффикс мн. числа, *-ба-* суффикс вин. падежа, *-ни* притяжательный суффикс 3-го лица ед. числа субъекта владения (обладателя).

Так выглядит в тунгусо-маньчжурских языках агглютинативная суффиксация в ее, так сказать, чистой, идеальной форме.

Но в тех же языках не менее часты и такие, например, случаи: нан. *орока(н)салдоари* «своим домашним оленчикам», где *оро-* («домашний олень») первичная именная основа с усеченным *-н* (*оро-* < *орон-*), *-кан-* суффикс уменьшительности, *-сал-* суффикс множественного числа, *-до-* или *-доа-* суффикс дательно-местного падежа, *-ари* или *-ри* безлично-притяжательный суффикс множественного числа субъекта владения (обладателя). Не все границы морфем в подобного рода образованиях одинаково ясны. По-эвенкийски «своим домашним оленчикам» — *орокордувар*, где *оро-* («домашний олень») первичная именная основа с усеченным *-н* (*оро-/орон-*); *-ко-* суффикс уменьшительности с усеченным *-н* (*-ко-/-кон-*) и «замененным» *-р*, выступающим здесь в качестве показателя множественного числа; *-ду-* суффикс дательно-местного падежа; *-вар* безлично-притяжательный суффикс множественного числа субъекта владения (обладателя).

Еще менее агглютинативна в подобных случаях суффиксация в эвенском языке. «Своим домашним маленьким оленям (олешкам)» по-эвенски — *оркакардур*. Для того, чтобы расчленить это слово на составляющие его морфемы, приходится произвести «как бы фонетическую реконструкцию этих частей»[2]; *ор-ка-ка-р-д-ур* (или *ор-ка-ка-р-ду-р*) реконструируется как **орон-кан-кан-р-ду-вур*, т. е. первичная именная основа *ор-* < *орон-* («олень»), удвоенный суффикс уменьшительности *-ка-ка* < *-кан-кан*, *-р* показатель множественного числа, чередующийся с конечным *-н* суффикса уменьшительности, суффикс дательно-местного падежа *-д-* (или *-ду*), безлично-притяжательный суффикс *-р* (или *-ур*) < *-вур*.

Подобные случаи (а они наблюдаются и в ряде глагольных форм эвенского языка), как пишет в указанной работе В. И. Цинциус, «скорее напоминают формы флексии, чем агглютинации». Поскольку, однако, эти явления могут и должны рассматриваться в аспекте суффиксации, их следует, на наш взгляд, определить как особую разновидность суффиксации —

---

[1] А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, № 5

[2] В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 11

суффиксации флективной, или фузионной, противопоставляемой суффиксации агглютинативной [1].

Флексия в тесном смысле слова (чередование фонем) также занимает свое особое место в ряде изученных тунгусо-маньчжурских языков.

Случаи использования фонематических чередований (альтернаций) в лексико-семантических или грамматических целях в современных тунгусо-маньчжурских языках относительно немногочисленны. Все они, по-видимому, возникли на почве предшествовавшей им суффиксации (сначала агглютинативной, а затем фузионной).

Нан. *энэ-* непроизводная глагольная основа («уйти», «отправиться»), *эну-* («прийти», «вернуться»). Чередование *э/у* (*энэ-/эну-*) возникло в результате фонетических изменений, произошедших с производной (вторичной) глагольной основой *энэ-гу-* [*-гу-/-го-* основообразующий глагольный суффикс повторности действия: *бӯ-* («дать»), *бӯгу-* («отдать») и т. п.]. Нан. *энэгу-* > *энэу-* > *эну-* в сопоставлении с *энэ-* и образует пару глагольных основ, различающихся противопоставлением конечных гласных основы. Ср. эвенк. *ӈэнэ-* («идти»), *ӈэну-* («возвращаться»), *ана-* («толкнуть»), *ану-* («выталкивать»), *нода-* («бросить»), *ноду-* («бросать») и т. п.[2]

Такое же явление наблюдается в парах глагольных основ нан., эвенк. *ʒэгдэ-* («гореть»), *ʒэгди-* («жечь»), *дабда-* («проиграть, быть побежденным»), *дабʒи-* («выиграть, победить»), нан. *холго-*, эвенк. *олга-* («высохнуть»), нан. *холги-*, эвенк. *олги-* («высушить») и некоторых других.

Фонематическое чередование конечных гласных основы *э/и*, *а/и*, *о/и* разъясняются как *ʒэгдэ-ги-*>*ʒэгдэи-*>*ʒэгди-*. Основообразующий каузативный суффикс *-ги-/-и-* известен по материалам эвенкийского и эвенского языков [3].

Что касается фонематических чередований в именных основах, то они связаны в некоторых языках с выражением грамматического числа. Чередуются конечные согласные основы *н/р*, *н/л*: эвенк., эвен. *орон-* «домашний олень», *орор-* «домашние олени», негид. *ojон-* «домашний олень», *ojол-* «домашние олени». В нанайском подобные чередования отмечаются в некоторых суффиксах причастия: *энэ-хэн* «ушедший», *энэ-хэл* «ушедшие, ушли» и т. п.

По-видимому, и эти чередования имеют под собой суффиксальную почву. Собственно, и в современных языках они могут быть истолкованы как суффиксальные, но связанные с морфологическим переразложением (а б с о р б ц и е й) основы. Противопоставление пар типа *орон* «олень», *орор* «олени» ведет к выделению, с одной стороны, «новой» основы *оро-*, а с другой — «новых» суффиксов *-н-* (показатель ед. числа), *-р-* (показатель мн. числа), хотя общей тунгусо-маньчжурской нормой выражения грамматического числа существительных остается противопоставление суффиксов множественного числа нулевой форме единственного (способ суффиксации).

При обсуждении вопроса о внутренней флексии в тунгусо-маньчжурских и других алтайских языках (а вопрос этот, как известно, весьма не новый) обычно рассматриваются такие пары существительных, как

---

[1] Из сказанного должно быть ясно, что «сущность» агглютинации в тунгусо-маньчжурских языках (да и не только в них) «сводится» к одному из двух способов с о е д и н е н и я морфем слова, а именно к с п о с о б у с о п о л о ж е н и я («склеивания») корня с суффиксом и одного суффикса с другим. Называть же какой бы то ни было с п о с о б с о е д и н е н и я морфем «способом выражения грамматических значений» нет никаких оснований.

[2] О. А. К о н с т а н т и н о в а и Е. П. Л е б е д е в а, указ. соч., стр. 45.

[3] Г. М. В а с и л е в и ч, указ. соч., стр. 93; В. И. Ц и н ц и у с, указ. соч., стр. 175.

маньчж. *хаха* «мужчина», *хэхэ* «женщина», *ама* «отец», *эмэ* «мать», нан. *ага* «старший брат», *эгэ* «старшая сестра», эвенк. *атиркан* «старуха», *этиркэн* «старик» и т. п. Сюда же иногда относят и такие пары, как эвенк. *би* «я», *бу* «мы»; *си* «ты», *су* «вы» и т. п. Сюда же можно было бы отнести и некоторые глагольные основы типа нан. *эна-* «уйти», *ана-* «толкнуть», маньчж. *вэси-* «подниматься», *васи-* «спускаться», некоторые прилагательные типа нан. *сэгэҕэн* «красный», *согҕон* «желтый», *сугҕун* «рыжий», некоторые наречия типа эвенк. *аваски* «куда?», *эвэски* «сюда», маньчж. *абси* «куда?», *эбси* «сюда» и т. д. и т. п.

Приведенные факты несомненно требуют специального сравнительно-исторического изучения. Весьма возможно, что такое их изучение выявит древнейшие пути и формы развития словарного состава посредством, в частности, архаических форм флексии — постепенной фонематизации прежних звуковых вариантов, входивших в состав более емких звуковых типов. Однако в современных тунгусо-маньчжурских языках звуковые противопоставления в словах типа *ама* «отец», *эмэ* «мать», *би* «я», *бу* «мы» и т. п. не могут быть признаны актуальными, т. е. выступающими в качестве живых, действующих способов образования или изменения слова. Явления эти также далеки от внутренней флексии, как, например, русск. *т'ат'а—т'от'а*, *мы—вк* и т. п.

К способу флексии примыкает тесно связанный с нею способ супплетивизма. Способ этот, так же как и внутренняя флексия, плохо согласуется с традиционными представлениями о чистой, классической агглютинации. Сказанное выше об особенностях суффиксации и явлениях флексии в тунгусо-маньчжурских языках способно, как кажется, объяснить не только принципиальную возможность супплетивизма, но и некоторые черты его своеобразия в этих агглютинативных по преимуществу языках.

Супплетивных рядов типа общеизвестного лат. *fero*, *tuli*, *latum*, *ferre* «нести», а также типа русск. *есть*, *быть*; *хорошо*, *лучше*; *много*, *больше* и т. п. в тунгусо-маньчжурских языках действительно нет. Но такие супплетивы, как, например, нан. *эму*ⁿ «один», *боҥго*, *ҕулуј* «первый», «передовой», *нај* «человек», *гуруⁿ* «люд, народ» (ср. *најсал* «люди», *гурунсэл* «народы»), *пиктэ* «дитя», *пурил* «дети» и т. п. в тунгусо-маньчжурских языках встречаются. Более часто встречаются супплетивы, возникшие на фонетической почве путем значительных звуковых, а затем и некоторых морфологических модификаций некогда единообразного («правильного») ряда суффиксальных форм изменяемого слова.

Такого рода супплетивы образуют некоторые местоимения, термины родства и свойства. К последним, в частности, относится и упомянутое выше нан. *пиктэ* «дитя» — *пурил* «дети». Ср. эвенк. *хутэ* «дитя»—*хурил* «дети» (~нан. *пурил*), где корень **ху-* и полуомертвевшие суффиксы: **-тэ-* (~нан. *-ктэ*) суффикс собирательности; *-рил* (<**ри-л*) особая форма мн. числа.

Таковы же по своему происхождению некоторые нерегулярные формы так называемых неправильных глаголов, выступающих часто в роли служебных. Ср. маньчж. *би-~биси-*(<*би-си-*) «быть», *о-~озо-* «становиться, делаться», нан. *б-~очо-~ози-~оси-~ода-* «становиться, делаться» и некоторые другие.

Личные местоимения первых двух лиц, например эвенк. *би* «я», *бу* «мы», *си* «ты», *су* «вы», имеют соответственно вторые, «склоняемые» основы: *би/мин-*, *бу/бун-*, *си/син-*, *су/сун-*[1].

---

[1] Данные по другим языкам см. А. Ф. Бойцова, Категория лица в эвенкийском языке, Л.—М., 1940, стр. 20 и сл.

Указательные местоимения эвенк. *тар(и)*, маньчж. *тэрэ*, нан. *тэj* «тот, та, то», соответственно *эр(и)*, *эрэ*, *эj* «этот, эта, это», наряду с «правильными» формами некоторых косвенных падежей (первая основа + пад. окончание) имеют «неправильные» формы, образуемые от вторых основ: эвенк. *тар(и)-/та-*, маньчж. *тэрэ-/тэ-*, нан. *тэj-/ча-*; соответственно *эр(и)-/э-*, *эрэ-/э-*, *эj-/н'э-/ʒэ-*. С этим связаны процессы онаречивания некоторых форм косвенных падежей указательных местоимений и переход их в наречия места [1].

Супплетивизм терминов родства и свойства переплетается с другими особенностями их морфологии (особые формы мн. числа, особенности форм склонения). Нан. *ама* «отец»/*амин-* основа форм притяжательного склонения. Ср. также *эн'э*/*энин-* «мать», *ага*/*аг-~ан-* «старший брат» и проч. Эвенк. *амин* «отец» /*амтил (ам-тил)* «отцы», *энин* «мать»/*энтил (эн-тил)* «матери», *акин* «старший брат»)/*акнил (ак-нил)* «старшие братья», *хунат* «девушка»/*хунил (ху-нил)* «девушки» и некоторые другие. Ср. также эвенк. *эди* «муж»/*эдэл (эдэ-л)* «мужья», *аси* «жена»/*асал (аса-л)* «жены», *н'ами* «самка»/*намасал (нама-сал)* «самки» [2].

Из этих примеров, а также из многих других, приведенных частично выше, должно быть видно, что широко распространенный в алтаистической литературе тезис о «неизменности» основы (при наращивании суффиксов) в агглютинативных языках данными тунгусо-маньчжурских языков не может быть доказан.

Грамматический способ редупликации — удвоения слова, а также парного употребления двух слов отмечен в литературе по маньчжурскому, нанайскому, ульчскому и некоторым другим языкам.

В маньчжурском удвоение некоторых существительных служит средством выражения грамматического числа: *ʒалан* «век», «поколение», *ʒалан-ʒалан* «поколения». Такую же роль играет повторение слов-синонимов: *баjта-сита* «дела», *улха-уʒима* «животные». Ср. также «биномы»: *ахун-дэо* «братья» («старший брат и младший брат»), *ама-эмэ* «родители» («отец и мать»). Удвоение некоторых имен (второе из них получает наречную форму родительного-инструментального падежа) образует особую форму наречий: *г'ан-г'ани* «воистину», *улхен-улхени* «постепенно», *дахун-дахуни* «беспрерывно» и т. п. [3]. В этих случаях повторы (удвоение) выражают степень проявления обстоятельственного признака, его усиление.

Большую группу слов, для которых редупликация особенно характерна, составляют маньчжурские междометия и звукоподражания. Одни из них всегда имеют удвоенную или парную форму: *гуj-гуj*, *вэр-вэр* (междометие для зова людей и животных), *кан-кэн* (кашель), *кака-кики* (смех), *хаj-хэj* (плач, стон) и т. п. Другие употребляются как в удвоенном виде, так и без удвоения. Противопоставление этих форм выражает степень проявления, частоту (однократность или повторяемость) признака, выражаемого этими словами в сочетании с формами служебного глагола *сэмби* «говорить, делать»: *тук сэмэ* «стуча», *тук-тук сэмэ* «стуча (усиленно, многократно)» и т. п. [4].

Таковы же в основном особенности редупликации в нанайском и ульчском языках. И в этих языках удвоение слов и их парные сочетания свойственны словам, входящим в некоторые разряды наречий, междометий, звукоподражаний, частиц. Одни из них всегда редуплицированы, другие

[1] Е. П. Лебедева, указ. соч., стр. 53 и сл.
[2] Г. М. Василевич, указ. соч., стр. 32.
[3] И. Захаров, Грамматика маньчжурского языка, СПб., 1879, стр. 123—124, 309; его же, Полный маньчжурско-русский словарь, СПб., 1875.
[4] И. Захаров. Грамматика маньчжурского языка, стр. 320.

могут иметь как нередуплицированную, так и редуплицированную форму. Грамматическая роль редупликации в отношении так называемых образных слов (наречий, междометий, звукоподражаний), а также частиц определяется как средство выражения множественности, многократности, повторяемости соответствующего признака, или как средство его усиления [1]. Путем редупликации образуются некоторые качественные наречия: нан. *элкэ-элкэ* «тихо-тихо», «потихоньку», *н'аңга-н'аңга* «мало-мало», «немножко». Редупликация свойственна некоторым местоимениям: нан. *уj-ну*, *уj-ну* «кто-то», *хаj-ну*, *хаj-ну* «что-то», *мэнэ-мэнэ* «каждый сам по себе» (*мэнэ* «сам»). Примерами парных слов могут служить нан. *а-нэу* «братья» (ср. маньчж. *ахун-дэо* «братья»), *эуси-таоси* «туда-сюда», *эвенки-таоси* «отсюда-туда» («впредь, в дальнейшем, в будущем»), *эjэ-таjа* «эта сторона (и) та сторона» и некоторые другие.

Рассматривая способ редупликации в плане синхроническом, важно подчеркнуть, что редуплицируются именно слова, а не основы слов. В плане же историческом на базе редупликации слов, по-видимому, образовались некоторые ныне непроизводные редуплицированные основы, а также нерасторжимые лексикализованные сращения. Примером первых могут служить отдельные глагольные основы типа нан. *туту-* «бегать», *тата* «дергать», «тянуть», именные основы типа маньчж. *хаха-* «мужчина», *хэхэ-* «женщина» и некоторые другие. Примерами вторых могут служить все слова, имеющие только редуплицированную форму: нан. *тул-тул* «постоянно, часто», *тах-тах* (понукание собак, «но!») и т. п.

Вопросы интонации тунгусо-маньчжурских языков не были предметом специального изучения. Но роль интонации как одного из важных грамматических способов в этих языках отмечалась отдельными исследователями.

Интонационно-фонетические средства, часто (но не всегда) дополняемые средствами собственно-морфологическими (суффиксы, частицы), и служат четкими критериями установления границ отдельного слова (в той или иной его грамматической форме). Они же помогают нам отличить целое слово от таких его частей, как корень, слог, основа, суффикс и т. п.[2].

Только полное игнорирование интонационно-фонетических признаков законченного слова, совершенно четко отличающих его от той или иной части этого слова, позволяло и все еще позволяет некоторым исследователям тунгусо-маньчжурских языков говорить о «материальном совпадении» целого слова и таких его частей, как корень или основа [3]. В действительности же, в реальной речи, ни одна из частей, ни один из отрезков слова в тунгусо-маньчжурских языках (как очевидно и в других языках) интонацией законченного слова не обладает и обладать не может, так как в качестве отдельной, самостоятельной и законченной лексической единицы никогда в речи не употребляется [4].

---

[1] В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 30; Т. И. Петрова, Образные слова, служащие для передачи световых и цветовых впечатлений. . ., стр. 118.

[2] Ср. В. А. Аврорин, Основные правила произношения и правописания нанайского языка, Л., 1957, стр. 106—107 («Отдельное слово. . . выделяется не только своим значением, не только морфологической структурой, но и чисто фонетическими признаками. . . По этим признакам любое нанайское слово можно отличить от любой части слова. . . »).

[3] Ср. В. А. Аврорин, Грамматика нанайского языка, ч. I, стр. 8 [«Обязательной частью (слова. — *О. С.*) является только корень. Он может материально совпасть не только с непроизводной основой, но и с законченным (корневым) словом»].

[4] Еще О. Бетлинг, выделивший в якутском языке так называемый Casus indefinitus—падеж без «особого окончания» («голую именную основу») писал, что об употреблении основы как таковой в предложении не может быть речи (см. O. Böhtlingk. Über die Sprache der Jakuten, СПб., 1848, стр. 255).

Как сказано выше, во всех тунгусо-маньчжурских языках выделяется довольно многочисленная группа неизменяемых слов, не обладающих признаком морфологического строения. Пользуясь кавычками, мы называли такого рода слова «корневыми». Все они обладают той или иной интонацией законченного, отдельного слова. Поэтому они и называются словами, а не корнями или основами слов. Нельзя, однако, упускать из виду, что в плане синхроническом в этих словах невозможно выделить ни корня слова, ни аффикса. К ним не приложимы также понятия основы и окончания. Термин «корневое слово» содержит вообще много условного. Но некоторые из наших «корневых» слов, включаясь в сферу суффиксальных морфологических процессов, могут стать корнями или непроизводными (первичными) основами других слов. Маньчж. *тук* (звукоподражание) — «корневое» слово, обладающее интонацией отдельного, законченного слова; *тукси*— производная глагольная основа («стучать»). Здесь *тук-* является корнем, *-си-* — основообразующим глагольным суффиксом. В этой основе ни корень *тук-*, ни суффикс *-си-*, равно как и образуемая ими основа *тукси-* интонацией законченного слова не обладают. Придав этой основе одну из разновидностей интонации законченного слова, а именно, интонацию побудительную, мы получим слово — одну из реальных форм маньчжурского глагола: *тукси!* «стучи!», «колотись», «трепещи» — положительная форма повелительного наклонения 2-го лица ед. числа.

На этом простейшем примере может быть раскрыта двоякая роль способа интонации: этот способ используется, во-первых, для словопроизводства [«превращение» части слова (основы) в целое слово]; во-вторых, посредством того же способа образуется грамматическая форма слова, в нашем примере — одна из форм повелительного наклонения глагола, выступающая всегда в функции сказуемого.

Конечно, в современных тунгусо-маньчжурских языках далеко не всегда и далеко не от каждой основы посредством одной только «интонации» образуются те или иные законченные слова. Подавляющее большинство слов, кроме свойственной им интонационно-фонетической законченности, имеют еще и суффиксальные формы окончания, свидетельствующие не только о законченности этих слов, но и об их определенных синтаксических функциях, частных и общих грамматических значениях.

Изучение типов основы и окончания слова в тунгусо-маньчжурских языках — сложная и очень запутанная в нашей литературе тема. Она требует особого изучения[1].

Традиционные представления о морфологических типах языков, в частности о языках агглютинативных, давно уже требуют пересмотра и более углубленной разработки на основе достижений современного общего языкознания. Нужна выработка общих принципов типологического изучения языков, их морфологической классификации — принципов, отвечающих требованиям современного уровня науки о языке.

Типологическая характеристика тунгусо-маньчжурских и ряда других алтайских языков, согласно которой они именуются агглютинативными, не должна заслонять все существенные черты морфологической структуры этих языков.

---

[1] См. О. П. Суник, О типах основ и окончаний слова в тунгусо-маньчжурских языках, «Советское востоковедение», 1957, № 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

М. С. ГУРЫЧЕВА

ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Одной из задач исторического синтаксиса является установление специфики словосочетаний в определенный период развития языка. В связи с этим совершенно недопустимо применение классификационных схем, выработанных на основе материала одного языка, к другому. Например, во французском языке и единства, и сращения характеризуются эквивалентностью частям речи и определенной степенью синтаксической слитности. Поэтому к французскому материалу надо применить классификационный принцип Ш. Балли, согласно которому устойчивые словосочетания делятся на две группы [1], а не принцип В. В. Виноградова, по которому устойчивые словосочетания распределяются по трем группам [2].

Классификация свободных словосочетаний, конструируемых по нормам современного языка, также должна строиться на основе критериев, выработанных для конкретного языка в определенный период его развития, ибо формы словосочетания меняются в зависимости от изменения способов выражения синтаксической связи. Отметим, что изменения в морфологии не сразу отражаются на формах словосочетания. Так, утрата падежных форм инфинитива не сразу способствовала закреплению предлогов при инфинитиве, выступающем в роли дополнения. Беспредложная конструкция с таким инфинитивом применялась в XVI в. при глаголах *commencer*, *craindre*, *prier*, *presser*, *mander*, в дальнейшем получивших предложное управление. Наблюдения над языком писателей XVI в. подтверждают это положение. Например, у Рабле читаем: «Adonques commencerent tournoyer et entrer en combat» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel); «Il nous convient evader» (там же).

Форма словосочетания в отличие от формы слова характеризуется несколькими признаками. Форма словосочетания — это историческая категория, которая определяется взаимодействием ряда структурных признаков (например, способами выражения грамматических отношений, местом компонентов и их лексико-грамматическим значением). От различной комбинации этих признаков зависит форма словосочетания в данный период развития языка. Так, словосочетания *ville de Paris*, *chapeau de Madelaine* представляют собою разные формы словосочетаний, несмотря на их кажущееся формальное сходство. Различие в формах этих словосочетаний зависит от двух причин: 1) от разных функций предлога *de*, выполняющего чисто связочную функцию или показывающего характер грамматического отношения между компонентами (в первом случае мы имеем дело с формой аппозитивного, а во втором — с формой атрибутивного словосочетания); 2) от лексического значения компонентов словосочетания. Компонентами являются или нарицательное существительное

[1] См. Ch. Bally, Traité de stylistique française, vol. I—II, 3-e éd., Paris, 1951.
[2] В. В. Виноградов, Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М.—Л., 1947.

с общим значением населенного пункта и имя собственное этого населенного пункта, т. е. существительные, соотносительные друг с другом как общее и частное понятия, или же сочетаются между собою существительные, значения которых не соотносимы как общее и частное.

Место компонента играет особо важную роль в структуре словосочетания в новофранцузском языке, где предикативное словосочетание отличается от объектного местом именного компонента. При различении предикативных словосочетаний от предложений особое значение имеет интонация. Предикативные словосочетания качественно отличны от других типов словосочетания тем, что они более, чем другие типы, приближаются к предложению. Отметим, что во французском языке предикативные словосочетания не характеризуются структурной законченностью, которую эти словосочетания имеют в русском языке. Нельзя сравнивать, например, словосочетания *отец хочет*, *сосед делает*, которые могут выступать и в функции предложений, с французскими словосочетаниями *le père veut*, *le voisin fait*, которые не могут образовывать предложений. Ясно, что критерии выделения предикативных словосочетаний и противопоставления их другим видам словосочетаний зависят от всей системы языка в целом.

В истории французского языка структурные признаки словосочетаний — как свободных, так и устойчивых — менялись в зависимости от развития грамматического строя.

Как известно, качественные изменения в языке заключаются, в основном, не в появлении новых форм, а в перегруппировке грамматических средств, в ограничении продуктивности одних и в расширении сферы применения других. Так, в старофранцузский период место компонента не является определяющим признаком свободного словосочетания: предикативные и объектные словосочетания различались не местом именного компонента, а формой субъектного или объектного падежа. Ср. «Li reis Marsilies la tient ki deu nen aimet» («La chançon de Rolland»).

Предложные конструкции, имевшие известное распространение в латинском языке, стали одним из основных способов выражения объектной, атрибутивной и обстоятельственной связи в романских языках.

В результате постепенной стабилизации форм словосочетаний (этот процесс завершается к новофранцузскому периоду) место компонентов становится их определяющим признаком. При этом изменение только места компонента не создает новую форму словосочетания, а лишь варианты ее (ср. *Un homme savant* и *un savant homme*). В некоторых случаях, однако, изменение места способствует образованию устойчивого словосочетания.

Падежная флексия как одно из средств выражения синтаксической связи также не является постоянным признаком словосочетания. Типичные для старофранцузского языка именные атрибутивные словосочетания *li rei fils*, *li rei gunfannuniers* исчезли в среднефранцузском периоде, а «имя существительное+имя существительное» больше не является формой атрибутивного словосочетания, но представляет собой форму аппозитивного словосочетания. Типы древних атрибутивных словосочетаний, построенных на падежном отношении, послужили основой для устойчивых словосочетаний, впоследствии лексикализировавшихся (тип *timbre-poste*).

Удельный вес лексического значения компонентов в структуре словосочетания различен в различные периоды развития языка. Так, например, в старофранцузский период местные значения реализуются главным образом в словосочетаниях, компонентами которых являются существительные и глаголы, выражающие прямо или косвенно понятие пространства, например глаголы передвижения, существительные, обозначаю-

лцие место: *eissir de la chambre; s'en fois de la contrethe; sans jamais bougier de la place.*

Значение начального момента реализуется в словосочетаниях с существительными, обозначающими понятие времени: «*Tonnerre du matin signifie vent, celuy, de midi, pluye*» (Noel du Fail, Oeuvres facétieuses). Обстоятельственные отношения реализуются в предложных словосочетаниях определенного лексического содержания.

Для старофранцузского языка *deu del ciel*, *commandement deu* — разные формы словосочетаний: первое может иметь обстоятельственное значение, второе — всегда атрибутивное. В современном языке *Dieu du ciel* и *commendement du dieu* одинаково выражают атрибутивные отношения, так как предлог *de* утратил в этом случае свое значение происхождения, которое он сохраняет в сочетании с существительными местного значения. В новофранцузском языке второй компонент именных словосочетаний независимо от лексических значений компонентов оформляется предлогом *de*, реже — *à*. Это указывает, с одной стороны, на типизацию формы именных словосочетаний, а с другой — на развитие новых функций предлога *de*, более обобщенных и грамматизованных, менее зависимых от лексического контекста.

В XVI в. именное определение, независимо от смысловых оттенков, им выражаемых, оформлено с предлогом *de*. Форма этих словосочетаний в основном унифицирована, вследствие чего структурные функции лексических значений компонентов менее значительны. В большой степени проявляется влияние лексики на форму в глагольно-именных словосочетаниях. В раннем новофранцузском периоде партитивные отношения выражаются в определенных лексических условиях: в сочетаниях с глаголами обладания и получения, а также при именах существительных вещественного значения. Выражение партитивных отношений посредством предлога *de* в сочетаниях с именами существительными абстрактного значения не типично для раннего новофранцузского периода.

Примеры: «Leurs voulaient aprendre à manger de la fouace» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel); «Allons taster du vin» (Des Perriers, Cymballum mundi); «Si vous vivez, vous aurez de l'age» (Noel du Fail, Oeuvres facétieuses). Предлог *de* в этих случаях указывает на неопределенное количество определенных предметов или вещества.

Ср.: «Car je sçay des lieux à Lyon, à la Basmette, à Chaison et ailleurs, où les estables sont au plus haut du logis» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel) и «Son père luy feist faire des botes fauves: Babin les nomme brodequins» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel).

При изучении словосочетаний важно уточнить понятие не только формы, но и структурного типа словосочетания. Форма словосочетания подчинена структурному типу, который может находить выражение в одной или нескольких формах. Структурный тип определяется по характеру смысловых и синтаксических отношений между компонентами. Так, можно различить: 1) атрибутивный, 2) аппозитивный, 3) объектный и 4) обстоятельственный типы.

Переходный характер носят словосочетания с прилагательными. С одной стороны, у этих словосочетаний обнаруживается определенное структурное сходство с именными словосочетаниями атрибутивного типа, а с другой — по характеру, выражаемым ими смысловым отношениям они приближаются к обстоятельственному типу, а в некоторых случаях — к объектному. Чтобы раскрыть сложный характер словосочетаний с прилагательным, можно сделать такие сопоставления: *honte de vivre — honteux de vivre*, *bonheur de vivre — heureuse de vivre*, *loisir de s'occuper — loisible de s'occuper*. Кроме того, словосочетания с прилагательными по семантике

своей сходны с глагольно-именными словосочетаниями. Словосочетания с прилагательными могут выражать объектные отношения, отношения места и времени. Например, словосочетания *utile aux hommes, commune à tous* выражают отношения, сходные с отношениями, выражаемыми dativus commodi.

Можно привести пример, где словосочетания с прилагательным выражают отношение времени: «*Comme ferait je ne sçay qui, ivre de soir*» (Noel du Fail, Oeuvres facétieuses). Такой же переходный характер носят словосочетания с наречиями. По выражаемым ими смысловым отношениям они обнаруживают структурное сходство с прилагательными и приближаются к словосочетаниям обстоятельственного или объектного типов. Ср.: *se conformer à ses principes* или *conformément à ses principes s'éloigner de la maison — loing de maison.*

Словосочетания с местоимениями — как самостоятельными, так и служебными — эквивалентны словосочетаниям с именами существительными в том смысле, что входят в соответствующий структурный тип: предикативный, атрибутивный или объектный. Ср.: *Garçon court — il court, Il fait son devoir — il le fait.* В связи с этим приходится признать, что глаголы с так называемыми субъектными и объектными показателями образуют словосочетания особого рода, эквивалентные по характеру грамматических отношений словосочетаниям с именем существительным.

Атрибутивные словосочетания выражаются в нескольких формах, причем распространение и продуктивность этих форм не одинакова в разные периоды развития языка. В старофранцузском периоде атрибутивные отношения выражались в следующих формах именных словосочетаний: 1) имя существительное (прямой падеж) + имя существительное (косвенный падеж); 2) имя существительное + предлог + существительное; 3) имя существительное + прилагательное.

У каждой формы могут быть варианты, зависящие от перестановок компонентов, при которых не меняется характер синтаксических и смысловых отношений между компонентами. Например, 1) косвенный падеж + прямой падеж или 2) предлог + имя существительное. Например: «*Sum pedre chambre, de la celeste vie veritet; sanc precious*» («La vie de Saint Alexis»). В дальнейшем сохраняются только две формы атрибутивных словосочетаний. Следует иметь в виду, что существуют переходные типы, которые являются результатом видоизменения первоначальной формы словосочетания в определенных контекстах. Так, например, синтаксическое словосочетание *Sire de Rome* представляет собой переходный тип между атрибутивными и обстоятельственными, так как это словосочетание указывает не на качественную характеристику слова *sire*, а на место происхождения; в грамматическом отношении это словосочетание — результат видоизменения предикативно-обстоятельственного словосочетания, встречающегося в том же контексте: «Si fut un sire de Rome la citet» («La vie de Saint Alexis»). Ср. также «Coens fut de Rome» («La vie de Saint Alexis»).

Объектные словосочетания более устойчивы. Как в старофранцузском, так и в раннем новофранцузском периодах этот тип имеет следующие формы выражения: 1) глагол + существительное, 2) глагол + предлог + существительное. Различие между новофранцузским и ранним новофранцузским в структурных особенностях объектного типа словосочетаний заключается в том, что в XVI в. существуют варианты как первой, так и второй формы: 1) существительное + глагол; 2) предлог + существительное + глагол. При этом варианты форм в XVI в. представляют остаточные явления, не характеризующие нормы развивающегося народного языка. Например: «D'une chose, dist Toucquedillon,

vous veux-je advertir» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel); «Aultre mal ne leurs feist Gargantua» (там же).

Формами объектных словосочетаний являются сочетания с инфинитивом, например «delibera la porter au clochier» (там же); «Invitant tout le monde à boire» (там же): так как здесь инфинитив употребляется как имя и в грамматическом отношении данное словосочетание не отличается от словосочетания типа *résoudre un problème*.

Словосочетание с инфинитивом в примере «vrayement ilz n'ont cessé depuis ce temps de fouiller et remuer le sable du théâtre» (Des Perriers, Cymballum mundi) соотносительно с именным словосочетанием *n'ont cessé les fouilles* в грамматическом отношении. Сочетания инфинитива с каузативными, модальными, связочными и некоторыми другими глаголами больше оснований отнести к предикативным, так как в этом случае образуется грамматическое единство, выступающее как составное сказуемое. Особенно продуктивны в XVI в. сочетания инфинитива со связочными глаголами: «A quoi respondit que sa fin et sa destinée estoit de conquester» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel); «La plus vraye perte du temps qu'il sceust estoit de comter les heures» (Noel du Fail, Oeuvres facétieuses); «Il laissait à penser à la companie» (там же).

Предикативные словосочетания в ранний новофранцузский период имеют следующие формы: 1) существительное + личный глагол; 2) существительное + предлог + инфинитив; 3) существительное + причастие; 4) существительное + связочный глагол + предлог + инфинитив. Особого внимания заслуживают словосочетания с предложным инфинитивом в конструкции с именем существительным — это так называемый исторический инфинитив: «Et frere Jean de rigoller» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel). В этих словосочетаниях предлог *de* выполняет связочную функцию, что свидетельствует о его значительной грамматизации в XVI в. Частые варианты форм предикативных словосочетаний составляют отличие синтаксиса раннего новофранцузского периода от новофранцузского с его стабильным порядком слов.

Аппозитивные словосочетания характеризуются следующими формами (формы почти не изменились до новофранцузского периода): 1) существительное + существительное (*Charles li reis — Avocat Pathelin, Madame Dupont*); 2) существительное + предлог + существительное (*Ville de Paris, Ville de Moscou*). Вторая форма не была распространена в старофранцузский период. Ср.: *Rome la citet, Alsis la citet*.

Обстоятельственные словосочетания обладают наименее четкими структурными признаками. Обстоятельственный структурный тип выражается в следующих формах: 1) глагол + предлог + инфинитив; 2) глагол + герундий; 3) глагол + предлог + существительное; 4) глагол + наречие. Из этих форм лишь вторая и четвертая обладают более ярко выраженной синтаксической характеристикой, так как конструкция «глагол + предлог + инфинитив» может быть частью предикативного словосочетания и, таким образом, обстоятельственные и предикативные словосочетания могут терять свою морфологическую специфику; сочетание «глагол + предлог + существительное» может выражать в зависимости от лексического значения компонентов как объектные, так и обстоятельственные отношения; в этих случаях нет достаточной формальной дифференциации объектных и обстоятельственных отношений.

Структурные типы словосочетаний и их форма коренным образом изменяются, когда на основе свободных словосочетаний формируются устойчивые. В итоге исторического развития словосочетаний меняются их структура и характер связи между компонентами. Критерии выделения устойчивых словосочетаний в раннем новофранцузском периоде несколько

отличаются от критериев, применимых при изучении устойчивых словосочетаний в новофранцузском языке. Структура устойчивых словосочетаний в ранний новофранцузский период иная, чем в старофранцузский, когда процесс формирования грамматизованных и лексикализованных словосочетаний еще только начался. Устойчивые словосочетания в XVI в. еще не характеризуются той степенью морфологической слитности, которой они обладают в дальнейшем. Частые случаи разложения смыслового единства словосочетаний в старофранцузском языке можно осмыслить именно как недостаточную структурную законченность устойчивых словосочетаний. В «Песне о Роланде» сочетание глагола *aller* в настоящем времени с герундием употребляется то как грамматизованное единство, то как свободное словосочетание, что свидетельствует о незаконченном процессе формирования устойчивых словосочетаний. Например,

Malprimes siet sur un cheval tut blanc
Cunduit sun cors en la presse des Francs,
D'ures en altres granz colps i vait ferant («La chançon de Rolland»)

Vait ferant — свободное словосочетание, где глагол *aller* не утратил своего первоначального значения.

Совершенно другое качество имеет сочетание *aller* с герундием в следующих примерах: «Ço que estre en deit ne l'alez demurant» (там же); «Vielz est e frailes, tot bien vait remanant» («La vie de Saint Alexis»).

Сочетание глагола движения с глаголом покоя свидетельствует о том, что глагол *aller* утратил свой первоначальный смысл и что вся конструкция имеет единое значение: *ne l'alez demurant*. Случаи разложения в определенных контекстах единства значения словосочетаний в XVI в. становятся более редкими, однако твердый порядок следования компонентов не является признаком устойчивых словосочетаний в этот период времени.

Глава 11-я «Гаргантюа и Пантагрюеля» содержит большое количество пословиц и поговорок, которые даются в одном плане со свободными синтаксическими словосочетаниями, что влечет за собою игру слов и свидетельствует о том, что любая пословица в определенном контексте могла терять свое образное значение. Например, «battoys les buissons sans prandre les ozillons, croyait que nues feussent pailles d'arain et que vessies feussent lanternes». Ср. современную идиому *prendre des vessies pour des lanternes*. Устойчивые сочетания в XVI в. — это словосочетания, характеризующиеся единым значением, но допускающие свободный порядок следования компонентов, так же как это наблюдается в свободных словосочетаниях. Например, «Battoit certains jours pavé; Là feut Ponocrates d'avis» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel).

Слабая спаянность компонентов характерна для всех видов устойчивых словосочетаний, как для лексикализованных, так и для грамматизованных, сохраняющих тем не менее единое значение: «Et commença son artillerie à heurter sus ce quartier de murailles» (там же).

Можно отметить даже слабую связь компонентов аналитических форм глагола: «L'avez vous dist Grangousier au moyne mis à rançon. . .» (там же).

Нужно признать, что определенный порядок следования компонентов для словосочетаний разных структурных типов не является определяющим признаком в раннем новофранцузском периоде. Отличие языка XVI в. от последующих периодов заключается в том, что в современном языке не все структурные типы словосочетаний в равной степени допускают вариации в порядке следования компонентов (в XVI в. объектные и предикативные словосочетания столь же подвижны в своем составе, как и обстоятельственные).

Приведем несколько примеров: «envoya le Basque, son laquais, quérir à toute diligence Gargantua» (там же); «Sans des pieds à rien toucher» (там же); «à icelle se pendant pas les mains» (там же); «Sont ces fatales destinées ou influence des astres. . .» (там же).

Порядок слов во всех приведенных примерах не характерен для новофранцузского языка, в языке же XVI в. этот порядок сосуществует с другим, который делается преобладающим при дальнейшем развитии языка. Смысловая и синтаксическая связь компонентов сохраняется несмотря на их дистантные положения, причем отсутствие примыкания коррегируется лексико-грамматическим значением компонентов или связочными словами.

Так, например, в предложении *envoya le Basque, son laquais, quérir, à toute diligence Gargantua* несомненная синтаксическая и смысловая связь *quérir Gargantua* определяется лексико-грамматическим значением переходного глагола *quérir*, обычно сочетающегося с беспредложно оформленным дополнением.

Исключительно важные функции как средство оформления словосочетаний выполняют предлоги. Наиболее распространены словосочетания с предлогами *de* и *à*, обладающими особенно разветвленной системой значений. Структурные функции предлогов *à*, *de* в языке XVI в. очень велики, так как эти предлоги служат для образования не только свободных словосочетаний, но и составных наречий, предлогов и союзов. С наибольшей интенсивностью словообразовательные функции предлогов *à*, *de* проявляются в XVII в., в XVI в. этот процесс еще только начинается.

Предложные конструкции, выделяясь из состава словосочетания, служат источником пополнения разрядов наречий и предлогов. На незаконченный процесс грамматизации предложных конструкций в языке XVI в. указывает отсутствие параллельных рядов составных предлогов и союзов, наречий и предлогов, характерное для современного языка: *de peur de—de peur que; à cause de—à cause que; de crainte de—de crainte que*; *a condition de—à condition que*.

Встречается параллелизм более сложного порядка: соотношение структурных типов наречий, предлогов и союзов *avant — avant de — avant que*; *lors—lors de—lorsque*; *de cette manière—de manière à—de manière que*.

Подобные ряды еще только формируются в течение XVI в. Например, ср.: «mettant les subsides du couste de la montée» (там же); «Le bon homme de son costé rapetassoit quelque bagatelle» (Noel du Fail, Oevres facétieuses).

В XVII в. употребление составных предлогов (*loin de, hors de, aux dépens de, à l'envi de, au gré de, au hasard de, de crainte de, au lieu de, au défaut de*) становится более регулярным и частым. На основе предложных конструкций формируются составные наречия, например *de fortune, d'aventure, du tout, de loing, d'abord, du moins, à regret, à son tour, à jamais, au milieu*.

Изучение предложных словосочетаний показывает, что основной линией развития предлогов было движение от более конкретных пространственных значений к более абстрактным объектным и, наконец, к функции связочного слова или слова, вводящего придаточное предложение.

Более легкая отделяемость предложной конструкции от управляющего компонента свидетельствует о том, что предлог в первую очередь указывал на характер грамматических отношений, а не просто связывал два самостоятельных слова. Отсюда возможность перемещения предлога в пределах словосочетания, а не обязательное помещение между связываемыми словами; ср., например, «de cheval donné tousjours regardoit en la gueule» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel).

Этот же порядок слов употребителен в поэтическом языке XVII в., где помещение предложной конструкции на первом месте в предложении может служить средством эмоционального выделения:

D'un insolent discours ce juste chatiment
Ne lui servira pas d'un petit ornement
(P. Corneille, Cid).

De ses pleurs tant vantés je découvre le fard
(P. Corneille, Rodogune).

В прозе подобные случаи инверсии не встречаются, свободный порядок сохраняется лишь для предложной конструкции с инфинитивом. Ср. XVI в.: «Car de trouver nourrice suffisante n'estoit possible en tout le pays» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel); XVII в.: «Mais aussi de faire le satisfaiz, et de vouloir estre de la cour. . . ce seroit un contretemps» (Guez de Balzac, Lettres).

Наивысшей степени грамматической абстракции предлоги достигли в сочетании с инфинитивом: это — предлоги, вводящие инфинитив-подлежащее, сказуемое и дополнение[1]. Предлог *de* (реже *à*) с таким инфинитивом выполняет связочную функцию, не уточняя характер отношений между компонентами словосочетания, как это выражается при помощи составных, более лексически полноценных предлогов.

Таким образом, предлоги *de*, *à* устанавливают связь между инфинитивом и другим членом предложения, характер же синтаксических отношений в этих случаях определяется порядком слов и лексико-грамматическим значением слова, сочетаемого с инфинитивом. Так, соединение посредством предлога *de* инфинитива с существительным, принадлежащим к разряду одушевленных, указывает на функцию инфинитива-сказуемого: *Et les enfants de crier*. Надо отметить, впрочем, тот факт, что инфинитив-сказуемое встречается и в словосочетаниях без предлога. В этих случаях связь инфинитива с его подлежащим достигается другими средствами, например особой интонацией. Так, модальный инфинитив, так же как и исторический инфинитив, выполняет предикативную функцию, но не связывается со своим подлежащим посредством предлога; очевидно, особая эмоциональность предложения, выражаемая посредством интонации, оказывается достаточной для установления тесной связи между компонентами инфинитивного словосочетания: «Quoi! traiter un amant de la sorte» (J. Molière, Bourgeois gentilhomme).

Предлог при инфинитиве-подлежащем мог возникнуть при эмоционально-смысловом выделении инфинитива. Это выделение выражается также в его интонационном обособлении. Исторический инфинитив с *de* распространяется начиная с XVI в. Материалы XVI в. дают примеры, иллюстрирующие условия возникновения предложного инфинитива-подлежащего. Например, «mais de la bien continuer, j'en donne la charge à mon compère» (Noel du Fail, Ouvres facétieuses).

По своему смысловому содержанию обособленная конструкция *de le bien continuer* представляет собою тематический субъект высказывания; это словосочетание, выступающее в роли обособленного и выделенного дополнения, легко превращается в подлежащее при изменении формы глагольного сказуемого: *mais de la bien continuer est la charge à mon compère*. Однако наличие связочного глагола дублирует функцию предлога, ввиду

[1] Впрочем в XVI в. встречается исторический инфинитив без предлога. (См. E. Lerch, Historische französische Syntax, Leipzig, 1934; ср. также пример из произведения Рабле «Lors Oudart se recestir, Loyre et sa famme prendre leurs beaux accoustremens, Trudon sonner de sa flutte» (F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel).

чего инфинитив в функции подлежащего более распространен в беспредложной конструкции. Употребление предлога при инфинитиве в сочетании с личной формой непереходного глагола подчеркивает чисто связочную функцию предлога.

Связочную функцию предлоги *à*, *de* выполняют при инфинитиве, сочетающемся с переходным глаголом. Сопоставляя глагольные словосочетания с предложным и беспредложным инфинитивом, можно установить, что предлог в свободных словосочетаниях, выражая связь, подчеркивает отсутствие грамматического и лексического единства, т. е. отсутствие эквивалентности слову или его форме.

К объектным словосочетаниям с инфинитивом в раннем новофранцузском периоде можно отнести, например, *aprenoit à escrire*, *desjeunent de baisler*, *cessait de manger*.

В некоторых случаях употребление предлога может характеризовать устойчивые словосочетания с инфинитивом, имеющие единое лексическое и грамматическое значение. Например, *se print à plorer — pleura*; *commencerent à renier — renièrent*; *estoient à garder — gardaient*.

Однако чаще всего устойчивые глагольные словосочетания с инфинитивом отличаются беспредложной конструкцией *commença le louer*, *voulut occire*, *peult fuire*, *doiblez bailler*. Сочетания непереходных глаголов передвижения с беспредложным инфинитивом являются устойчивыми для раннего новофранцузского периода, однако они не полностью грамматизованы (личный глагол не полностью утратил свое лексическое значение, которое сохраняется в некоторых конструкциях: *alloient veoir les garses*, *allons nous cacher au coing de la cheminée*). Все эти сочетания устойчивы, так как только глаголы *aller* и *venir*, а не другие глаголы передвижения могут являться их компонентами.

В дальнейшем глаголы *aller* и *venir* в формах настоящего времени и имперфекта индикатива образуют грамматические единства, в которых глаголы передвижения полностью утрачивают свое лексическое значение. Грамматическое единство их не нарушается и включением в словосочетание предлога *de* (*viens de partir*, *venait de partir*). Можно предположить, что предлог *de* первоначально служил для указания на законченный, завершенный характер действия; эта функция предлога *de* могла возникнуть на основе значения удаления, которое предлог *de* выражал, начиная с самых ранних памятников письменности французского языка.

Словосочетание *venir de*+infinitif стало устойчивым, в связи с чем беспредложная конструкция закрепилась в свободных словосочетаниях с глаголом *venir*. Ср. *Il vient dîner* и *il vient de faire son devoir*. В отдельных случаях в грамматизованных единствах встречается инфинитив с предлогом *à* [1].

Можно предположить, что предлог *de* в перифразе, обычно именуемой *passé immédiat*, а также при так называемом историческом инфинитине, кроме связочной функции, служит еще и видовым показателем, указывающим на законченный характер действия.

Структурные функции предлогов *à*, *de* развиваются к новофранцузскому периоду. К этому времени повышаются их словообразовательные возможности, в широкой степени образуются составные наречия, предлоги и союзы; заканчивается процесс формирования устойчивых словосочетаний, которые не обладали слитной формой в XVI в.

Новое структурное единство словосочетаний на основе большой слитности их компонентов формируется постепенно. Еще в XVII в. встре-

---

[1] J. Damourette et E. Pichon, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, Paris: t. III, б. г., § 1134; t. V, б. г., § 1670.

чаются (особенно в стихотворных произведениях) многочисленные случаи разобщения компонентов словосочетания; лишь к концу XVII в. вырабатываются устойчивые формы выражения, например форма объектного словосочетания «глагол+имя существительное».

Историческое изучение словосочетаний позволяет сделать ряд выводов.

1. Форма словосочетания изменяется в зависимости от изменения в морфологии. Важным фактором в развитии словосочетаний явилось исчезновение двухпадежной флексии в XIV—XV вв. и утрата свободных синтаксических словосочетаний, построенных на падежном отношении.

2. Твердый порядок следования компонентов словосочетания устанавливается позднее исчезновения падежной флексии. XVI век, который представляет собою начальный этап в формировании французского национального языка, характеризуется многочисленными пережиточными явлениями в системе языка. В литературном языке XVI в. наблюдаются варианты форм словосочетаний, между компонентами которых допускаются разного рода вставки. Порядок слов «определяемое — определяющее», являющийся нормой новофранцузского языка, начиная с XVII в., в ранний новофранцузский период еще окончательно не стабилизировался.

3. Предлоги выполняют важные конструктивные функции; они структурно организуют словосочетания, выполняют также связочные функции и служат грамматическими показателями при инфинитиве. Употребляются также для образования составных предлогов.

4. Постепенное развитие предлогов свидетельствует о более позднем развитии их чисто грамматических функций. Историческая связь более конкретных пространственных значений предлогов с производными от них грамматическими функциями прослеживается при систематическом последовательном изучении синтаксического строя.

5. Богатый материал для наблюдения дает изучение тех периодов в развитии языка, которые можно назвать подготовительными в том смысле, что они подготавливают формирование новых норм, закрепляют и стабилизируют употребление форм слов и синтаксических конструкций. Таким периодом являлся XVI в., когда начинает формироваться национальный язык, ведется углубленная работа по нормализации языка, интенсивно обогащается лексика и синтаксис общенародного языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. А. РЕФОРМАТСКИЙ

ЧТО ТАКОЕ СТРУКТУРАЛИЗМ?

I

До последнего времени термин «структурализм» в нашей науке был почти бранным словом в такой же мере, как «формализм» и некоторые другие термины. Освещая данный вопрос, мне хотелось бы отрешиться от всяких субъективных и эмоциональных реакций и объективно изложить то, что я думаю.

Прежде всего мне кажется, что недифференцированное понятие «структурализм» содержит очень много противоречивых признаков и качеств. Это объясняется тем, что есть разные виды «структурализма»: пражский, датский, американский и другие, коренным образом отличающиеся друг от друга.

Должен сказать, что я хочу искать в структурализме положительное, и твердо верю, что оно есть. Однако там, где так называемые «структуралисты» начинают искажать и предавать плодотворную идею (Брёндаль, Ельмслев, Блумфилд, Хоккет, Найда и др.), я оставляю за собой право резкой и прямой критики. В этой статье мне хотелось бы выяснить, чем лингвистическая наука XX в. отличается от науки XIX в., что́ мы не должны принимать из «догматов младограмматиков»[1] и что́ в науке XX в. достойно развития и поощрения. Исходя из идей и схем даже самых прогрессивных лингвистических трудов младограмматиков и стоя на их «нефилософской» теоретической платформе, нельзя понять ни отрицательных, ни положительных сторон того, что огульно называют «структурализмом».

Термин «структурализм» появился не сразу. Ни у Соссюра, ни у более ранних предшественников этого направления (И. Винтелера, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова) его, конечно, не было. Не фигурировал он и в основных трудах Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона [2] и К. Бюлера [3]. Одной из первых работ, где сделана попытка обосновать понятие структурализма, была статья Х. Поса [4] — голландского философа, заинтересовавшегося новой проблематикой в лингвистике. У нас в СССР в связи с потребностями практики построения алфавитов для бесписьменных и младописьменных народов (труды ВЦК Нового алфавита), в связи с реформой русской орфографии, выработкой правил практической транскрипции для картографии, библиографии и других нужд, а также в связи

---

[1] Пожалуй, что — все. В этом-то и трагедия научной преемственности!

[2] Я имею в виду их работы эпохи Пражского лингвистического кружка (1929—1939 гг.).

[3] Здесь имеются в виду статьи К. Бюлера, изданные в 20-х и 30-х гг. в «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (TCLP), а также его книга «Sprachtheorie (die Darstellungsfunktion der Sprache)» (Jena, 1934).

[4] См. H. J. Pos, Perspectives du structuralisme, TCLP, 8, 1939.

с принципами издания словарей, орфоэпических указателей и т. п., также возник этот вопрос. Слова «структурное понимание» языка, «структурная лингвистика» и даже horribile dictu «структурализм» были употребительны задолго до появления статьи Х. И. Поса. Однако в то время многое мешало выработке взглядов по данному вопросу. В нашей лингвистической печати в последнее время появились статьи, хотя и не блещущие оригинальностью, но содержащие в себе много верных и «едких» замечаний по поводу некоторых положений зарубежных структуралистических теорий [1]. Но только такими статьями вопрос о структурализме разрешить нельзя. Вот почему и я рискнул написать эту статью в защиту структурализма как новой концепции подхода к изучению фактов языка, в корне отличной от методов младограмматиков.

II

Мне кажется, что структурализм в истории науки о языке — явление закономерное, вытекающее из общего хода развития лингвистической мысли. Если идея «нормативной грамматики» была осуществлена у индусов (Панини) и у александрийцев, а затем воскресла в эпоху Возрождения и прошла через XVII и XVIII вв., то в XIX в. эту идею отдали школе и отстранили от науки. Успехи науки в области сравнительно-исторического языковедения, где все чуждо нормативности, не разрешали основных методологических вопросов лингвистики. Что такое язык? Какова его «организация»? Все это ни биологисты, ни психологисты, ни «трезвые» младограмматики не были в силах разрешить. Одни искали основу лингвистики в этнографии и истории материальной культуры (Уленбек, Зеленин, Марр), другие — в логике (Гуссерль, Бюлер, неопозитивисты), третьи — в эстетике (Кроче, Фосслер), четвертые — в психологии (Ван Гиннекен, Марти, Бодуэн де Куртенэ). Но это все — измена лингвистическому пути, несмотря на то, что в отдельных анализах Гуссерля, Бюлера, Марти, Ван Гиннекена (не говоря уже о Бодуэне де Куртенэ) есть многое, что освежило атмосферу лингвистики XX в.

Для лингвистической науки XX в. тем основным в «прошлом», от чего следовало отталкиваться, было учение младограмматиков. Младограмматики стояли на позиции «невмешательства» философии в лингвистику. Г. Пауль утверждал, что для построения лингвистической теории философия так же нужна, как и любая другая наука. Это, по его мнению, знамение «нефилософского века» (Unphilosophisches Zeitalter) [2]; и тем не менее младограмматики все-таки имели свою философскую базу. Этой базой был ранний позитивизм, примитивный позитивизм О. Конта. В этом легко убедиться, если взять и параллельно сравнить многие места из «Morphologische Untersuchungen» Г. Остгофа и К. Бругмана (о понимании закона, о непознаваемости «начал» и «концов», о сведении формулировок от множества к единству, о достоверности, реальности и т. п.) с соответствующими местами сочинений О. Конта [3].

---

[1] См.: М. М. Гухман, Против идеализма и реакции в современном американском языкознании (Л. Блумфилд и «дескриптивная» лингвистика), ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 4; О. С. Ахманова, О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, ВЯ, 1952, № 5; О. С. Ахманова, Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания, ВЯ, 1953, № 3; О. С. Ахманова, Основные направления лингвистического структурализма, М., 1955 и др.

[2] См. H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 5-e Aufl., Halle a. S., 1920.

[3] См. H. Osthoff und K. Brugmann, Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, Theil 1, Leipzig, 1878, а также Auguste Comte, Système du politique positive . . . t. 1—4, Paris, 1851—1854.

Эмпиризм и психологизм младограмматиков не могли стать основой для развития лингвистической теории, поэтому все позднейшие поколения лингвистов, логиков, психологов по-своему старались оттолкнуться от младограмматических догм. Одни считали их слишком идеалистическими, другие — недостаточно идеалистическими.

Что же надо было преодолеть лингвистике в наследии младограмматиков?

1. Теорию «конгломерата», т. е. непризнание за языком единства и целостности. В «нефилософский век», как говорил Пауль, лингвисты не понимали единства и целостности своего объекта. Для них все распадалось на несопоставимые части: физическое, физиологическое, психическое, причем в последнее включалось все, кроме фонетики, т. е. грамматика и лексика. О том, что у языка как целого должно быть свое онтологическое «место», не думали и не хотели думать.

2. Эмпиризм и боязнь абстракции. Детали у младограмматиков заслоняли перспективу, и за деревьями они не видели леса. Эта тенденция была связана с успехами наблюдений прежде всего в фонетике — как сравнительно-исторической, так и «описательной» (что, как правило, смешивалось). Успехи экспериментальной и инструментальной фонетики поддерживали эту тенденцию. Так возникал своеобразный спорт: кто больше деталей зарегистрирует. И вот, под пером различных наблюдателей русский вокализм, например, раскладывается то в двадцать, то в сорок, то в восемьдесят клеточек, где такие факты, как [а] и [æ] или [*a*], все же оказываются в единой рубрикации [1], тогда как в этом плане можно говорить только об одном ‹а›.

Во многом способствовали этой тенденции и успехи тогдашней диалектологии (что в целом было очень важным для борьбы с «бумажной фонетикой»), где выработался жанр под названием: «об особенностях такого-то говора»; в таком описании регистрировались, и довольно точно, отклонения фонетики и морфологии данного говора от литературного языка, но в чем же было «лицо» данного говора — осталось неизвестным.

3. Безразличное, качественно не взвешенное перечисление фактов любого яруса языковой структуры: звуков, форм, слов. Естественно, что при таком методе, например в фонетике, картина зависела от «уха» описывающего: чем тоньше «ухо», тем больше можно было зарегистрировать единиц безличного и безразличного ряда. Изучение фонетики при таком изложении делается практически невозможным [2]. То же происходило и с частями речи, когда в одну «нумерацию» включались имена и частицы, глаголы и предлоги, и даже «префиксы». Идея иерархического расчленения была абсолютно чужда младограмматикам.

4. Неразличение современного статуса и предшествующих процессов. Результат не равен сумме процессов — этой истины мы не найдем у младограмматиков. Особенно пагубно отразилось это заблуждение на фонетике. Различные явления звуковых мутаций и чередований вытягивались в одну безразличную ниточку, где давно прошедшее, недавнее прошлое и современное перепутывались в удивительной эмпирической неразберихе. И нужен был проницательный гений Бодуэна де Куртенэ, чтобы распутать эту паутину и все поставить на свои места [3].

5. Младограмматики всегда ратовали за «Sprachgeschichte», но связной

---

[1] Ср. А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, Л., 1925 (4-е изд. — М., 1941).

[2] Предлагаю для проверки «выучить» русский вокализм по Шахматову (см. А. А. Шахматов, указ. соч.).

[3] См. J. Baudouin de Courtenay, Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, Strassburg, 1895.

истории языка у них не получалось, что объяснялось беспомощностью их методологических установок. Это была эмпирическая регистрация изменений отдельных изолированных фактов (история [а], история формы данного падежа, история такого-то слова и т. д.), т. е. то, что в свете системности сейчас осуждается как «атомизм».

Вот те основные положения младограмматиков, которые необходимо было преодолеть, чтобы лингвистика получила свой собственный предмет, свой метод, свою технику исследования и описания и что могло бы ликвидировать разрыв описательного и исторического языковедения, научной и школьной «грамматики», теоретических исканий и запросов практики.

III

Где же следовало искать пути преодоления тех неверных положений, которые оставили младограмматики? И откуда пришли новые идеи?

Конечно, на смену старому новое пришло не сразу. В недрах «последнего» старого уже были корни нового. И, думается, такие ученые, как И. Винтелер, П. К. Услар, Л. Л. Васильев — в своих практических работах, а И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский, Ф. Ф. Фортунатов и Ф. де Соссюр — в теоретических трудах, нащупали новые подходы. «Формализм» Фортунатова и «преструктурализм» Соссюра — разные стороны «новых путей».

Минуем пока что все «изгибы» и противоречия официального структурализма и поговорим о том положительном, что, на наш взгляд, содержит структурализм.

1. Положительной чертой структурализма является отказ от пресловутой теории «конгломерата», провозглашенной младограмматиками. Надо было понять язык как особый целостный объект, как собственную «онтологическую сферу» с ее внутренними законами. Бодуэн в борьбе с остатками биологизма пытался характеризовать общее качество языка как психическое, правда, с оговоркой в пользу социологического [1]. Место языка, конечно, в социальном.

Для понимания целостности и единства языка при всем разнообразии его фактов важны два понятия: система и структура.

2. Понятие «система» предусматривает единство однородных явлений (фонетики, грамматики, лексики). Это горизонтальный срез по ярусу, где «факты» берутся не изолированно, а лишь во взаимосвязи, поэтому каждый голый факт становится подлинным фактом только тогда, когда прослежены все его значимые и незначимые отношения с аналогичными фактами данного ряда или яруса языковой структуры. Первым наиболее убедительно показал это, независимо от П. К. Услара и И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюр в рассуждениях по вопросам фонетики (*ch* и *r* во французском, немецком и русском языках) [2], о множественном и двойственном числе [3] и о словах *mouton* (франц. «баран», «баранина») и *баран*, *баранина* в русском языке [4].

Система в языке — это взаимосвязь и взаимообусловленность однородных явлений в пределах одного яруса структуры — фонетической, морфологической, синтаксической и даже лексической. Все ярусы языковой структуры системны.

---

[1] См. И. А. Бодуэн де Куртенэ, Языкознание (статья в 81-м полутоме энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона), СПб., 1904, стр. 518.

[2] См. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 118.

[3] Там же, стр. 115.

[4] Там же, стр. 115 (в подлиннике — сравнение *mouton* с англ *mutton* и *beef*).

3. Именно вопрос о системе вызывает необходимость постановки проблемы структуры. Структура — это результат вертикального анализа языка от периферии вглубь, это та «ось», на которой «крепятся» различные ее ярусы, образуя единство разнородных элементов в целом. Так же как система не является суммой фактов данного яруса, так и структура — не сумма звеньев одной вертикальной оси. В обоих случаях на первый план выступает проблема целого, «которое было раньше своих частей» и которое качественно отлично от любых конгломератов слагающих его единиц.

4. Для утверждения лингвистики как подлинной науки особенно важной является проблема тожеств, что связано vice verso с вопросом о различиях. Данный вопрос поставил Соссюр, но поставил далеко не во всем объеме. Казалось бы, этот вопрос прост: ведь писали же диалектологи об «особенностях» говоров, разумея р а з л и ч и е данного говора и литературного языка в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике. Однако на самом деле все это не так просто. Если мыслить себе язык как систему и структуру, то различия нельзя обнаружить путем чисто эмпирического наблюдения. Их (различия) надо «взвесить» структурно: какого это яруса различие и с чем его можно сопоставить.

Приведем пример. Если сравнить две «формы» *взяла* [вз'^лá] во владимиро-поволжских говорах и в южных (допустим, рязанских), то выходит, что различия здесь нет, а тожество налицо. Но это неверно [1]. Во владимирско-поволжских говорах фонемы ‹а›, ‹о›, ‹э› в первом предударном слоге различаются, а в рязанских (большей частью) — не различаются. Следовательно, как изолированный факт — это тожество, а как факт во взаимосвязи с другими фактами данного яруса и ряда — не тожество. В данном случае налицо фонетическое тожество при фонематическом нетожестве.

Различие в одном ярусе структуры часто предполагает тожество в другом. Так, вариации одной и той же гласной, допустим, русской фонемы ‹а›, представляют собой различия: [æ] в *ляль*, [а] в *пат*, [*а*] в *лал* и т. п., но в фонемном кругу все эти [æ], [а], [*а*] образуют одну единицу: фонему ‹а›, т. е. тожество. Это важно для морфологии, где следует, допустим, установить тожество и различие флексий в примерах: *столá*, *коня́*, *дóма*, *тóля*, *крáя*, хотя флексии звучат по-разному: [а] в *стола*, [æ] в *коня*, [^] или [ə] в *дома*, [^] или [ə] в *толя* и [æ] в *крия*, но в фонематическом ярусе это всё ‹а›, т. е. тожество. Фонематически тожественны и флексии в словах *толя* (род. падеж) и *Толя* (имя), хотя морфологически они разные. Значит, мы выходим в новый ярус, где прежнее тожество, т. е. тожество предыдущего яруса, — уже не тожество. То же самое происходит и с разными аффиксами, использованными в той же функции, например *столы* и *дома*: оба слова имеют флексии множественного числа в именительном падеже, однако они не тожественны, а являются параллельными элементами в одной и той же функции [2]. Зато различия морфологические могут стать тожеством синтаксическим, например, синтетическая и аналитическая форма будущего времени в глаголах: *я напишу* (совершенный вид) и *я буду писать* (несовершенный вид), или в таких оборотах: *он — инженер* и *он работает инженером*. Таковы же лексические различия, синтаксически

---

[1] См. А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Принципы синхронного описания языка, «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета [Ин-та языкознания АН СССР], посв. дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка», М., 1957, стр. 11—12.

[2] См об ошибках в работах некоторых американских структуралистов, где это положение не принято во внимание в моей статье «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)» (сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955).

представляющие тожество: *он работает халатно — он работает спустя рукава.*

Итак, проблема тожеств необходимо связана с проблемой различий. Одно без другого не может быть понято, а без выяснений тожеств и различий, распределенных по ярусам языковой структуры, не могут быть поняты и сама структура языка и любые входящие в нее элементы.

5. Подобная трактовка явлений языка упирается в проблему знака. Во многих высказываниях о языке термин «знак» употребляется довольно произвольно. Так, Ф. Ф. Фортунатов неоднократно упоминает о «знаках языка», но это очень далеко от «теории знака», хотя различение типов знаков у Фортунатова очень интересно. Ф. Ф. Фортунатов говорил о знаках «для мысли» и предметов мысли, о знаках «для выражения чувствований», а также о знаках тех «отношений, которые открываются в мышлении». К сожалению, эти чисто системно-структурные характеристики знаков языка у Ф. Ф. Фортунатова сопровождаются определением «представления», что уводит от лингвистики [1]. Ничего не объясняющим и типично прагматистским является понимание знака у Д. Н. Кудрявского, который считает, что «мысль пользуется для облегчения своей работы»[2] знаком.

Большая заслуга в теории знака принадлежит Э. Гуссерлю, который дал классификацию семиотических явлений и ввел термины «Anzeige», «Anzeichen» и «Zeichen» (часто с эпитетом — «gebildetes Zeichen») [3]. Новую интерпретацию этого вопроса находим у К. Бюлера, различающего функции знаков: «Ausdrucksfunktion», «Appelfunktion» и «Darstellungsfunktion», где явно отсутствуют знаки в «Dejktivfunktion» (о чем, впрочем, Бюлер пишет в главе о местоимениях) [4].

Как нам кажется, в лингвистике сущность знака понимается следующим образом: 1) знак должен быть материален и доступен чувственному восприятию; 2) сущность знака не исчерпывается его материальностью; в ней (и именно в ней) имеются известные признаки, которые в своей совокупности образуют значимое содержание знака. Этот отбор признаков связан с системностью, так как каждый язык в любом ярусе своей структуры выбирает, исходя из противопоставлений другим аналогичным членам данной системы, нужные для знака признаки; 3) остальные материально наличные признаки имеют иное качество в силу своей непротивопоставленности, т. е. находятся «вне игры»; 4) знак в языке не обладает собственным значением, но только через различие и тожество знаков возможно речевое общение и передача в языке того, что недоступно чувственному восприятию [5].

Поясним сказанное фонологическим примером. В русском и французском языках имеются твердые и мягкие оттенки [t] и [k]. Возникает вопрос: сколько единиц в четырех звуках [t, t', k, k'] в русском и французском языках? Если два звука могут стоять в одной позиции (в одинаковых произносительных и морфологических условиях) и они различаются каким-либо признаком, а тем самым могут различать два значения в языке, — это две разные единицы. Если же данная операция невозможна, т. е. два звука нельзя поставить в ту же позицию и, наоборот, они друг друга вза-

---

[1] См. «Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв.», сост. В. А. Звегинцев, М., 1956, стр. 199, 203—204, 209.

[2] Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, 2-е изд., Юрьев (Дерпт), 1913, стр. 23.

[3] См. E. Husserl, Logische Untersuchungen, Theil 2, Halle a. S., 1913, стр. 24 и сл.

[4] См. K. Bühler, Sprachtheorie...

[5] См. об этом: А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 22—23.

имно заменяют в разных позициях, то, значит, это не две разные единицы. В предлагаемом примере получается такая картина:

В русском языке:	Во французском языке:
1) [t] и [t'] могут быть в любых позициях, различая смысл: *ток-тёк*, *тук—тюк*, *плот-плоть* и т. д.;	1) [t] бывает только перед [a, a:, o:, ɔ̃, ã: ɔ̃:, u] и в Auslaut'e: *tas* [ta] «куча», *patte* [pat] «лапа», *pâte* [pa : t] «тесто», *tôt* [tɔ] «рано», *temps* [tã:] «время», *ton* [tɔ̃:] «твой», *toute* [tut] «вся» — в Auslaut'e; [t'] — только перед передними гласными [i, e, ɛ, ɛ:, ɛ̃, ø, œ, œ̃:], *tu* [ty] «ты», *teint* [tɛ̃] «окраска и др.;
2) [k] бывает перед [a, o, u], перед согласными и в Auslaut'e, [k'] бывает перед [e, i].	2) то же, что, и с [t] и [t'].

Отсюда следует вывод, что, во-первых, в русском языке из четырех звуков [t, t'; k, k'] получается три единицы: ‹t›, ‹t'› и ‹k/k'›, а во французском — две ‹t/t'› и ‹k/k'›[1] и, во-вторых, что в русских ‹t› и ‹t'› качество твердости и качество мягкости являются дифференциальными (различительными) признаками независимо от позиции, а во французских [t] и [t'] твердость и мягкость согласной обусловлена позицией, положением перед задними или передними гласными. Для [k] и [k'] — положение в русском и французском языке одинаковое. Здесь нет двух единиц, а есть две вариации одной и той же единицы, хотя позиции в этих двух языках для [k] и [k'] несколько иные. Конечно, может возникнуть вопрос о том, какая же из вариаций основная, главная, и какая побочная? Вопрос решается путем элиминирования и тех и других причин, т. е., например, исходной позицией (Auslaut'a), где нет в постпозиции ни задней, ни передней гласной [2].

Существует мнение некоторых сторонников структурализма, что в этом плане применительно к фонологии следует ограничиваться лишь анализом дифференциальных признаков, отбрасывая все прочие [3]. Вряд ли это правильно. Конечно, гораздо хуже регистрировать все признаки фонем под «одну нумерацию», не различая дифференциальных и недифференциальных признаков, как это иногда делается в «фонологической» литературе [4]. Но ограничение фонологии только дифференциальными признаками явно недостаточно. Мы знаем случаи, когда отдельные диалекты какого-либо языка имеют тот же состав фонем, но система варьирования этих фонем иная, да и само значение фонем в сильных позициях различно. Взять хотя бы различные типы яканья в южнорусских говорах или различные северные говоры, где нет двух аффрикат ‹ц› и ‹ч›, а имеется одна, которая реализуется по-разному — то как [ц], то как [ц'], то как [ч], то как «нечто среднее» между [ч] и [ц] [5].

Таким образом, при описании фонологической системы следует строго разграничивать дифференциальные и недифференциальные признаки и изучать те и другие, памятуя об их качественном различии.

Знаками в языке являются фонемы и иные фонологические средства (а на письме — графические знаки и способы их сочетаний).

---

[1] См. А. А. Реформатский, Фонологические заметки, ВЯ, 1957, № 2.

[2] Подробнее см. А. А. Реформатский, Введение в языкознание, стр. 179 и сл.

[3] См. С. К. Шаумян, Проблема фонемы, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 4.

[4] См., например: А. Н. Гвоздев, О фонологических средствах русского языка, М.—Л., 1949; его же, О фонологии «смешанных» фонем, ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 1.

[5] См. В. Г. Орлова, Типы употребления аффрикат как различительный признак русских народных говоров, ВЯ, 1957, № 1.

Являются ли с этой точки зрения знаками слова? И да, и нет. Слово через низлежащие ярусы структуры — фонетику и технические способы морфологии — доступно чувственному восприятию. В слове материальный фонетический комплекс не тожествен значению, т. е. не отображает действительность. Значит, с этой точки зрения, слово удовлетворяет приведенному выше пониманию знака. Поскольку слово имеет значение, недоступное чувственному восприятию, оно может не подходить под понятие знака. В то же время вне знаковости ни слово, ни любой иной элемент языка немыслим. Знаковость — первое условие существования языка, и коренится оно в наличии у человека второй сигнальной системы.

6. Положительным в структурализме является и постановка проблемы абстракции, которая у младограмматиков не получила должного освещения. Эта проблема у них перекрещивалась с проблемой реальности, понимаемой в духе О. Конта. Однако смешивать их невозможно. Ведь конкретна только речь. Но ее конкретность надо уметь разложить на Schein и Sein. И здесь уже нужна абстракция. Эта абстракция конституирует не только науку о языке, но и сам язык в его речевой практике. В языке наличествуют разные типы практической абстракции, которыми владеет каждый говорящий на своем языке совершенно независимо от того, грамотен он или нет. Весь язык есть историческая реальность, но каждый ярус его структуры обладает своей разновидностью абстракции. Лексическая абстракция, например, состоит в том, что слово соотнесено номинативно не прямо с данной вещью, а всегда с классом вещей. Это особенно явствует в именах нарицательных, соотнесенных с понятиями, но касается и собственных имен. Думаю, что абстракция нарицательных и собственных имен— это две разные ступени лексической абстракции.

Иным качеством обладает грамматическая абстракция. Не будем здесь поминать «Глокую куздру» Л. В. Щербы [1]. Синтаксические схемы и морфологические модели могут вмещать и менять любой лексический материал. В отличие от абстракции лексической грамматическая абстракция — это не номинативная, а релационная абстракция. Это абстракция отношений и характеристик. Словообразование мы также считаем грамматическим явлением и включаем его в грамматику.

Абстракция фонетическая, может быть, самая показательная для языка в целом. Ведь если для морфологии неважно, к чему приставляются флексии *-ов*, *-ам*, *-ами*, *-ах* и т. п., но важно, что *-ов* — родительный падеж, а *-ам* — дательный и т. д., то для фонетики совершенно внеположно, что ‹а› — это флексия родительного падежа единственного числа второго склонения (*дóма*, *столá*, *окнá*), или флексия именительного падежа множественного числа для многих слов того же склонения (*домá*, *óкна*), или же это образующий форму деепричастия аффикс *-а* (*зевая*), или просто корневое [а] любого слова, содержащего эту гласную: *пал*, *бал*, *мал*, *фал*, *вал*, *стал*, *дал*, *канал* и т. п. При этом никакого своего значения [а] не имеет. Характер абстракции фонем— в отвлечении от всех ее вариантов — совершенно особый. Эта абстракция не может быть рассмотрена как «ступень» или количественная разновидность лексической или грамматической абстракции.

Сказанным еще раз подтверждается наличие ярусов языковой структуры — лексического, грамматического и фонетического — с особой, свойственной каждому ярусу, абстракцией [2].

---

[1] См.: А. А. Реформатский, Введение в языкознание, стр. 259—260; Л. В. Успенский, Слово о словах, 2-е изд., 1956, стр. 257—258.

[2] В связи с этим хотелось бы отметить, что определение состава фонем невозможно, если язык «непонятен» (как это пытались доказать некоторые американские и советские лингвисты), но «понимание» языка лимитировано определенным ярусом —

7. На базе различения структурных ярусов языка и типов языковой абстракции определяются и характеризуются единицы языка. Привычная схема выявления единиц языка (предложение — слово — морфема — звук) — очень неточна и неверна. Это не значит, однако, что надо исключить слово как единицу из данного ряда [1].

Напротив, именно с точки зрения структурализма, как я его понимаю, слово должно быть в центре внимания исследователя. Чем же определяются единицы языка? Отнюдь не количественными признаками (большое—меньше—маленькое), а качественными, что в свою очередь определяется функциями данных единиц.

8. Что же следует понимать под термином «функция»? Надо сказать, что вокруг этого термина было много поломано копий. Хулившие этот термин не понимали простой истины: все, что существует в языке как реальность, должно быть направлено на осуществление главных функций языка: коммуникативной, номинативной, экспрессивной, дейктивной. Тем самым принцип функциональности заложен в самой структуре языка. Именно через функцию того или иного «факта» языка мы можем понять качественное отличие данного элемента от сродных ему в системе и несродных, но сопряженных с ним в структуре. И именно исходя из функций, а не из каркасов языковых фактов, можно выявить единицы, которые могут существенно меняться в своей характеристике и в своем составе в зависимости от типа языка.

Если язык в целом и отдельными ярусами своей структуры выполняет коммуникативную, номинативную, семасиологическую, экспрессивную, дейктивную функции, то в нем должны быть носители этих функций, и их следует обнаружить. Функции единиц могут перекрещиваться и сополагаться, но каждый раз мы можем определить ведущую и основную. Так, для синтаксических единиц ведущей будет функция коммуникативная, будь то сложные, осложненные обособленными оборотами простые предложения или же разного типа синтагмы (берем этот термин в плане чисто грамматическом, а не фонетико-семасиологическом, что часто встречается в лингвистической литературе), конечно, коммуникативность, связанная с предикацией, качественно отличается от коммуникативности непредикативных синтагм.

Все это не значит, что синтагмы и предложения лишены номинативной функции. Нам кажется, что спор о том, является ли словосочетание (берем этот термин в понимании Фортунатова) коммуникативной или номинативной единицей, излишен. Это синтаксическая, коммуникативная единица; как сочетание слов — номинативная, где иногда целое не равно номинативно сумме элементов (идиоматизм). Это не мешает словосочетанию быть и семасиологической единицей, поскольку его элементы (слова) связаны с понятиями. Но тем не менее словосочетание — это прежде всего коммуникативная единица, и степень его предикативности тем более, чем ближе само словосочетание к предикативному сочетанию [2].

Номинативность слова вряд ли кто отрицает, и именно в этой функции следует искать специфику слова как единицы. «Отрицание слова» — модная, но неверная теория некоторых направлений структурализма Запада

морфологическим, а лексическое значение может быть элиминировано. См. об этом B. Trnka, Určování fonému, sb. «Philologica et historica» («Acta Universitatis Carolinae», 1954, 7), Pragae, 1954, стр 19 и 21.

[1] См. Э. Сепир, Язык. (Введение в изучение речи), перевод с англ., М.—Л., 1934, стр 26, 27 и др.

[2] См. М. И. Стеблин-Каменский, О предикативности, «Вестник ЛГУ», № 20, Серия истории, языка и лит-ры, вып. 4, Л., 1956.

и Америки. Наивное мнение о том, что язык — это «слова», не так уж неверно. Конечно, не только слова, но слова — прежде всего.

Мы не намерены выступать в защиту слова как единицы. Для советского языкознания это достаточно ясный вопрос, давно обсуждавшийся в русской лингвистике (А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский и др.) и получивший новые разъяснения в последнее время [1]. Гораздо сложнее вопрос о «меньших» единицах — морфологических и фонологических. По этому вопросу и в советской лингвистике нет единства мнений, не говоря уже о зарубежных работах.

Вопрос о тожестве морфемы не менее сложен, чем вопрос о тожестве слова. Применительно к слову — это разграничение сочетания слов, сложных слов, производных и первообразных. Применительно к морфеме — это прежде всего вопрос о членимости лексемы на морфемы, вопрос об опрощении и переразложении, о производящих, производных, свободных и связанных основах [2].

Очевидно, понятие морфемы и выделение ее как единицы тесно связано с типом языка; поэтому морфемы в языках агглютинирующих и в языках флективно-фузионных имеют различное качество; особый вопрос представляет собой проблема морфемы в языках инкорпорирующих [3].

В частности, в языках флективно-фузионных мы неизбежно встречаемся с затруднительными случаями морфологической членимости лексемы, когда суффикс «затух», а корень еще «играет» и, наоборот, когда суффикс «в игре», а корень «затух» (ср. такие случаи, как *вьюшка*, *пастух*, *обувь*, *буженина* и др., где можно пользоваться терминами «потенциальный» суффикс и корень или «суффиксоид» и «радиксоид»).

В фонологии трудности выделения и определения единиц заключаются в том, что основная единица этого яруса языковой структуры — фонема, минимальный по линейному членению речи «отрезок»; это уже не линия, а точка, но точка сложная, так как фонема не линейна, а структурно разложима на признаки, данные симультанно, но имеющие различные отношения в пределах той или иной фонологической системы. Кроме того, большие трудности представляет объединение вариаций в одну единицу и расчленение по соотношениям слабых и сильных позиций вариантов на разные единицы. Это особый вопрос, которого мы касаться не будем [4].

Мы попытались разъяснить связь вопроса о единицах языка с вопросом об их функциях. На наш взгляд, определение единиц языка и их характеристика зависят прежде всего от ведущей функции данной единицы. Это и конституирует реальность абстрагируемых единиц.

9. Очень запутан вопрос об отношениях, хотя никто не спорит, что весь синтаксис строится на выражении отношений, причем специфических,

---

[1] См.: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952; его же, К вопросу о слове. (Проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания», т. IV, М., 1954; его же, Значение слова, ВЯ, 1955, № 2. См. также М. В. Панов, О слове как единице языка, «Уч. зап. [Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина]», т. LI, Кафедра русск. языка, вып. 5, М., 1956.

[2] См.: Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 4; А. И. Смирницкий, Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ, «Докл. и сообщ. Филол. фак-та [Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова]», вып. 5, 1948; А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии).

[3] См. Э. Сепир, указ. соч., гл. VI; см. также В. П. Григорьев, Некоторые вопросы теории словосложения. Канд. диссерт., М., 1955.

[4] См.: П. С. Кузнецов, К вопросу о фонематической системе современного французского языка, «Уч. зап. МГПИ», т. V, Кафедра русск. языка, вып. 1, М., 1941; А. А. Реформатский, Проблема фонемы в американской лингвистике, там же; П. С. Кузнецов, О фонологической системе сербо-хорватского языка, ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 2; А. А. Реформатский, Введение в языкознание, стр. 177 и сл.

языковых. Синтаксические отношения — это особые, свойственные лишь языку отношения, которые нельзя подменять иными. Кроме синтаксических отношений, в языке выражаются, например, модальные, которые обозначают реляционную связь говорящего и речи; поэтому модальные отношения устанавливаются только в момент речи и выражают прежде всего целевую установку данной речи.

«Отношения», передаваемые такими языковыми категориями, как род, число, определенность и неопределенность и др., многими не почитаются за отношения (так как это отношения не синтаксические и не модальные). Это особые, мы бы сказали, квалификативные отношения, которые во многих языках выражаются чисто реляционными способами, например артиклями и их сменой.

Следует ли «бояться» анализа отношений в грамматике? Вряд ли, скажет большинство. И тем не менее понять категорию числа как отношение многие не решаются. Мы отнюдь не склонны кидаться и в иную пропасть: признавать в языке только отношения без наличия относимого, как это встречается у отдельных представителей западного структурализма.

IV

Всячески утверждая структурализм как метод лингвистической науки, я никак не могу обойти вопрос о том, можно ли все направления структурализма объединять в одно целое, единое по существу. Меня очень озадачила статья С. К. Шаумяна «О сущности структурной лингвистики» (ВЯ, 1956, № 5), который, высказав ряд верных соображений, в то же время объединил все направления зарубежного структурализма и признал даже тезис Соссюра — Ельмслева о сравнении знаковости языка и знаковости светофора. Даже простые напоминания могут показать, что дескриптивная школа американцев, датский структурализм и структурализм Пражского кружка — не одно и то же. Если Брендаль хотел видеть в фонеме «платонову идею», а Тводл — «фикцию», то эти взгляды и идеи весьма различны и трудно объединяемы. Представители школы Блумфилда, как и он сам, аттестуют себя «физикалистами» и исходят из бихевиоризма; Ельмслев же идет совершенно другим путем: он хочет дематериализовать знак и свести все только к отношениям без учета относимого. Путь блумфилдианцев — прагматизм, путь Ельмслева — спиритуализм.

Мне хотелось бы ответить на некоторые недоуменные вопросы, пользуясь той «анкетой», которая предложена в передовой статье журнала «Вопросы языкознания» (1956, № 4):

1. Проблема отношений стоит, конечно, в центре лингвистического внимания. Без этого нельзя понять систему языка и, следовательно, структуру его. Но для того чтобы понять ценность отношений и соотношений, необходимо знать качество относимого, что требует специального исследования. Несомненно, качество относимого должно быть взято «в отношении» и в системе [1].

2. Отожествление разных школ зарубежного структурализма — неправильно. Об этом уже было сказано. Каждая из них имеет свои положительные достижения и неудачи. Надо думать о том, что и для чего нужно использовать.

---

[1] См. R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, Preliminaries to speech analysis, 2-d print., [Mass.], 1955, [обл. : 1952], а также S. Karcevskij, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, 1, 1929. Мои несогласия с J. Nida в трактовке тожеств и нетожеств в грамматике изложены в упоминавшейся выше моей статье «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)».

3. Методы структурализма применимы ко всем структурным ярусам языка, к одним — легче (фонетика и морфология), к другим — труднее (лексика и синтаксис). И сравнительно-исторический метод важно обогатить приемами структурального анализа (здесь есть удачи: работы Е. Куриловича [1], Э. Бенвениста [2], и, думаю, А. И. Смирницкого [3]). О применении лингвистического структурализма к области прикладной лингвистики и при решении внелингвистических вопросов было сказано выше и будет еще сказано ниже.

4. На шестой и седьмой вопросы как будто бы ответы я дал, хотя и очень приблизительные. Ответ на вопрос восьмой ясен: конечно, структурализм как метод занимает сейчас ведущее положение (не исключая, однако, и других методов).

5. Ответ на девятый пункт требует времени. Безусловно, структурализм в лингвистике тесно связан с математическими методами исследования, но у нас слишком мало еще сделано в этой области. Работы и споры ведутся и обещают впереди много интересного. Думаю, что плодотворность объединения мысли лингвистов и математиков не требует доказательства. Практика это уже подтвердила, и стремление многих лингвистов сделать свою науку «точной» не нуждается в оправдании. Однако есть целый ряд областей в лингвистике, где нужно содружество не с математиками, а с историками, этнографами, археологами, антропологами, географами (например, в области топонимики, где географы «поставляют материал», лингвисты — «интерпретируют», а историки — «потребляют»). Такое содружество необходимо для взаимодействия наук и не может быть заменено благотворным союзом лингвистов, математиков и, кстати добавлю, логиков.

V

Какие же можно сделать выводы из всего изложенного здесь?

1. На смену старому младограмматическому воззрению на язык пришло новое. Его назвали структурализмом. «Изгибы» структуралистов — это главным образом и з м е н ы структурализму как строгой, точной науке о языке.

2. Структурализм нужен для преодоления имевшейся в прошлом пропасти между «научной», «исторической» лингвистикой и «нормативной», «школьной». Составление описательных грамматик и очерков языка в словарях может быть правильно осуществлено только при помощи структуралистских методов.

3. В плане теоретическом структурный анализ фактов языка может быть единственной базой типологии языков [4].

4. Без структурного анализа языка нельзя приниматься за строительство и реформу алфавитов, вопросы письменности в широком смысле этого слова, куда мы включаем и всю практическую транскрипцию, что

---

[1] Например, J. K u r y ł o w i c z, Le sens des mutations consonantiques, «Lingua», vol. I, № 1, 1948.

[2] E. B e n v e n i s t e, Origines de la formation des noms en indo-européen, I. Paris, 1935 (русск. перевод: Э. Б е н в е н и с т, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955).

[3] А. И. С м и р н и ц к и й, К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, ВЯ, 1952, № 4 и др.

[4] См.: R. J a k o b s o n, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics [«Reports for The Eighth international congress of linguists (Oslo, 5—9 august 1957). Supplement»], Oslo, 1957; М. М. Г у х м а н, Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание и типологические исследования, ВЯ, 1957, № 5.

необходимо для картографии, библиографии, практики перевода и даже для паспортизации населения.

5. Не может обойтись без структурального анализа и лексикограф, особенно когда дело касается определения значений полисемического слова или выделения омонимов.

6. Технические вопросы, связанные с человеческой речью: исследование речепроводимости телефонных кабелей, условий речевого общения водолазов, речи в условиях «шума» — требуют структурного анализа и фонетического и грамматического ярусов [1].

7. Вопросы машинного перевода с одного языка на другой требуют точного, формально-структурного описания данных двух языков, на почве чего можно составить правила машинного перевода, т. е. той суммы заданий машине, которую можно перевести в машинный код. Это касается и «буквального» перевода и, в предвидении, звукового. У нас идет интенсивная работа для изыскания путей и «правил» этого большого дела [2]. Работают и координируются многие организации и ученые разных специальностей. Бесспорно уже то, что все это и технически, и лингвистически осуществимо. Данная проблематика ставит новые проблемы перед теоретической лингвистикой.

8. Современная диалектология и лингвистическая география вряд ли могут получить нужные результаты без структурного анализа диалектов — идиомов и прежде всего без фонологической интерпретации диалектных данных [3].

9. Думаем, наконец, что подлинную историю языка, воссоздаваемую пером исследователя, отрешившегося от всех практических заданий, можно правильно изложить только тогда, когда речь в нужное время «остановлена» и структурально описана в моменты этих «остановок» в плане языка.

---

[1] См Л. А. Варшавский и И. М. Литвак, Исследование некоторых физических характеристик и формантного состава звуков русской речи, «Научно-технический сборник [Гос. союзн. научно-исслед. ин-та МРТП СССР]. Телефонная акустика», Л., 1955.

[2] См.: П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский, Основные проблемы машинного перевода, ВЯ, 1956, № 5; О. С. Кулагина и И. А. Мельчук, Машинный перевод с французского языка на русский, ВЯ, 1956, № 5; Л. И. Жирков, Границы применимости машинного перевода, ВЯ, 1956, № 5; Т. Н. Молошная, В. А. Пурто, И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода, ВЯ, 1957, № 1.

[3] Этот вопрос был поставлен в свое время Н. С. Трубецким (см. N. S. Trubetzkoy, Phonologie und Sprachgeographie, TCLP, 4, 1931), что подчеркивает Р. Г. Пиотровский [Р. Г. Пиотровский, Структурализм и языковедческая практика. (Возможна ли структуральная диалектология?), ВЯ, 1957, № 4]. Ср. также: W. Doroszewski, Le structuralisme linguistique et les études de géographie dialectale, в кн. «Reports for The Eighth international congress of linguists (Oslo, 5—9 august 1957)», vol. II, Oslo, 1957; E. Stankiewicz, On discreteness and continuity in structural dialectology, «Word», vol. XIII, № 1, 1957; J. C. Catford, The linguistic survey of Scotland, «Orbis», t. VI, № 1, 1957 (со ссылкой на работы Р. И. Аванесова на стр. 118, примеч. 2).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

А. С. МЕЛЬНИЧУК

К ОЦЕНКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО СТРУКТУРАЛИЗМА

Чтобы определить подлинную сущность и объективно-научное значение структуралистического направления в языкознании, необходимо выяснить следующие три вопроса: 1) каковы философско-гносеологические основы структурализма; 2) каковы исходные положения его собственно лингвистической теории и методологии; 3) к чему сводятся результаты применения структуралистических методов при исследовании конкретных языков и языковых групп.

Некоторые сторонники структурализма утверждают, будто философская сторона структуралистической концепции не имеет существенного значения для характеристики структурализма как специальной теории языка [1]. Однако такой подход к структурализму не только затушевывает его философскую направленность, но и создает неполное представление о структурализме как лингвистической теории, поскольку общеметодологические, философские основы структурализма на самом деле теснейшим образом связаны с его специально лингвистическими установками.

Однако прежде чем говорить о сущности структурализма в целом, необходимо сделать одно предварительное уточнение. Современный лингвистический структурализм, несомненно, представляет собой достаточно определенное и целостное направление, основные принципы которого не только в той или иной мере отличаются от принципов других лингвистических течений, но являются общими и для подавляющего большинства языковедов, считающих себя структуралистами [2]. Но наряду с этим в лагере структуралистов встречаются и такие лингвисты, работы которых мало удовлетворяют требованиям современного структурализма. Так, например, к числу структуралистов относится ряд членов Пражского лингвистического кружка — В. Матезиус, Б. Гавранек, В. Скаличка и др., которые вместе с Н. Трубецким и Р. Якобсоном впервые выступили как структуралисты; впоследствии, однако, эти ученые остались в стороне от основного пути развития структурализма [3]. Ясно поэтому, что структуралистами можно называть лишь тех исследователей, которые в своих работах придерживаются принципов, характерных для современного структурализма в целом.

Обычно наиболее общее определение сущности структурализма сводится его популяризаторами к представлению структурализма как теории, рассматривающей язык в качестве системы, все части которой находятся в тесных взаимоотношениях между собой. Такое определение способно

[1] См.: С. К. Шаумян, О сущности структурной лингвистики, ВЯ, 1956, № 5 и М. И. Стеблин-Каменский, Несколько замечаний о структурализме, ВЯ, 1957, № 1.

[2] См. О. С. Ахманова, Основные направления лингвистического структурализма, [М.], 1955, стр. 25—26.

[3] См., например, статью В. Скалички (V. Skalička, Kodaňský strukturalismus a «Pražská škola», «Slovo a slovesnost», roč. X, č. 3, 1948), в которой автор от имени пражских структуралистов резко отмежевывается по наиболее принципиальным вопросам от структурализма Л. Ельмслева.

привести к ложному выводу, будто языкознание, не признающее принципов структурализма, рассматривает языковые факты без надлежащего учета системного характера языка. Однако в действительности подавляющее большинство языковедов мира, не считающих себя структуралистами, в том числе почти все советские языковеды, не только признают системный характер языка, но и во всех тех случаях, где это позволяет наличие соответствующего материала и уровень развития науки о языке, рассматривают и оценивают исследуемые факты языка с точки зрения системы языка. Достаточно указать в качестве примера на общепризнанное положение о том, что родственные по своему характеру грамматические категории различаются между собой по отдельным языкам в зависимости от места, занимаемого ими в грамматической системе каждого данного языка. Следовательно, указание на то, что структурализм рассматривает язык как систему, не отражает его подлинной сущности.

Сущность современного структурализма заключается в том, что он рассматривает язык как структуру имманентную, т. е. абсолютно оторванную от реальной действительности. Развивая положения де Соссюра о том, что «объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя», что «в языке нет ничего, кроме различий», что «язык есть форма, а не субстанция»[1] и т. п., структуралисты объявили язык системой чистых отношений, не зависящих ни от характера отражаемых в языке явлений, ни от физической природы звучания как конкретного проявления языка.

Поскольку зависимость языка от действительности и прежде всего от возникновения и развития общества проявляется в семантической стороне языковых единиц, отрыв языка от действительности выразился в структуралистическом извращении соотношения языковой формы, языкового значения и действительности. В этом отношении европейские и американские структуралисты пошли разными путями, что определяется различием их исходных позиций.

Бихевиористическая точка зрения на язык, ставшая философской основой американского дескриптивизма, в корне извращает взаимоотношения между языком и действительностью, отказываясь видеть в языке средство отражения действительности и рассматривая речевую деятельность лишь как своеобразные реакции на внешние стимулы. Транспонированная в специальную теорию языка, эта точка зрения приводит к отрицанию семантической стороны в структуре языка. Значения лингвистических единиц Л. Блумфилд рассматривает не как внутренне присущие им свойства, а как нечто внешнее по отношению к ним. «Мы определили значение лингвистической формы, — указывает Л. Блумфилд, — как ситуацию, в которой говорящий произносит ее, и ответ, который она вызывает у слушателя»[2]. Подобное, но несколько более точное понимание значения как «соотношения (correlation) высказывания с социальной ситуацией» встречаем и у З. Харриса[3].

Л. Блумфилду не удалось последовательно провести принцип обособленности значения от лингвистической формы. Не находя других возможностей описания структуры языка, и прежде всего освещения таких коренных единиц этой структуры, как фонема и грамматическая форма, Л. Блумфилд вынужден был перейти к употреблению термина «значение» в его традиционном смысле. Все последующее развитие дескриптивизма представляет собой ряд неудачных попыток разработать такие при-

[1] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 207, 119, 120 и др.
[2] L. Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 139; ср. стр. 27.
[3] Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, [2-d print.], Chicago, 1955, стр. 187.

емы описания языка, которые позволили бы обойтись без учета значения и, таким образом, устранить внутреннюю противоречивость сформулированных Блумфилдом основ дескриптивной лингвистики [1]. При этом, однако, сохраняется лишь видимость чисто формального анализа, изредка дополняемого незначительными открытыми ссылками на семантику, между тем как многие узловые моменты этого анализа незаметно для читателя основываются на семантических соображениях, о которых автор умалчивает. В этом отношении исключительно характерной является книга З. Харриса «Методы в структуральной лингвистике», цель которой заключается в рекомендации системы таких приемов, которые делали бы возможным анализ языковой структуры на основе особенностей распределения и сочетания ее составных частей в высказывании. Каждый раз, как только приходится определять какую-либо новую часть структуры языка, Харрис молчаливо перебазирует признак дистрибутивных отношений на функционально-семантическую основу. Так, например, в системе Харриса центральную роль играет понятие тождественности лингвистического элемента — звука, морфемы и т. п. Два или несколько выражений, являющихся повторениями друг друга, признаются тождественными, а их части — простые или сложные звуковые отрезки — на основании этого сводятся к одному и тому же простому или сложному отрезку [2], что ведет в дальнейшем к установлению фонем и, соответственно, морфем. Однако отношения повторяемости и неповторяемости выражений ни в одном языке не являются самоочевидными без учета смысловой стороны выражений, что вынужден признать и сам Харрис [3]. Этим уже наперед разрушается та методологическая система, к поддержанию которой автор на протяжении всей своей книги прилагает так много усилий. Но и в дальнейшем исследовании значение элементов языковой структуры время от времени тайком протаскивается с черного хода для оживления очередного комплекса формальных операций. Начиная со второй половины книги, посвященной «морфологии», это незаметное протаскивание значения становится совершенно обычным.

Безуспешность попыток обойти значение при анализе структуры языка становится все более очевидной самим американским дескриптивистам. Часть из них начинает возвращаться к позиции Л. Блумфилда, открыто учитывавшего значение в своей теории [4]. Но в таком случае исчезает надобность в подавляющем большинстве разработанных дескриптивистами приемов структуралистической интерпретации формальной стороны языковой структуры.

Крайняя непоследовательность и противоречивость в освещении языка американскими структуралистами являются отражением несостоятельности агностически-позитивистских теорий бихевиоризма и прагматизма, примененных к объяснению языка.

*

В ином аспекте решается задача формального анализа языка европейскими структуралистами, в работах которых, начиная с «Курса» де Сос-

[1] Ср.: E. A. Nida, Morphology: the descriptive analysis of words, Michigan, 1946; G. L. Trager and H. L. Smith, An outline of English strukture, Oklahoma, 1951; Z. S. Harris, указ. соч.; B. Bloch, A set of postulates for phonemic analysis, «Language», vol. 24, № 1, 1948; его же, Contrast, «Language», vol. 29, № 1, 1953, и мн. др.

[2] Z. S. Harris, указ. соч., стр. 29, 37—38.

[3] Там же, стр. 7, примеч. 4.

[4] См., например, Ch. C. Fries, Meaning and linguistic analysis, «Language», vol. 30, № 1 (part 1), 1954.

сюра, проблема значения занимает центральное место. Соответствующая концепция де Соссюра, развиваемая европейскими структуралистами, основывается на идеалистическом истолковании природы лингвистического знака как единства означающего и означаемого, т. е. на таком представлении о знаке, согласно которому знак не служит для обозначения сущностей, находящихся вне его, а указывает якобы лишь на свое же внутреннее содержание: «...если (слово. — А. М.) *дерево* называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие „дерево“»[1].

Характерно, что в ходе обсуждения вопроса о структуралистическом понимании природы лингвистического знака на страницах журнала «Acta linguistica» из восьми статей, написанных 14 авторами, только в двух статьях отмечается коренная ошибка в понимании де Соссюром означаемого, но при этом в одной из них означаемое истолковывается в смысле λεκτόν стоиков, т. е. как некая объективно идеальная сущность, не являющаяся субъективным явлением сознания [2], а в другой об ошибке де Соссюра говорится только в сноске [3].

Отрывая знак от обозначаемого им реального факта, де Соссюр и его последователи приходят к мысли об отсутствии каких бы то ни было «различений до появления языка»[4]. Это в свою очередь ведет к идеалистическому представлению о структуре языка как об автономной системе, внутри которой «...значимости остаются целиком относительными...»[5], т. е. определяются только своим местом в системе языка и не зависят от фактов действительности. Наиболее последовательно и обстоятельно понимание семантической стороны языковых единиц как не зависящей от природы соответствующих реальных объектов изложено в работе Л. Ельмслева «Основы теории языка»[6]. Создавая свою глоссематическую теорию, Л. Ельмслев поставил перед собой цель — искать в структуре языка «постоянное, не связанное с „действительностью“, находящейся вне языка», «постоянное, которое, будучи найденным и описанным, может быть спроэцировано на окружающую язык „действительность“, какой бы она ни была (физической, физиологической, психологической, логической, онтологической), так чтобы язык как фокус (sammlende midtpunkt) оставался главным объектом также и при рассмотрении ее»[7] (т. е. действительности). Считая поэтому, что распространенное в науке понимание знака как «знака для чего-то» «является лингвистически несостоятельным»[8], Л. Ельмслев предлагает «употреблять слово *знак* как название единства формы содержания и формы выражения»[9]. Под «формой содержания» (indholdsform) Л. Ельмслев понимает семантическую форму, которую один и тот же смысл (mening) получает в различных языках и «которая может быть объяснена только знаковой функцией»[10], т. е. зависимостью между «формой содержания» и «формой выражения». Что касается «смысла», то он «остается каждый раз субстанцией для новой формы и не может существовать иначе как в роли субстанции для той или другой формы», между тем как «форма содержания. . . независима от смысла, находится

---

[1] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 78.
[2] W. Borgeaud, W. Bröcker et J. Lohmann, De la nature du signe, «Acta linguistica», vol. III, fasc. 1, Copenhague, 1942—1943, стр. 27.
[3] A. Nehring, The problem of the linguistic sign, «Acta linguistica», vol. VI, fasc. 1, 1950, стр. 1.
[4] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 112.
[5] Там же, стр. 113.
[6] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, København, 1943.
[7] Там же, стр. 9.
[8] Там же, стр. 44.
[9] Там же, стр. 53.
[10] Там же, стр. 50.

в отношении произвольности к нему и формирует его в субстанцию содержания»[1]. Как форма содержания создается из не существующего без этой формы смысла действующими в языковой структуре отношениями (функциями), так и форма выражения, согласно Л. Ельмслеву, создается теми же отношениями (функциями) из не существующего иначе «смысла выражения» (udtryksmening), или «субстанции выражения», т. е. артикуляционных возможностей речевого аппарата [2]. «Субстанция, таким образом, не является необходимой предпосылкой для языковой формы, но языковая форма является необходимой предпосылкой для субстанции»[3]. При этом между формой содержания и формой выражения усматривается настолько полный параллелизм и обе эти формы считаются настолько независимыми от посторонней «субстанции» (т. е. от смысла содержания и «смысла выражения»), что признается безразличным, какую из этих двух сторон языка называть «содержанием» и какую — «выражением»[4]. Все это оказалось нужным Л. Ельмслеву для того, чтобы в последних разделах своей работы перенести принципы глоссематики на другие науки (признаваемые им в согласии с философами-семантиками лишь своеобразными языками), в частности на социологию, лишив ее, таким образом, реального содержания.

Стремясь к последовательно идеалистической интерпретации всех элементов языковой структуры, европейские структуралисты пытаются отрицать зависимость от реальной действительности не только у грамматических значений, у функций служебных слов и т. п., но также и у лексических значений знаменательных слов. В качестве примера, призванного подтвердить зависимость лексических значений исключительно от самой структуры языка, Л. Ельмслев указывает на несовпадение границ в значениях названий смежных цветов по различным языкам. При этом автор не замечает, что его пример доказывает как раз противоположное тому, что он хотел доказать: границы значений соответствующих слов не совпадают по языкам именно потому, что в действительности нет четких границ между отражаемыми явлениями, между тем как, с другой стороны, вряд ли можно найти хотя бы один язык, в котором смешивались бы такие значения, как «черный» и «белый», и это опять-таки потому, что соответствующие явления четко отличаются друг от друга в действительности.

С целью затушевать и одновременно подкрепить резко бросающееся в глаза извращение природы лексического значения в концепции европейских структуралистов, В. Брендаль разработал специальную теорию состава слова [5]. Согласно этой теории, значение слова является объектом морфологии и вместе с грамматическим оформлением слова составляет две основные разновидности категорий или основных понятий, характеризующих слово. Грамматические значения слов В. Брендаль называет родами, сводя их функцию к классификации слов по частям речи, лексические же значения, согласно В. Брендалю, представляют собой о т н о ш е н и я — «настоящие элементы или атомы мысли»[6].

В своей теории В. Брендаль опирается на специально разработанный им с этой точки зрения материал о предлогах, не считаясь с тем, что значения предлогов по степени отвлеченности от реальных явлений существенно отличаются от значений знаменательных слов. Голословное утвер-

---

[1] L. H j e l m s l e v, указ. соч., стр. 49.
[2] Там же, стр. 51.
[3] Там же, стр. 94.
[4] Там же, стр. 55.
[5] См. V. B r ø n d a l, Essais de linguistique générale, Copenhague, 1943 (см. особенно статьи: «La constitution du mot» и «Définition de la morphologie»).
[6] Там же, стр. 34.

ждение о релятивном характере лексических значений кажется Брендалю достаточным для того, чтобы в другом месте следующим образом характеризовать отношение языка к действительности: «Таким образом, только через идеальное, через общее языку удается сделать возможным представление о мире (мире, от которого язык не зависит и не происходит сколько-нибудь существенным образом)»[1]. Именно такому пониманию языка как совершенно независимой от действительности идеальной структуры подчинены все остальные теоретические построения и конкретные исследования структуралистов.

*

Только имея в виду общую для европейского и американского структурализма тенденцию к отрицанию зависимости языка от объективного мира, можно выяснить сущность другой общей для всех структуралистов особенности их концепции — понимания языка как имманентной структуры. Фактически не только признание языка имманентной структурой, но и характерное для структурализма понимание природы этой структуры представляет собой лишь оборотную сторону отрицания связи языка с действительностью. Наиболее показательными с этой точки зрения являются структуралистические положения о приоритете отношений перед соотносящимися элементами в структуре языка и об изоморфизме всех сторон языковой структуры.

Признание системы чистых отношений единственно существенной основой структуры языка и рассмотрение соотносящихся элементов — звуков и форм — лишь в качестве точек, в которых перекрещиваются чистые отношения, характерны для представителей всех направлений современного структурализма. Ф. де Соссюр в своем «Курсе» пришел к выводу, что «в языке нет ничего, кроме различий. Более того, — уточнял он, — различие, вообще говоря, предполагает положительные моменты, между которыми оно и устанавливается; но в языке имеются только различия без положительных моментов. Взять ли означаемое или означающее, всюду та же картина: в языке нет ни идей, ни звуков, предшествующих системе, а есть только концептуальные различия и звуковые различия, проистекающие из языковой системы»[2]. Подобным образом Н. С. Трубецкой, рассматривая конкретные звуки языка лишь как реализации фонем [3], представляющих собой, следовательно, идеальные единицы, считает, «что каждый язык предполагает дистинктивные („фонологические") противоположности и что фонема представляет собой дальше не разложимый на более мелкие дистинктивные („фонологические") единства член такой противоположности»[4].

Определяя сущность структурализма, Л. Ельмслев пишет: «Под структуральной лингвистикой понимают совокупность исследований, основывающихся на гипотезе, согласно которой с научной точки зрения является законным описание языка как представляющего по существу автономное единство (entité) внутренних зависимостей, или, одним словом, структуру»[5]. Останавливаясь дальше на различных сторонах этой гипотезы, Ельмслев отмечает: «Она сводит свой объект к сети зависимостей, рассматривая языковые факты как существующие один в силу другого. Этим она противополагается любой гипотезе, которая провозглашает или предполагает

[1] V. Brøndal, указ. соч., стр. 70.
[2] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 119; ср. стр. 110.
[3] N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, Prague, 1939, стр. 36.
[4] Там же, стр. 39.
[5] «Acta linguistica», vol. IV, fasc. 3, 1944, стр. V.

существование „фактов", логически предшествующих отношениям, которые их объединяют. Она отрицает научное существование абсолютной субстанции, или реальности, которая была бы независимой от отношений. Она требует, чтобы величины определялись отношениями, а не наоборот. К „наивному реализму", господствующему в повседневной жизни и господствовавшему до сих пор в языкознании, структуральная лингвистика предлагает присоединить, в порядке опыта, функциональную концепцию, которая усматривает в функциях (в логико-математическом смысле этого термина), т. е. в зависимостях, подлинный объект научного исследования»[1]. Первичность отношений и различий, создающих якобы соотносящиеся элементы языка, признают в принципе и американские структуралисты, хотя специфика их дескриптивной методики и вынуждает их считаться с конкретными элементами языка — звуками и формами — как реальными компонентами языковой структуры. Так, например, З. Харрис в своей книге «Методы в структуральной лингвистике», которая, по мнению А. Мартине, представляет «удобное и авторитетное изложение главных особенностей американского структурализма»[2], природу фонетических элементов высказываний определяет следующим образом: «Эти элементы являются скорее фонологическими различиями, чем фонемами; это значит, что они скорее представляют собой различие между /k/ и /p/, точнее между *tack* и *tap*, между *sack* и *sap* и т. п., чем являются самими /k/ и /p/. Однако для удобства мы будем устанавливать в качестве наших элементов не различия, а классы сегментов, определяемые таким образом, чтобы классы отличались друг от друга всеми фонологическими различиями и только ими»[3]. Особенно заметным является преувеличение дескриптивистами роли отношений в дистрибутивном анализе «морфологической» (т. е. вообще грамматической) структуры языка. Этот анализ сводится к определению содержания и функций всех морфологических и синтаксических единиц релятивным путем — на основании их соотношений с другими единицами языка.

Идеалистическое утверждение структуралистов о приоритете в языке отношений перед относящимися элементами обусловлено представлением о том, что язык не зависит от действительности. Оторвав язык от действительности, которая им обслуживается и в нем отражается, структуралисты вынуждены были искать основу существования языка и условие единства всех его компонентов не в объективной действительности, а в отвлеченной системе чистых отношений, якобы идеально существующих независимо от конкретных элементов языка.

Одно из центральных мест в работах европейских структуралистов занимают попытки установления основных типов действующих в языке отношений. Наиболее сложная система этих типов была разработана Н. С. Трубецким применительно к фонологии[4]. Значительно более примитивной была система типов отношений между элементами морфологической структуры, разработанная В. Брендалем[5]. Однако между обеими системами, несмотря на слишком отвлеченный характер включаемых ими типов отношений (например, привативное отношение у Трубецкого или же различие между двумя противоположными сторонами, «правой» и «левой», «отрицательной» и «положительной», у Брендаля), не оказалось почти ни-

---

[1] «Acta linguistica», vol IV, fasc. 3, 1944, стр. VIII; ср L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, стр. 21—22 и др.

[2] A. Martinet, Structural linguistics, «Anthropology Today», Chicago—Illinois, 1953, стр. 580 a (примеч. 9).

[3] Z. S. Harris, указ. соч., стр. 34—35.

[4] N. S. Trubetzkoy, указ. соч., стр. 59—80.

[5] V. Brøndal, указ. соч., стр. 15—24.

каких общих моментов. Это могло служить основанием для вывода о том, что следует принять несколько идеальных систем отношений, лежащих в основе каждой отдельной стороны языковой структуры — фонетической, морфологической, лексической и т. п. Это, в свою очередь, наталкивало на опасные для структуралистического идеализма вопросы о причинах и происхождении этого различия и т. п. Оказалось необходимым разработать такую систему идеальных отношений, которую можно было бы с одинаковым успехом поднести под элементы любой стороны языковой структуры и таким образом утвердить представление об изоморфизме всех сторон языка. Именно такую систему, состоящую всего из трех типов отношений (взаимозависимости, односторонней зависимости и свободного сочетания), разработал Л. Ельмслев [1], считающий, что сведение всех конкретных связей между различными элементами языка и речи к этим трем типам отношений может обеспечить исчерпывающий анализ структуры любого языка и любого отрезка речи.

Тот факт, что не только характер устанавливаемых разными структуралистами типов отношений в языковой структуре, но даже критерии, принимаемые в основу определения этих типов, совершенно различны у разных авторов, показывает, как мало отражают они действительную структуру языка. Нетрудно представить, насколько поверхностный характер может иметь изоморфизм, утверждаемый путем приписывания одних и тех же общих отношений различным сторонам структуры языка. Поэтому наряду с отношениями, встречающимися более или менее регулярно, структуралисты вынуждены подтверждать принцип изоморфизма и совершенно неожиданными аналогиями между отношениями в различных областях языковой структуры, хотя эти аналогии оказываются еще более поверхностными. Достаточное представление о сущности структуралистического принципа изоморфизма дают соответствующие работы Е. Куриловича [2]. Исходным моментом для теории изоморфизма служит игнорирование коренного различия в природе и функциях таких элементов языка, как фонемы, с одной стороны, и значащие комплексы (морфемы, слова, синтаксические конструкции) — с другой [3]. А между тем специфика природы и функций различных компонентов языка наполняет внешние сходства между их отношениями различным содержанием и лишает эти сходства существенного значения для функционирования и развития языковой структуры.

Необоснованность структуралистического принципа изоморфизма является одним из моментов, определяющих общую несостоятельность структурализма. Структурализм представляет собой попытку распространения разработанной Н. С. Трубецким теории фонем на остальные стороны языковой структуры. Но свойственная теории Трубецкого неточность в понимании фонемы как смыслоразличителя [4], обусловливающая у некоторых структуралистов даже неправомерное подведение фонемы «под понятие знака»[5], в совокупности с идеалистической трактовкой фонологической системы как идеальной системы отношений лишают эту теорию той убедительности и последовательности, которые должны были бы отли-

---

[1] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, стр. 23.

[2] J. Kuryłowicz, La notion de l'isomorphisme, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», vol. V, 1949; его же, Linguistique et théorie de signe, «Journ. de psychologie», Année 42, № 2, Paris, 1949; его же, Заметки о значении слова, ВЯ, 1955, № 3, особенно стр 76—77; его же, L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956, стр. 5—8, 22 и др.

[3] См. О. С. Ахманова, О понятии «изоморфизма» лингвистических категорий, ВЯ, 1955, № 3, стр. 86—87.

[4] См. О С. Ахманова, Фонология, [М.], 1954, стр. 13.

[5] С. К. Шаумян, указ. соч., стр. 48.

чать учение, принимаемое за основу целого научного направления. Даже такая элементарная трудность теоретической фонетики, как истолкование совпадения различных фонем в определенных позиционных условиях (так называемая нейтрализация фонологических противоположностей), из-за указанных ошибочных предпосылок теории Трубецкого не нашла в ней удовлетворительного решения. К тому же вполне очевидно, что и наиболее последовательная теория фонем может быть лишь частью общей теории языковой структуры, а не служить основой и образцом для этой общей теории.

*

Что касается практических результатов применения структуральных методов к исследованию и описанию конкретных языков, то их незначительность и даже неприемлемость с точки зрения потребностей и целей науки о языке отмечались уже неоднократно как в советском, так и в зарубежном языкознании [1]. При характерном для структурализма стремлении к максимальной схематизации внутриязыковых отношений описание известных языков сводится, как правило, либо к упрощению изученных уже раньше явлений и подведению их под формулы, удобные с точки зрения структуралистической теории, но ничего не дающие для познания сущности рассматриваемых явлений [2], либо, наоборот, к необоснованному усложнению структуры языка, которой приписываются фактически отсутствующие в ней категории [3].

Специфика структуралистического подхода значительно менее заметна в исследованиях сравнительно-исторического характера. Это объясняется прежде всего тем, что сам структурализм своими истоками восходит к сравнительно-историческому методу с его вынужденно абстрактным подходом к реконструируемым элементам языка. Реконструирование единиц такого неопределенного характера, как соссюровский слабый гласный A[4], представляющее вполне естественную и очень важную ступень на пути приближения к конкретной истине в восстановлении доисторического состояния языка, привело де Соссюра к необоснованному перенесению частных особенностей сравнительно-исторического метода на сущность самого исследуемого объекта. Именно этим объясняется известное утверждение де Соссюра: «. . . чтобы познать звуковые единицы языка, нет необходимости ознакомиться с характером их положительных качеств; их следует рассматривать как дифференциальные величины, сущность которых в том,

---

[1] См.: A. Martinet, About structural sketches, «Word», vol. 5, № 1, 1949; L. L. Hammerich, Les glossématistes Danois et leurs méthodes, «Acta philologica scandinavica», vol. 21, 1, Copenhagen, 1952 (обл.: 1950); его же, Réponse à M. Paul Diderichsen, там же, vol. 21, 2—4, 1952; его же, Réponse finale à M. Diderichsen, там же; L. Zabrocki, [Рец. на ст. Е. Куриловича «Le sens des mutations consonantiques»], «Lingua Posnaniensis», III, Poznań, 1951; J. Sledd, [Рец. на книги Трейджера-Смита и Фриза], «Language», vol. 31, № 2, 1955; О. С. Ахманова, О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, ВЯ, 1952, № 5; ее же, Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания, ВЯ, 1953, № 3; В. Г. Адмони, Развитие синтаксической теории на Западе в XX в. и структурализм, ВЯ, 1956, № 6, и др.

[2] Так, большинство структуралистов, исходя из принципа изоморфизма и из общей специфики своих методов, не выделяет синтаксиса в особый раздел грамматики рядом с морфологией, в результате чего многие актуальнейшие вопросы синтаксиса для структурализма вообще не существуют.

[3] Ср., например, L. Hjelmslev, La catégorie des cas. Étude de grammaire générale, I, «Acta Jutlandica», VII, 1, Aarhus, 1935, стр 114, 119 и др., где английскому и датскому языкам, не имеющим падежей, приписывается система из четырех падежей.

[4] F. de Saussure, Recueil des publications scientifiques, Heidelberg, 1922, стр. 167—169, 226 и др.

чтобы не смешиваться друг с другом»[1]. Не менее решающее влияние на формирование структуралистической методологии оказало то, что при применении сравнительно-исторического метода «наблюдению доступны лишь результаты изменений, а не сами изменения», и поэтому «. . . история языков создается лишь путем сравнения состояний языка в различные периоды»[2]. Таким образом, для де Соссюра и его ближайших последователей-компаративистов идеи структурализма по существу совпадали с некоторыми положениями сравнительно-исторического метода, представляющими, впрочем, наиболее слабые стороны последнего. Поэтому общий характер и общая направленность сравнительно-исторических исследований у таких последователей де Соссюра, как А. Мейе [3], Э. Бенвенист и некоторые другие, не отличаются сколько-нибудь существенно от направленности и характера сравнительно-исторического языкознания, не связанного со структурализмом. Но превращенные компаративистами-соссюрианцами в методологическую основу сравнительного языкознания в целом, структуралистические идеи привели к резкому усугублению недостатков сравнительно-исторического метода. Ярким примером этого является сформулированная Э. Бенвенистом теория индоевропейского корня, отличающаяся, наряду с важными положительными моментами, крайним схематизмом и антиисторической абстрактностью [4]. Методические установки структурализма полностью переносятся на историческое исследование языков; и здесь допускается только синхроническое описание каждого данного состояния языка, следующего друг за другом, без рассмотрения диахронических переходов от одного состояния к другому. Р. Якобсон иллюстрирует это методологическое положение следующим примером: «В южновеликорусском наречии безударное о слилось с а. Возможно, здесь были промежуточные ступени: о развилось в очень открытый гласный о, затем в а° и, наконец, постепенно теряя лабиализованность, — в а. Но с фонологической точки зрения здесь имеются только две ступени: 1) о [о°, а°] отличается от а, это две различные фонемы; 2) рефлекс о уже не отличается от а, обе фонемы слились в одну; tertium non datur»[5].

В процессе дальнейшего развития структурализма в работах некоторых наиболее крайних его представителей обнаруживается стремление к новому преобразованию характера сравнительно-исторических исследований в духе последних установок структурализма и, в частности, глоссематики [6]. В этих работах конкретному исследованию фактов родственных языков предпосылаются различного рода общие утверждения «панхронического» значения, а само исследование нередко основывается лишь на гипотезах. Так, например, Е. Курилович в своей новой работе о чередовании гласных в индоевропейском языке строит свое объяснение генезиса чередования *e/o* на предположении (признаваемом самим автором недоказуемым) об обобщении ступени *o* сначала только в отглаголь-

---

[1] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 199.

[2] А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 18.

[3] Ср. утверждение А. Мартине о том, что «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» А. Мейе построено на принципах структурализма (сб. «Anthropology today», Chicago, Ill., 1953, стр. 577).

[4] Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, перевод с франц., М., 1955, стр. 178—204 и др.

[5] R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», № 4, 1931, стр. 250.

[6] Ср.: L. Hjelmslev, Quelques réflexions sur le système phonique de l'indo-européen, «Mélanges linguistiques, offerts à M. H. Pedersen», København, 1937; J. Kuryłowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, Kraków, 1952; его же, L'apophonie en indo-européen и др. работы того же автора.

ных производных с редуцированными *e*, *o* перед *r*, *l*, *m*, *n*, где варианты обеих гласных должны были совпасть в одной «архифонеме»[1]. Основным аргументом, на который опирается Куриловнч в проведении этой гипотезы, является его общее положение о стремлении к наибольшему формальному различению дериватов и их основ — так называемый принцип поляризации или максимальной дистанции. Этот принцип формулируется в связи с принципом пропорциональности, который мало чем отличается от старого понятия грамматической аналогии [2]; при этом с действием обоих принципов связывается структуралистическое истолкование отношений между соответствующими явлениями языка как отношений обоснования (fondement), что соответствует отношению «детерминации» (т. е. односторонней зависимости) в глоссематике Л. Ельмслева. Однако, если даже признать правильность принципа поляризации, то и в таком случае не оказывается никаких доказательств, что этот принцип действовал в условиях, которые сконструировал для него Куриловнч в своей гипотезе.

Таким образом, структуралистические позиции автора заметно снижают убедительность и научную ценность его очень интересной во многих отношениях работы. Но наряду с тем ущербом, который наносит сравнительно-историческому методу в работах Куриловича применение принципов структурализма, сами эти принципы при соприкосновении с системой приемов и положений сравнительно-исторического языкознания обнаруживают всю свою искусственность и бесплодность. В частности, структуралистический подход к изучению изменений в языке приводит Е. Куриловича вслед за де Соссюром к противопоставлению изменений, вызываемых стремлением структуры языка к равновесию — изменениям, вносимым в структуру языка извне социальными факторами [3]. Таким образом, сводится к нулю структуралистический принцип «гомогенности», разработка и применение которого у Куриловича вызвала столь высокую оценку в статье С. К. Шаумяна [4].

В последнее время в качестве аргумента, призванного подтвердить целесообразность структуралистического понимания языка, выдвигается утверждение о важности структуралистической методологии для практики машинного перевода. Однако работа по осуществлению машинного перевода вовсе не нуждается в методологии структурализма, поскольку машинный перевод требует специфического, сугубо механистического подхода к написаниям (а в дальнейшем и звучаниям) языка как носителям значений. Этот подход осуществляется на основе подробного учета структурных особенностей соответствующих языков, изучение которых было бы несправедливо приписывать исключительно или хотя бы даже в первую очередь структуралистам [5].

В тех, пока еще не очень многочисленных, работах зарубежных ученых, в которых вопросы теории информации и машинного перевода приводятся в прямую связь с методологией структурализма, нет и речи о непосредственном использовании результатов структуралистических исследований в кибернетике. Наоборот, структуралисты пытаются «использовать некоторые из элементарных понятий статистической теории информации» для

---

[1] J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, стр. 38—40.

[2] Там же, стр. 8—12 и др. Ср. J. Kuryłowicz, La nature des procès dits «analogiques», «Acta linguistica», vol V, fasc. 1.

[3] J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, стр. 22—23; ср «Acta linguistica», vol. V, fasc. 1, стр 19, 37.

[4] С. К. Шаумян, указ. соч., стр. 44—46.

[5] Ср. хотя бы статьи О. С. Кулагиной и И. А. Мельчука (ВЯ, 1956, № 5) и Т. Н. Молошной, В. А. Пурто, И. И Ревзина и В. Ю. Розенцвейга (ВЯ, 1957, № 1).

развития своих методов описания языка[1]. В тех же случаях, когда делаются попытки решения вопросов машинного перевода с лингвистических позиций, структуралистическая методика дескриптивистов подвергается существенным преобразованиям, в частности путем сочетания ее с методологией нелингвистической[2]. Таким образом, мнение о какой-то преимущественной роли структурализма по сравнению с другими направлениями языкознания в развитии методики машинного перевода является по меньшей мере преувеличением.

*

Диалектико-материалистическое языкознание не может отрицать возможность отдельных успехов в изучении языка даже в тех случаях, когда это изучение ведется с позиций структурализма. В частности, вполне возможно, что при своем исключительном внимании к отношениям в системе языка структуралисты могут достичь некоторых положительных результатов в разработке отдельных сторон внутриязыковых отношений (как это имеет место в фонологии или в некоторых аспектах теории Куриловича), что в свою очередь может оказаться полезным для освещения внутренних законов развития языка. Поэтому, при подходе к каждому определенному исследованию структуралистического направления, следует установить, нет ли в нем каких-либо положительных моментов, имеющих объективно-научное значение. Но то, что в работах структуралистов оказывается приемлемым для языкознания в целом и, следовательно, могло бы быть достигнуто и сформулировано также и вне структуралистской концепции, не может быть показательным для характеристики сущности структурализма и результатов применения структуральной методологии. Достигнутые структуралистами отдельные успехи в изучении структуры языка обусловлены не структуральной методологией, а общим состоянием языкознания на период развития структурализма. Своими методами и своей концепцией языка структуралисты извращают действительный характер отношений внутри языка и между языком и действительностью, толкая языкознание на путь идеалистического схематизма. Именно это составляет сущность структурализма, и именно в этом заключается его общая несостоятельность. Поэтому структуралистические работы должны подвергаться постоянной и непримиримой критике с позиций марксистского языкознания.

---

[1] См. E. C. Cherry, M. Halle, R. Jakobson, Toward the logical description of languages in their phonemic aspect, «Language», vol. 29, № 1, 1953, стр. 34.

[2] Ср. Y. Bar-Hillel, A quasi-arithmetical notation for syntactic description, там же, стр. 47 и сл.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Т. А. ИВАНОВА

ИЗ ИСТОРИИ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ

(К вопросу о происхождении именительного-винительного падежа множественного числа мужского рода на *-á* в русском языке)

Русское новообразование на *-á* (*городá*) в форме им.-вин. падежа мн. числа от имен существительных мужского рода вызвало многочисленные разыскания, с одной стороны, направленные на разрешение вопроса о причинах и условиях появления форм на *-á*, с другой — рассматривающие ее распространение и функционирование в русском литературном языке (таковы, например, работы Греча и Востокова, Больс и Чернышева и т. п.).

О происхождении форм им. падежа мн. числа на *-á* было высказано три гипотезы. В 1888 г. А. И. Соболевский образование указанных форм в русском языке поставил в связь с переходом имен собирательных женского рода типа *господа*, *сторожа* в категорию множественного числа [1]. И. В. Ягич в известной рецензии на работу А. И. Соболевского, справедливо признав точку зрения последнего мало убедительной, высказал предположение, связывающее появление форм им. падежа мн. числа на *-á* в русском языке с влиянием имен существительных среднего рода [2]. Дальнейшую разработку взгляды Ягича получили в трудах Л. А. Булаховского и Б. Унбегауна. Отсутствие указания на ближайшие причины, вызвавшие лишь в русском языке подобное влияние среднего рода, является основным недостатком как работы самого И. В. Ягича, так и работ Л. А. Булаховского и Б. Унбегауна и делает эту гипотезу мало приемлемой [3].

С именем А. А. Шахматова связано новое объяснение происхождения им. падежа мн. числа на *-á* [4]. По мнению Шахматова, в русском языке продолжали сохраняться, приобретая значение множественного числа, некоторые формы двойственного числа, утрата которого была пережита всеми восточнославянскими языками в XIV в. К числу таких форм может быть отнесена форма им.-вин. падежа дв. числа *о*-основ мужского рода.

---

[1] А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, Киев, 1888, стр. 152—154.

[2] И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб., 1889.

[3] Ср. в этом отношении справедливое замечание С. П. Обнорского: «Что касается влияния форм ср. рода на *-а*, то оно теоретически и лишь в диалектическом масштабе возможно, хотя неясны оставались бы при этом предположении ближайшие причины такового влияния» (С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, Л., 1931, стр. 3).

[4] А. А. Шахматов, Курс истории русского языка, ч. III, СПб., 1910—1911, [литогр. изд.], стр. 501—505; его же, Очерк современного русского литературного языка, 4-е изд., М., 1941, стр. 140—145.

Эта форма продолжала сохраняться в русском языке, во-первых, в положении после числительных два, три, четыре, где она стала осознаваться как форма род. падежа ед. числа (*два, три, четыре брата*). Во-вторых, в подвижноударяемых основах эта форма, отличаясь от формы род. падежа ед. числа, могла сохраняться, приобретая множественное значение, и не после числительных (*города́, леса́, луга́*). «По-видимому, однако, — замечает Шахматов, — такие формы извлечены были из соединения с числительными (не только с *два*, но. . . и с *три, четыре*). . . старые формы дв., как например *города́, голоса́*, заменялись в положении после числительных формами родительного падежа; но до такой замены, раньше чем она наступила, *города́, голоса́*, употребленные без числительных, получили значение множественного числа» [1].

Таким образом, А. А. Шахматов в истории конструкций с числительными различает три этапа: а) *два бра́та, два города́* при *три брати, четыре городи* — сохранение дв. числа; б) *два, три, четыре бра́та* и *два, три, четыре города́* — развитие мн. значения у форм дв. числа; в этот период и происходит выделение форм им. падежа мн. числа на *-а́*; в) *два, три, четыре го́рода* из *два, три, четыре города́* под влиянием *два, три, четыре бра́та*.

Развитие множественного значения в словах, означающих парные предметы, по мнению Шахматова, происходило самостоятельно. На это указывают возможные формы им. падежа на *-а* от данных существительных в других славянских языках (например, укр. *повода́, ву́са, рука́ва*), а также возможность образования в русском языке им. падежа мн. числа на *-а́* от неподвижно ударяемого существительного *рукав — рукава́*.

Гипотеза Шахматова долгое время являлась господствующей в нашей науке. Однако в 1920 г. Ван-Вейк выдвинул положение о безударности окончания им.-вин. падежа дв. числа в славянских языках [2]. Л. А. Булаховский, приняв данное положение Ван-Вейка, пересмотрел нуждавшуюся в связи с этим в исправлении гипотезу Шахматова [3]. Л. А. Булаховский привел дополнительные материалы, обосновывающие положение о безударности славянского окончания им.-вин. падежа дв. числа имен существительных мужского рода *о*-основ [4].

Некоторые факты древнерусского языка, широко отраженные памятниками письменности, свидетельствуют о правильности положения Ван-Вейка—Булаховского. К числу таких фактов прежде всего следует отнести употребление формы род. падежа ед. числа от имен существительных женского и среднего рода в сочетании с числительными *два, три, четыре*, которое, по единогласному утверждению всех историков русского языка, обязано аналогии с именами мужского рода [5].

Но если это так, то при сочетании с числительными *два, три, четыре* в словах мужского рода употреблялась форма, осознававшаяся как форма род. падежа ед. числа, т. е. *два, три, четыре го́рода*, но не *два, три, четыре города́*. О том, что эта форма в словах мужского рода понималась именно как род. падеж ед. числа, с несомненностью говорят случаи упо-

---

[1] А. А. Шахматов, Курс истории русского языка, ч. III, стр. 503.

[2] N. van Wijk, Zur Betonung der slavische Duals, «Neophilologus», V, 2, 1920.

[3] Л. А. Булаховский, Заметки по русской морфологии, «Slavia», roč. VI, seš. 4, 1928.

[4] Его же, Интонация и количество форм dualis именного склонения в древнейшем славянском языке, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 4.

[5] См., например: А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, 3-е изд., М., 1903, стр. 204; А. А. Шахматов, Исследование о Двинских грамотах XV века, СПб., 1903, стр. 127.

требления формы на *-у* при сочетании с числительными (ср., например, *на два году, два корму*) [1].

Попытаемся кратко осветить историю появления формы им. падежа мн. числа на *-á*, как она представлена в памятниках древнерусской письменности XVI—XVII вв.

*

Единичное употребление форм им. падежа мн. числа на *-á* от подвижноударяемых слов мужского рода отмечено в памятниках письменности с конца XV в. В изученных памятниках XVI—XVII вв.[2] рассматриваемые формы встречаются значительно чаще и от определенного ряда слов уже регулярно. В памятниках XV—XVII вв. следующие формы на *-á* употребляются в значении им.-вин. падежа мн. числа: *глаза, города, жернова, колокола, леса, луга, мастера, месяца, образа, рога, снега, сторожа, струга, стула, суда, тагана.*

В памятниках XVII века им. падеж мн. числа *глаза* употребляется постоянно [3], форма *глазы* отсутствует. Однако Б. Унбегаун в памятниках XVI в. форму на *-á* не отмечает [4].

Употребление формы *города* отмечено уже с конца XV в. (Западнорусская летопись Авраамки 1495). Однако им. падеж мн. числа *города* в памятниках XVI—XVII вв. встречается очень редко [5]. Употребление старой формы *городы*, по указанию Б. Унбегауна, являлось обычным в письменноделовом языке XVI в. [6]. Преимущественное употребление этой формы находим в памятниках письменности XVII в. Интересно отметить, что форма *города* отсутствует в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова.

Форма *жернова* неоднократно употребляется в памятниках письменности XVI—XVII вв. [7] параллельно с формой *жерновы*. Последняя особенно часто употребляется в сочетании с числительными типа *одни-двои* (*двои жорновы*) [8], хотя употребление ее возможно и вне сочетаний с подобными числительными.

---

[1] См. А. А. Шахматов, Исследование о Двинских грамотах XV века, стр. 127.

[2] «Акты Московского государства», т. I — Разрядный приказ, СПб., 1890 (АМГ); «Акты Оскольского края. (Из собрания старинных актов о Курской губернии князя Н. Н. Голицына, «Труды Курск. губ. статист. к-та», вып. I, Курск, 1863) (АОК); «Акты, относящиеся до юридического быта древней России», под ред. Н. Калачова, т. I, СПб., изд. Археогр. ком., 1857 (АЮБ); «Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства», СПб., изд. Археогр. ком.,1838 (АЮ); «Древние грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воронежской губернии и частию Азова», собр. и изд. Н. Второвым и К. Александровым-Дольником, кн. I—II, Воронеж, 1850 (ГВК); «Город Кашин. Материалы для его истории, собранные И. Я. Кункиным», вып. I—II, М., 1903—1905 (ГК); «Древние грамоты и акты Рязанского края, собранные А. Н. Пискаревым», СПб., 1854 (ГРК); «Донские дела», кн. I, IV («Русск. ист. б-ка», тт. XVIII, XXIX), СПб., 1898, 1913 (ДД); «Дела тайного приказа», кн. III («Русск. ист. б-ка», т. XXIII), СПб., 1904 (ДТП); «Писцовые книги Рязанского края», под ред. В. Н. Сторожева, т. I, вып. I—III, Рязань, 1898—1904 (ПКР); «Писцовые книги Тульского края», ч. 1, Тула, 1914 (ПКТ); «Письма русских государей и других особ царского семейства», тт. I—IV, М., 1861—1862 (ПРГ); «Сборник грамот Коллегии экономии», тт. I, II, Л., 1922, 1929 (СКЭ).

[3] АЮБ, I, стр. 15 и 23; АЮ, стр. 215—216; ПКТ, стр. 80; И. В. Ягич, Заметка об одном рукописном словаре немецко-русском XVII-го столетия, ИОРЯС, т. II, кн. 1—2, 1897, стр. 299.

[4] B. Unbegaun, La langue russe au XVI-e siècle, Paris, 1935.

[5] ДД, I, стр. 276 и 496; ДД, IV, стр. 280; АМГ, стр. 583; ГК, стр. 50.

[6] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 212, 221—222.

[7] И. В. Ягич, указ. соч., стр. 115; АЮБ, I, стр. 360; СКЭ, II, стр. 348; «Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий», собрал и приготовил к печати П. Симони, вып. I—II, СПб., 1899, стр. 96.

[8] СКЭ, I, стр. 609.

Хотя Б. Унбегаун в памятниках письменности начала XVI в. отметил лишь форму *колоколы* [1], им. падеж мн. числа на *-á* встречается постоянно и регулярно в разнообразных памятниках делового языка, писанных в разных областях Московского государства, уже с XVI в.[2].

Форма им. падежа мн. числа *леса* встречается в наших памятниках постоянно [3]. Однако наряду с этой обычной уже в письменных документах XVII в. формой употребляется изредка, но на протяжении всего столетия и форма *лесы*.

Форма им. падежа мн. числа на *-á луга* употребляется в наших памятниках не часто [4]; более обычной для языка XVI—XVII вв. была форма *луги*. Форму *мастера* приводит в своей работе Б. Унбегаун [5]. В наших памятниках форма *мастера* не отмечена, в картотеке ДРС она датируется лишь XVIII в. Старая форма *мастеры* была более обычной и сохранялась вплоть до начала XVIII в. Им. падеж мн. числа *месяца* встречается редко и лишь в памятниках XVII в.[6]. Более употребительной в языке XVII в. была старая форма на *-ы*.

Им. падеж мн. числа *образа* употребляется также редко [7], более обычна еще и в XVII в. была старая форма на *-ы*. Им. падеж мн. числа *рога* употребляется исключительно в том случае, когда это слово имеет парное значение (рога животного) [8]; при иных значениях слова возможно употребление и формы *роги*. Употребление форм *снега* [9], *сторожа* [10], *струга* [11], *стула* [12], *суда* [13] и *тагана* [14] в памятниках XVI—XVII вв. единично; более обычными в то время были от этих слов старые формы на *-ы(-и)*.

От иных слов, образующих в современном русском языке форму им. падежа мн. числа на *-á*, в изученных памятниках отмечена только форма им. падежа мн. числа на *-ы(-и)*. Таковы, например, *береги*, *волосы*, *годы*, *голоди*, *домы*, *кормы*, *неводы*, *парусы*, *погребы*, *стоги*, *хлевы* [15]. Правда, от некоторых из этих слов формы им. падежа мн. числа на *-á* датируются началом XVIII в. Таковы, например, *берега* [16], *дома*, *паруса*, *погреба* [17].

Некоторые формы им. падежа мн. числа на *-á*, отмеченные выше, требуют специальной оговорки.

1. Форма *колокола* может пониматься как форма среднего, а не мужского рода. См. указание С. П. Обнорского на употребление им. падежа

---

[1] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 212.

[2] См. А. И. Соболевский, Лекции. . ., стр. 215; СКЭ, I, стр. 718; СКЭ, II, стр. 26, 462, 525, 700, 708; ДД, IV, стр. 817; ПКР, I, стр. 260, 263, 270, 302, 312, 315, 321, 341, 382; ПКР, II, стр. 472, 473, 475; АЮ, стр. 253—254; ГК, I, стр. 24—25.

[3] СКЭ, I, стр. 678, 679; СКЭ, II, стр. 44, 137, 151, 233, 254, 255, 281, 292, 314, 352, 492, 660, 796; ГВК, II, стр. 149, 151; ГК, I, стр. 50; АОК, стр. 370; ПКТ, стр. 159; АЮБ, I, стр. 377 и т. д.

[4] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 212—213; ПКР, I, стр. 373; АМГ, стр. 267, 268; ДД, I, стр. 827, 830; ДТП, стр. 45; ПКТ, стр. 126, 174.

[5] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 213.

[6] А. А. Шахматов, Курс . ., ч. III, стр. 504; картотека ДРС.

[7] ГРК, стр. 51—54; картотека ДРС.

[8] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 221; ПКР, II, стр. 453.

[9] «Летописец русский. (Московская летопись)», под ред. А. Н. Лебедева, М., 1895, стр. 69.

[10] ГК, I, стр. 47—48.

[11] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 213.

[12] ПКР, I, стр. 3; картотека ДРС.

[13] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 218.

[14] А. И. Соболевский, Лекции . ., 3-е изд., стр. 218.

[15] ПКР, II, стр. 730; ПКТ, стр. 165; АЮБ, I, стр. 16; ДД, I, стр. 914; АЮ, стр. 78; ГВК, I, стр. 104; ДД, I, стр. 985; ДД, IV, стр. 66; АЮ, стр. 369; СКЭ, II, стр. 375; ДТП, стр. 340; ГК, I, стр. 4—5.

[16] ПРГ, I, стр. 105.

[17] «Письма и бумаги Петра Великого», СПб.: т. IV, 1900, стр. 273, 481; т. V, 1907, стр. 238.

ед. числа ср. рода *колоколо* в современных русских говорах и в памятниках древнерусской письменности [1]. Однако в изученных памятниках письменности форма *колокола* обычно соотносительна в единственном числе с мужским, а не средним родом. Например, «церковь, образа и колокола, и ризы строение мирское. . . а на другой башне колоколъ вестовой» [2].

2. Вероятно, формы им. падежа мн. числа *рога*, а также *глаза* следует возводить к старым формам дв. числа, в которых, однако, произошло изменение ударения по аналогии с новообразованиями в им. падеже мн. числа. Ср. в этом отношении отмеченную А. И. Соболевским форму *рога* со старым ударением дв. числа: *поздророгу рбга на губе* (Кирилло-белозерский сборник 1492 года, 488) [3].

Изученный материал позволяет сделать следующие существенные для дальнейшего изложения выводы.

1. Можно заметить, что большинство слов, образующих в XV—XVII вв. им. падеж. мн. числа на *-á*, входит в состав обиходно-бытовой лексики, т. е. свидетельствует о том, что им. падеж мн. числа на *-á* является новообразованием разговорного языка той эпохи. В этом отношении очень показательно, что употребление указанной формы встречается в памятниках практического назначения (грамоты, писцовые, межевые, приправочные книги, различные акты, судебные дела и т. п.). Нужно учитывать, однако, что, отражая черты живой речи, язык деловых документов, как любой письменный язык, отличался от разговорного языка той эпохи, в котором, несомненно, употребление формы им. падежа мн. числа на *-á* было более широким.

В памятниках книжного языка примечательно почти полное отсутствие рассматриваемой формы. Среди указанных выше форм только *снега* (Летопись) и *месяца* (Стоглав) извлечены из памятников подобного характера. К тому же *месяца* имеется только в списке XVII в., в списке же XVI в. сохраняется старая форма на *-ы* [4]. Архаичные формы на *-ы(-и)* закрепляются в памятниках церковно-книжного языка. Показательно в этом отношении и то, что в современном литературном языке у ряда книжных слов с подвижным ударением сохраняется им. падеж мн. числа на *-ы(-и)*. Таковы, например, *дары*, *миры*, *раи*, *образы* (при конкретном: *образá*), *громы*, архаич. *грóбы* (при разговорном *гробá*) и др.

2. Употребление им. падежа мн. числа на *-á* отражено в памятниках письменности, написанных в различных местах русского государства. Эта форма одинаково употребительна как в севернорусских (новгородских, двинских, кольских, кашинских и др.), так и в южнорусских (рязанских, тульских, воронежских, донских, оскольских и др.) документах. В московских грамотах и актах эта форма встречается постоянно. Такому свидетельству памятников письменности соответствует материал современных русских диалектов: им. падеж мн. числа на *-á* имеет почти повсеместное, хотя и неровное распространение [5]. В ряде говоров, преимущественно в южновеликорусских, наблюдается более широкое по сравнению с литературным языком употребление формы на *-á*; в других говорах, наоборот, распространение им. падежа мн. числа на *-á* незначительно. Необходимо также отметить отсутствие употребления указанной формы в тех говорах

---

[1] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 1, Л., 1927, стр. 33.

[2] ГРК, стр. 51.

[3] А. Соболевский, Из истории русского языка, ЖМНП, 1894, ноябрь, стр. 31.

[4] «Стоглав», М., 1890, стр. 392.

[5] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, стр. 3, 8—18, 20—22, 28—33, 38—44, 50.

русского языка, которые находятся на границе русской и украинской или белорусской территории [1]. Несомненно, что это явление связано с влиянием украинского и белорусского языков, для которых вообще характерно отсутствие образования им. падежа мн. числа на *-á*.

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно признать, что, во-первых, форма им. падежа мн. числа на *-á* явилась сравнительно поздним новообразованием общенародного русского языка (ср. отсутствие этой формы в украинском и белорусском языках и отражение формы на *-á* в памятниках русской письменности лишь с конца XV в.), во-вторых, появление ее связано с таким морфологическим процессом, который во всех русских говорах протекал в одном направлении.

*

А. А. Шахматов высказал предположение, что появление им. падежа мн. числа на *-á* явилось следствием утраты в русском языке категории дв. числа. Выше было отмечено, что эта гипотеза не может считаться состоятельной по акцентологическим причинам. Тем не менее вполне возможно, что появление рассматриваемой формы находится в непосредственной связи с утратой в русском языке категории дв. числа.

Формы дв. числа, как известно, могли употребляться в языке, когда речь шла о двух предметах или лицах, а также при обозначении парных предметов; при этом они могли сочетаться с числительными *два* и *оба*.

В эпоху разрушения категории дв. числа судьба различных случаев употребления форм дв. числа была неодинаковой. В первом случае во всех восточнославянских языках произошла утрата форм, вызванная утратой соответствующего значения. Во втором случае формы им.-вин. падежей дв. числа могли в языке сохраняться, приобретая множественное значение. Ср., например, совр. *плечи*, *колени*, *очи*, *уши* и др. Возможно, что формы им.-вин. падежа дв. числа имен парных мужского рода в русском языке растворились в многочисленных новообразованиях им. падежа мн. числа на *-á*, уподобившись им по ударению. Ср. такие формы мн. числа, как *рога*, *бока*, употребление которых в значении дв. числа засвидетельствовано памятниками письменности XI—XIV вв. [2]. Без сомнения, также формой дв. числа является по происхождению и им. падеж мн. числа на *-á* от слова с неподвижным ударением *рукава*. Подобная трансформация древних форм дв. числа в категорию множественности наблюдалась и в других славянских языках (укр. *повода́*, *ву́са*, *рука́ва*, болг. *крака́*, *рога́*).

Однако эти формы не могли явиться источником новообразования им. падежа мн. числа на *-á*, так как они не характеризовались ударяемостью окончания и к тому же составляли немногочисленную группу, объединенную узким значением парности.

Что касается употребления форм дв. числа в сочетании с числительными *два* и *оба*, то изменения их, вызванные утратою категории дв. числа, в русском языке были отличны от изменений тех же сочетаний в других славянских языках. Это обстоятельство, а также то, что слова, не употребляющиеся при счете (вещественные и pluralia tantum), в современном языке редко образуют им. падеж мн. числа на *-á*, заставляет предположить, что в русском языке указанное образование было связано именно с историей этих сочетаний.

Как уже выше было отмечено, формы им.-вин. падежа дв. числа мужского рода *о*-основ совпадали по звуку и ударению с формой род. падежа

[1] См. там же, стр. 52.

[2] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, СПб.: т. I—1893, стр. 143; т. III—1912, стр. 131.

ед. числа. Следствием этого совпадения явилось то, что с утратой категории дв. числа формы имен существительных мужского рода с числительными *два* и *оба* стали осознаваться в языке формами род. падежа. Одновременным или, возможно, следующим этапом разрушения категории дв. числа в русском языке явилось смешение двух систем счета, направленное к обобщению их и к выделению сочетаний с числительными *два*, а также *три*, *четыре* в особую грамматическую категорию, удачно названную Р. Ф. Брандтом «ограниченным числом» [1]. Однако в течение продолжительного периода времени памятники письменности отражают непоследовательное употребление форм имен существительных в сочетании с числительными *два*, *три*, *четыре*. Отсутствие морфологической нормы в употреблении этих конструкций характерно для языка XVI—XVII вв.

Изредка в памятниках письменности этого времени отражено традиционно соотносительное употребление старых форм: *два лука*, но *три луки* [2], *два рубежа*, но *три рубежи* [3]; *три дворы. . . три села. . . четыре дворы . . . да два двора* [4].

Более обычным в это время было безразличное употребление формы им.-вин. падежа мн. числа как с числительными *три*, *четыре*, так и с числительным *два*. Например: *три годы*, *четыре годы* [5], но и *два годы* [6].

Отмечая в языке XVI—XVII вв. употребление в сочетании с числительными *два*, *три*, *четыре* форм им. падежа мн. числа от имен мужского рода, можно предположить, что в именах среднего рода также употреблялась форма им. падежа мн. числа. Например, *два*, *три*, *четыре бкна*, *места́* и т. п. Ср. в этом отношении вывод, сделанный А. А. Шахматовым в «Исследовании о Двинских грамотах XV в.», о значении форм среднего рода на *-а*: «в наших грамотах после *три*, *четыре* употребляются еще формы множественного числа: на д҃ пузы № 3, три оучастки № 12... Поэтому *поля*, *села*, *лета* в три поля № 1, г҃ поля № 5, 35, три села № 90, ти три села № 90, на три лѣта № 99 надо признать формами множественного числа». И далее: «к҃ поля № 35 читайте: два по́ля, при три поля́» [7].

Все же в языке XVI и особенно XVII в. в конструкции с числительными *два*, *три*, *четыре* более распространенным было употребление формы род. падежа ед. числа. Но вместе с тем окончательная нормализация употребления этой формы в сочетаниях с числительными произошла только в XVIII в.

Можно указать на многочисленные случаи подобного употребления в языке XVI—XVII вв., например *два двора*, *да четыре анбара* [8]; *2 двора крестьянских 4 двора бобыльскихъ* [9]. То же в употреблении имен среднего рода: *два места онбарныхъ* [10]; *два места дворовыхъ* [11].

Таким образом, можно признать, что в русском языке вследствие утраты дв. числа обнаружилась тенденция к выделению сочетаний с числительными в особую грамматическую категорию. Это выделение шло в двух

---

[1] Р. Ф. Брандт, О двойных формах и об ограниченном числе, «Новый сборник статей по славяноведению», сост. и изд. учениками В. И. Ламанского, СПб., 1905.

[2] Грамота 1556, СКЭ, II, стр. 437, 445.

[3] Грамота 1567, ПКР, II, стр. 444.

[4] ПКР, 1575; ГРК, стр. 36.

[5] Грамота 1574—1575; СКЭ, I, стр. 843; II, стр. 454, 458; 1612, АЮ, стр. 67; 1649, ДД, IV, стр. 163, 181; 1666, АЮБ, I, стр. 281, 412.

[6] 1604, АЮ, стр. 156, 195; 1654, ГК, I, стр. 64 и т. п.

[7] А. А. Шахматов, Исследование о Двинских грамотах XV века, стр. 126, 129.

[8] Моск. грамота 1556, СКЭ, II, стр. 438.

[9] Касимовск. писц. кн. 1628—1629, ГРК, стр. 66.

[10] Кольск. отд. кн. 1607, СКЭ, II, стр. 467.

[11] Рязанск. писц. кн. 1628—1629, ПКР, III, стр. 767.

направлениях: во-первых, по пути обобщения двух систем счета, во-вторых, по пути единообразного употребления в конструкции с числительными *два*, *три*, *четыре* формы род. падежа ед. числа от имен всех родов.

Установившиеся по аналогии для имен среднего рода отношения вызвали в свою очередь обратное влияние. Под влиянием формы *два*, *три*, *четыре гóрода* явилась форма *два*, *три*, *четыре мéста* (из *двѣ мѣстѣ* и *три*, *четыре местá*). Но так как в языке XV—XVII вв. наряду с формой род. падежа ед. числа в сочетании с числительными употреблялась и форма им.-вин. падежа мн. числа (*два*, *три*, *четыре гóроды* и *два*, *три*, *четыре местá*), то по аналогии соотношений *два*, *три*, *четыре мéста* — *два*, *три*, *четыре местá* и просто *местá* стало возможным в определенных основах мужского рода образование именительного падежа множественного числа на *-á*: *два*, *три*, *четыре гóрода* — *два*, *три*, *четыре городá* [1] и просто *городá*, как и в именах среднего рода.

Установлению подобной соотносительности между формами им. падежа мн. числа мужского и среднего рода: *городá* — *местá*, возможно, благоприятствовало то обстоятельство, что в иных основах среднего рода форма им. падежа мн. числа была соотносительна с формой мужского рода. Ср. формы им.-вин. падежа мн. числа среднего рода на *-ы*: *вёдры*, *окны*, *брёвны*, *озёры*, *пятны* и т. п., которые отражены в памятниках древнерусского языка и широко распространены как в южнорусских, так и в севернорусских диалектах [2].

Обычный синтаксический параллелизм в употреблении им. падежа мн. числа и сочетания с числительным создавал благоприятные условия для закрепления в языке новообразованной формы. Ср. «два села на Паденге. . . и те села ведаетъ игуменъ» [3]; «а есть де на Мезени реке противъ тое жъ ущельи два островка. . . а въ сотной де грамоте те островки не писаны» [4]; и особенно: «дано столовому истопнику Евсевью Иконишникову, за два киота жестяныя. . . Взято у него те киота. . .» [5].

Естественно, что образование им. падежа мн. числа на *-á* могло осуществляться только в тех основах мужского рода, которые, как и основы среднего рода, характеризовались подвижностью ударения. Это были те основы, которые некогда имели краткий или нисходяще-долгий гласный корня — преимущественно несуффиксальные двусложные образования на твердый согласный. Слова этого типа имели подвижное ударение двух видов: 1) *лýги*, *лугóв* и 2) *кругú*, *кругóв*. Сопоставление с данными современного русского языка, как литературного, так и диалектов, позволяет предположить, что слова, характеризовавшиеся безударностью окончания в им. падеже мн. числа, явились основою новообразований на *-á*.

Наоборот, слова с ударенным окончанием *-ы́*(*-и́*) оказались более устойчивыми в сохранении старой формы [6]. В этом отношении очень любопытны некоторые диалектологические сообщения. Например, В. Резанов, отмечая в обоянском говоре употребление им. падежа мн. числа на *-á*, вместе с тем замечает, что в этом же говоре некоторые слова образуют им. падеж мн. числа только на ударенное *-ы́*: *лясы́*, *дамы́* и др.[7]. Ср. также исключи-

---

[1] Ср. «два-те глазá успули. . .» (Д. К. Зеленин, Великорусские сказки Вятской губернии, Пг., 1915, стр. 65).
[2] А. А. Шахматов, Курс . . ., ч. III, стр. 539.
[3] Моск. гр. 1470, СКЭ, II, стр. 651.
[4] Моск. гр. 1615, СКЭ, II, стр. 609.
[5] 1674, ДТП, III, стр. 283.
[6] B. Unbegaun, указ. соч., стр. 216.
[7] В. Резанов, К диалектологии великорусских наречий, РФВ, т. 38, № 3—4, 1897, стр. 115.

тельное употребление в юго-западных говорах формы им. падежа мн. числа на *-ы́* в соответствии *-а́* литературного языка [1].

Наконец, надо отметить, что среди подвижноударяемых основ мужского рода оказались некоторые семантически объединенные группы слов (имена вещественные, pluralia tantum и имена одушевленные), для которых образование им. падежа мн. числа на *-а́* оказалось первоначально невозможным. В отношении имен вещественных и pluralia tantum это может объясняться тем, что данные разряды существительных с количественными числительными не сочетались. Что касается подвижноударяемых имен одушевленных (ср. *волки*, *боги*, *бесы*, *тру́сы*, *моты*, *воры*, *ду́хи*), то этот разряд имен существительных мужского рода по семантическим причинам оказался вне влияния имен среднего рода [2]. В связи с этим одиночное употребление в языке XVI—XVII вв. форм *сторожа* и *мастера* нуждается в особом объяснении. Им. падеж мн. числа *сторожа* по происхождению является старым именем собирательным женского рода, которое вследствие своего значения, как и слова *братья*, *господа* и некоторые другие, перешло в категорию мн. числа [3]. Относительно им. падежа мн. числа *мастера*, может быть, следует предположить, что это слово некогда имело собирательное значение, а поэтому оказалось в сфере влияния имен собирательных.

История сочетаний имен существительных с числительными *два*, *три*, *четыре* в украинском и белорусском языках также подтверждает справедливость предложенного объяснения: и в том и в другом языке отсутствовало взаимовлияние в сочетаниях с числительными форм мужского и среднего рода. В украинском языке при числительных *два*, *три*, *четыре* закрепилось употребление формы им. падежа мн. числа, но с древним ударением дв. числа. Таковы формы: *два бра́ти*, *два ду́би*, *два го́лоси*, *два відра́*, *два вікна́*, *дві сестри́*, *дві весни́* (ср. им. падеж мн. числа *брати́*, *дуби́*, *відра*, *вікна*, *се́стри*, *ве́сни*). В диалектах украинского языка возможно сохранение при числительных *два*, *три*, *четыре* форм дв. числа, например *два чоловіка*, *дві селі*, *дві руці*, *дві сестрі* и т. д.

Таким образом, обобщая все изложенное, полагаем, что образование им. падежа мн. числа на *-а́* от имен существительных мужского рода находилось в прямой зависимости от изменений в русском языке сочетаний с числительными. Можно думать, что до тех пор, пока в сочетаниях с числительными не установилось единообразного употребления формы род. падежа ед. числа, т. е. до тех пор, пока эти сочетания не утратили соотносительности с общим склонением имен существительных, распространение формы им. падежа мн. числа на *-а́* было ограниченным.

По мере того как конструкции с числительными превращались в синтаксически обособленную категорию «ограниченного числа», в языке постепенно утрачивалась первоначальная зависимость образования им. падежа мн. числа на *-а́* от взаимовлияния в сочетаниях с числительными форм мужского и среднего рода и создавались новые условия, расширяющие границы образования в языке формы на *-а́*. Можно полагать, что окончательная утрата прежних соотношений произошла в XVIII в. Таким образом, установленное по памятникам письменности XVI—XVII вв. незначительное употребление форм им. падежа мн. числа на *-а́* находит себе объяснение в структурных особенностях языка той эпохи.

---

[1] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, стр. 52.

[2] Ср. И. В. Ягич, указ. соч., стр. 114—115.

[3] А. И Соболевский, Лекции.., 3-е изд., стр. 216; С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, стр. 19.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

А. Н. ГВОЗДЕВ

ОБЛАДАЮТ ЛИ ПОЗИЦИИ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ?

В № 2 «Вопросов языкознания» за 1957 г. помещены «Фонологические заметки» А. А. Реформатского. В этой статье дан разбор двух фонетических явлений русского языка в целях выяснения того, «что надо относить за счет свойств фонем и что — за счет „условий" их существования в пределах того или иного фонетического положения и окружения, той или иной морфемы (корень, префикс, суффикс, флексия) и тех или иных линейно-структурных местонахождений морфем в пределах слова» (101) [1].

Первый этюд посвящен выяснению того, какими средствами осуществляется различение таких пар, как *К Ире — Кире*. Важно, что со ссылкой на статью Р. И. Аванесова констатируется: 1) произношение в первом случае с твердым [к] и [ы]: [кы́р'и], а во втором — с мягким [к'] и [и] : [к'и́р'и] и 2) четкое различение этих пар.

Приведя высказанное мною в статье «О фонологии „смешанных" фонем» [2] положение, что такое различие свидетельствует о разном фонемном составе этих пар и о признании разными фонемами по крайней мере одного из имеющихся здесь противопоставлений: 1) [к] — [к']; 2) [ы] — [и], А. А. Реформатский, не подвергая его критическому анализу, переходит к обоснованию другого взгляда. Это и понятно, так как такое решение расходится с теорией фонем как С. К. Шаумяна, так и А. А. Реформатского, считающих вариациями одной фонемы 1) [к] и [к'] и 2) [ы] и [и]. С полной категоричностью это утверждается и в данной статье А. А. Реформатского применительно к рассматриваемому случаю: «В данном случае 1) состав фонем тот же: *К Ире* [к-и́р'э] и *Кире* [к'и́р'э], так как [и] и [ы] и [к] и [к'] не разные фонемы, а лишь вариации той же фонемы» [3] (101). Но это положение является предметом дискуссии. Как известно, Л. В. Щерба и другие авторы считают [ы] и [к'] фонемами, хотя и отмечают их особое положение в системе фонем [4].

Отвергнув таким образом утверждение, что различение этих пар осуществляется разным составом фонем, А. А. Реформатский выдвигает положение, что оно связано с различием позиций: «Итак, в примерах *К Ире* и *Кире* состав фонем тот же, но позиции („условия") — разные; отсюда и разное звучание и — возможность смыслоразличения» (101—102). Такому выводу предшествует общее положение: «. . . не только фо-

---

[1] Здесь и в дальнейшем цифры в скобках указывают страницы статьи А. А. Реформатского.

[2] ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 1, стр. 51—52.

[3] Следует отметить неясность этой транскрипции: она расходится с приведенной выше фонетической транскрипцией и, по-видимому, является фонематической, но в первом случае приведено [к], а во втором [к'], так что скорее показано, что состав фонем не тот же в обоих случаях; кроме того, не объяснено, имеет ли фонетическое значение и какое именно употребленный в первом случае дефис.

[4] Кроме ранее опубликованных работ Л. В. Щербы, см. его статью «Теория русского письма» (сб. «Академик Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку», М., 1957, стр. 172—173, 177—179).

немы, но и позиции соотнесены со смыслоразличением» (разрядка наша. — *А. Г.*) (101). Этому в свою очередь предпослано такое разъяснение разницы позиций: «в случае *К Ире* фонема [к] в сильной позиции (конец слова, пусть служебного), а фонема [и] — в слабой (после твердой согласной, где [и] аккомодирует предшествующему соседу и „переходит" в [ы], а в *Кире* — наоборот: фонема [и] в сильной позиции (после мягкой согласной), а фонема [к] — в слабой (перед [и])» (101).

Какими же все-таки средствами осуществляется различение в указанных «разных позициях»? Думается, из сказанного ясно, что его осуществляет противопоставление 1) [ы] и [и] и 2) [к] и [к'], которые находятся в разных позициях. Это полностью соответствует выставленному нами в статье «О фонологии „смешанных" фонем» положению, процитированному А. А. Реформатским, что «смыслоразличительная функция звуков не обязательно связана с их положением в отдельных позициях» (подробнее об этом ниже).

Но, может быть, позиции располагают какими-либо дополнительными различительными средствами, помимо обычных акустических качеств входящих в них звуков? Такими средствами могли бы быть разные интонации, паузы, различия в слогоразделе, свойственные лишь данным позициям особенности произношения звуков и т. п. В таком случае «позиции» имели бы самостоятельное фонологическое значение. Основная разница в позициях в интересующих нас словах связана с тем, что в случае *К Ире* на [к] падает «конец слова, пусть служебного», а *Кире* представляет одно слово. И следует поставить вопрос, имеется ли в русском языке различие между соответствующими по звуковому составу языковыми элементами: сочетанием из предлога+следующего за ним слова и одним знаменательным словом. Сюда относятся такие соотношения: *К Оле* и *Коле*; *с утки* и *сутки; красе* и *к росе; с лова* и *слова; в арку* и *варку; о пушке* и *опушке*, а также: *о будке* и *об утке*. Омонимизм этих пар показывает, что граница между предлогом и словом не получает самостоятельного выражения фонетическими средствами. Поэтому и дефис в транскрипции [к-ир'э] не имеет какого-либо фонетического качества. Кроме того, говорить о предлогах как об отдельных словах, имеющих фонетическую самостоятельность, не представляется возможным, так как они по таким основным процессам, как вокализм, зависящий от отношения к ударению (*со сна — сосна*), неоглушение конечных звонких перед гласными и сонорными (*под арками — подарками*), ряд ассимиляций согласных (*от боя — отбоя*), совпадают с начальными звуками соответствующих слов. Во всех этих случаях сочетание предлога со следующим словом омонимично одному слову.

Правда, А. А. Реформатский говорит не о том, что позиции являются особым фонологическим средством, а лишь о «соотнесенности позиций со смыслоразличением». Некоторые разъяснения этой не отличающейся ясностью формулировки находим в следующем заявлении: «Дело заключается в том, что есть фонетические явления как свойства (Male, distinctive features) самих фонем, и есть то, что накладывается на фонемы от позиций, от „условий" существования фонем в морфемах и словах» (101). Но даже на рассматриваемом примере не дается разграничения тех и других свойств. Да и оправдано ли выделение в фонеме таких разнородных свойств?

Признание каких-то дополнительных «накладываемых на фонемы» качеств понадобилось потому, что различительные функции звуков в приведенном случае не находят объяснения в той теории фонем, которую отстаивает А. А. Реформатский. Вот его понимание фонемы: «Двумя

разными фонемами можно считать такие два звуковых различия, когда оба могут встретиться в языке в т о й ж е п о з и ц и и и этим будет дифференцирован смысл» (101).

Кроме рассмотренного соотношения *К Ире* и *Кире*, в русском языке имеется ряд других фактов, когда звуковые различия встречаются не в той же позиции, но выступают различителями и должны потребовать какого-то дополнения к указанному пониманию фонем. Сюда относятся соотношения: 1) *в Италию — Виталию*; 2) *кров ли — кровли; дрог ли — дрогли;* 3) *мял — мёл — мел — мол;* 4) *узда — узла — уста — вкусна (-усна);* 5) *домой — да мой*. Соотношение *в Италию — Виталию* [выта́л'иjу — в'ита́л'иjу] фонетически вполне совпадает с соотношением *К Ире — Кире;* в нем противопоставлены: 1) [в] и [в'] и 2) [ы] и [и]; естественно, оно требует и одинакового понимания, но, по всей вероятности, будет растолковано А. А. Реформатским иначе, так как [в'] перед [и] понимается им как звук сильной позиции. Но следует ли давать однородным явлениям разное толкование?

Любопытно примыкающее к этим случаям соотношение *с эти паутинки* и *сети паутинки* [се́т'и] и [с'е́т'и]. Здесь звук [е] не одинаков в обоих случаях, но можно ли допустить, что различение указанных пар держится на разновидностях этого звука, к тому же принадлежащих и по А. А. Реформатскому к одной фонеме, а противопоставление твердого [с], находящегося в сильной позиции, и мягкого [с'], находящегося в слабой позиции перед [е], само по себе различительной функцией не обладает и их нельзя считать разными фонемами.

В соотношениях *кров ли — кровли* [кро́фл'и — кро́вл'и], *трав ли — травли* [тра́фл'и — тра́вл'и], *дрог ли — дрогли* [дро́кл'и — дро́гл'и], *граб ли — грабли* [гра́пл'и — гра́бл'и] различение осуществляется противопоставлением глухого звонкому: [ф—в], [к—г], [п—б]; глухой появляется в конце слова перед частицей *ли*, а звонкий — в середине слова. Однако такое различие в позициях не является самостоятельным фонологическим средством. Энклитическая частица *ли* вполне совпадает с заударным конечным *ли*, а омонимизм совпадающих по звукам пар: *мок ли — мокли* [мо́кл'и], *сох ли — сохли* [со́хл'и], *туф ли — туфли* [ту́фл'и], *куб ли — купли* [ку́пл'и] свидетельствует об отсутствии у данной позиции особых присущих ей фонетических качеств.

Аналогично противопоставление (менее яркое) твердого и мягкого [с]: *прокис ли — прокисли* [прʌк'и́сл'и — прʌк'и́с'л'и]; *мыс ли — мысли* [мы́сл'и — мы́с'л'и], а также *повис ли — повисли* и *по Висле* [пʌв'и́сл'и] — [пʌв'и́с'л'и]. И здесь при одинаковом звуковом составе различие отсутствует: *гусь ли — гусли* [гу́с'л'и].

В соотношении *мял — мёл — мел — мол* следует рассмотреть расчлененно первые три слова с мягким [м'] и их отношение с *мол*. О различии первых трех слов хорошо сказано у Р. И. Аванесова: «В словах *мял*, *мёл*, *мел* (произносится [м'ал], [м'ол], [м'ел]) употреблены разные гласные, находящиеся в совершенно одинаковых условиях: после мягкого согласного [м'] и перед твердым согласным [л], под ударением» [1]. Таким образом, мягкое [м'] во всех этих словах создает «совершенно одинаковые условия», не осуществляя различения этих слов, очевидно, вследствие акустического тождества; в то же время в словах *мял*, *мёл* [м'] находится в сильной позиции (перед гласными [а], [о]), а в слове *мел* — в слабой позиции (перед [е]), и его мягкость не должна бы функционировать по теории вариантов и по теории слабых фонем. С другой стороны, соотно-

[1] Р. И. А в а н е с о в, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 8.

шение *мёл — мол* [м'ол] — [мол] показывает, что различение осуществляется противопоставлением мягкого [м'] и твердого [м], после чего едва ли можно сомневаться, что *мел* и *мол* различаются не только гласными [о] и [е], но и согласными [м'] и [м]. Следовательно, находящееся в слабой по твердости и мягкости позиции, но фактически мягкое [м'] противопоставляется твердому [м] сильной позиции. Вообще же звуки слабой позиции к звукам другой (сильной) позиции относятся не какими-то «накладываемыми позицией качествами», а теми своими акустическими качествами, которые и в сильной позиции играют различительную роль (твердость и мягкость).

В соотношении *узда — узла — уста — вкусна* в слове *вкусна* принимается во внимание часть *-усна́*, допускающая сопоставление с тремя первыми словами; она фонетически совпадает с сочетанием *у сна*, которое также может быть привлечено для сопоставления. Сравнение *узда — узла* показывает, что различие между ними ограничивается противопоставлением [д] — [л], а то, что звонкий [з] в первом случае перед [д] находится в слабой по глухости и звонкости позиции, а во втором случае в сильной позиции, не создает дополнительных различительных средств; так же *уста* и *-усна* различаются только противопоставлением [т] и [н], хотя [с] находится в разных позициях. Сравнение пар *узда — -усна*, *уста — узла* показывает, что различение здесь осуществляется противопоставлением двух звуков: [з] — [с] и [д] — [н] или [т] — [л], причем противопоставление [з] — [с] осуществляется теми же акустическими качествами (звонкость — глухость), которые служат различительными свойствами этих фонем в сильной позиции, хотя эти звуки находятся и в слабой и в сильной позиции.

Соотношение *домой* и *да мой* [дамо́й — дъмой], различающееся противопоставлением [а] и [ъ] (первое слово может иметь значение наречия и повелительного наклонения от *домыть*, а второе — союза *да* и местоимения или повелительного наклонения от глагола *мыть*), обусловлено тем, что союз *да* имеет во всех положениях, в том числе и в первом предударном слоге, вторую степень редукции. Предлог, как известно, в отношении редукции целиком сходен с начальными слогами слова; так, различаются [дано́са] в значении *до носа* и *доноса* и [дъно́са] в значении *да носа*. И в этом случае, когда имеет место совпадение в звуках (во втором предударном слоге), различие отсутствует: [дърага́] = *дорога́* и *да рога*, [дъп'иса́л] = *дописал* и *да писал* [1].

Рассмотренные явления показывают, что имеющиеся в них «позиции»[2] не располагают какими-либо особыми различительными средствами и не имеют самостоятельной фонологической значимости. Что касается звуков слабых позиций, то при их противопоставленности звукам сильной позиции (а также других слабых позиций) позиционно обусловленные качества звуков имеют различительную функцию наряду с необусловленными; обычно в таких случаях оказываются противопоставленными те же качества, которые выступают различителями фонем в сильной позиции (звонкость и глухость, твердость и мягкость и т. д.).

Это связано с особенностями русской фонетической системы, которая, с одной стороны, характеризуется наличием ряда действующих фонетиче-

---

[1] Подробней об этих особенностях союзов см. в моем сборнике «О фонологических средствах русского языка» (М.—Л., 1949, стр. 87—88), а также во «Введении в языкознание» А. А. Реформатского (М., 1955, стр. 185).

[2] Следует отметить, что все эти «позиции» располагаются в пределах фонетического слова (включая проклитики и энклитики). Менее ясна роль «позиций», относящихся к разным фонетическим словам.

ских законов, ограничивающих употребление звуков в определенных условиях и обусловливающих «нейтрализацию» звуков в слабых позициях, и для которой, с другой стороны, характерно, что действующие фонетические законы связаны с различными линейно-структурными элементами языка и имеют разный объем приложения; последнее обстоятельство приводит к скрещиванию позиций и противопоставлению звуков разных позиций (примеры чего рассматривались выше). Благодаря этому «нейтрализация» теряет абсолютный характер [1].

В связи с этим в учении о фонемах необходимо сделать выбор: 1) или признать различительную функцию звуков подчиненной позициям, производной и при разграничении фонем учитывать ее только в одной позиции (как это делает А. А. Реформатский); тогда к учению о фонемах потребуется «пристройка», намеки на которую делаются в «Фонологических заметках»; 2) или признать различительную функцию звуков самостоятельной и определяющей в вопросе о фонемах и учитывать ее последовательно, без ограничений пределами одной позиции. Думается, что функциональный аспект в изучении звуков в этом случае будет проведен последовательнее и все факты русской звуковой системы получат объяснение в учении о фонемах, без особых прибавлений к нему.

---

[1] Подробнее о связи фонетических законов со словом и его элементами см. в статье «О пределах действия звуковых закономерностей в русском языке» (сб. «О фонологических средствах русского языка»), а также в статье «О фонологии „смешанных" фонем» (стр. 53—55), где поставлен вопрос об отношении между различительностью и позициями.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

В. К. ЧИЧАГОВ

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОНОМАСТИКИ

Об отношении русских имен к греческим в русском языке XV—XVII вв.*

§ 1. Для различения людей в составе семьи или небольшого коллектива у восточных славян издавна служили особые слова — личные собственные имена. Это был разряд слов довольно многочисленный, а в семантическом и словообразовательном отношении — весьма многообразный. Вот как писал о них один из книжников XVI в.: «Первыхъ родовъ и временъ человѣцы... до нѣкоего времени даяху дѣтемъ своимъ имена, якоже отецъ или мати отрочати изволитъ, или отъ взора и естества дѣтища, или отъ времене, или от вещи, или отъ притчи... Такожде и Словяне прежде крещения ихъ даяху имена дѣтемъ своимъ сице: Богданъ, Баженъ, Первой, Второй, Любимъ и ина такова...» [1]

В X в., в связи с принятием из Византии христианства, получившего в Киевском государстве значение государственной религии, у восточных славян появляются новые имена, ближайшим образом греческого происхождения [2]. Отношение церкви к прежним (русским) именам, как именам личным, не могло не быть отрицательным. Косвенно мы узнаем об этом, например, из «Слова о вере христианской и латинской», приписывавшегося некогда крупному деятелю XI в. Феодосию Печерскому. Автор «Слова» обвиняет сторонников латинской веры в том, что они «імѧ же не нарицаю ст҃го. но како прозову҃ родители. к то імѧ кр҃тѧть»[3]. Обычай, состоявший в том, что имя новорожденному давали родители, был, однако, распространен и среди восточных славян, особенно до введения христианства (ср. приведенную выше цитату). Обычай этот, конечно, продолжал дей-

* Предлагаемая статья доцента Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Василия Константиновича Чичагова представляет собою часть широко задуманного труда, посвященного истории русских имен, отчеств, фамилий. Возникший еще в студенческие годы под влиянием А. М. Селищева интерес В. К. Чичагова к вопросам русской исторической ономастики не оставлял автора на протяжении всей его научной деятельности. Неожиданная болезнь и смерть, последовавшая 30 июня 1955 г., помешали осуществлению больших научных планов в этой области. Труд остался незавершенным. Первая его часть, касающаяся взаимоотношений русских и греческих имен в XV—XVII вв., в результате не прекращавшейся до последних дней жизни работы над собиранием и обработкой материала получила вполне самостоятельное значение. Однако чрезвычайно требовательный к себе автор не считал свой труд законченным. Данная статья подготовлена к печати О. Г. Гецовой уже после смерти В. К. Чичагова. — *Ред.*

[1] А. Карпов, Азбуковники, или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки, Казань, 1878, стр. 177 и 178.

[2] Среди них были, как известно, и имена негреческого происхождения в собственном значении этих слов, а, например, еврейского, латинского. Выражение «греческие имена» употребляется ниже в значении «имена христианские», т. е. пришедшие из Византии в связи с принятием христианства.

[3] Ф. Буслаев, Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков, М., 1861, стр. 518.

ствовать и во времена деятельности Феодосия, так что приведенные выше слова его относились и к тем, к кому обращено было его «Слово», т. е. к восточным славянам.

Христианство вместе с культом святых, а с ним и новые, греческие, имена вводились, как известно, церковью и господствующим классом эпохи феодализма принудительно [1]. Вполне поэтому понятно, что новые имена, к тому же темные («неудобь вѣдома») в семантическом отношении [2], а также нередко трудные и для произношения, не могли сразу же заменить прежние русские имена эпохи языческих верований, складывавшиеся в течение ряда веков на основе родного и привычного языкового материала. Таким образом, в X—XI вв. у восточных славян оказалось в употреблении два вида имен, а русский человек того времени назывался, по меньшей мере, двумя именами; ср.: «Во своихъ си пріятелѣхъ именемъ Милонѣгъ, Петръ по крещенью» (Ипатьевская летопись, под 1199 г.). Или: «зовемъ бяше Жданъ помирьску, а в крещении Микула» [3].

В связи с описанным выше положением, сложившимся в древнерусской ономастике, перед историком русского языка встает вопрос о том, какова была историческая судьба древнерусских двунаименований, или, иначе говоря, в каких отношениях находились русские и греческие имена в дальнейшей истории русского народа. Рассмотрение этих вопросов применительно к XV—XVII вв. русской истории и является задачей нашей работы.

§ 2. Об отношении русских имен к именам греческим (христианским) в древние периоды русской истории в литературе по русской исторической ономастике речь заходила не раз. Наиболее подробно об этом говорится в статье Н. М. Тупикова под названием «Исторический очерк употребления древнерусских личных собственных имен» (напечатанной в качестве предисловия к труду «Словарь древнерусских личных собственных имен» [4]). Вопрос об отношениях русских имен к греческим (христианским) ставится Н. М. Тупиковым в этой статье следующим образом: «Рассмотрим теперь,— пишет он, — вопрос о том, как русские имена относятся к христианским, можно ли их считать (для X—XVII вв. — *В. Ч.*) равноправными личными именами, или же их надо рассматривать как прозвища?» (стр. 65). В результате довольно подробного рассмотрения материала Н. М. Тупиков приходит к следующему выводу: «... русские имена до XVII в. включительно употреблялись подобно христианским в значении личных» (стр. 68). В основу этого вывода положены следующие соображения:

1. О равноправном положении русских и христианских имен до XVII в. включительно свидетельствует, по мнению Н. М. Тупикова, прежде всего «самостоятельное употребление русских имен». «Не говоря о XIV—XVI вв., но еще и в XVII в. вполне обычны случаи самостоятельного употребления русских имен в качестве личных, т. е. употребляется только русское имя (без христианского) с прибавлением отчества и фамилии или одной фамилии, а иногда и без того и другого... Например: Алмазъ Ивановъ, Баженъ Микитинъ.., Баимъ Болтинъ, Есенейковъ сынъ Баранъ, Балушъ Афанасьевичъ Маракушевъ и т. д.» (стр. 65).

---

[1] См. «Очерки истории СССР. Период феодализма», ч. I, М., 1953, стр. 108.

[2] Составитель одного из азбуковников по этому поводу говорит: «Не туне бо и не всуе святых имена толкованіем въ семъ Алфавитѣ писахом; но дабы разумни намъ, Словяномъ, были...» («Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым», т. II, кн. 5, 6, 7, 8, СПб., 1849, стр. 140).

[3] Е. Голубинский, История русской церкви, т. I (вторая половина тома), 2-е изд., М., 1904, стр. 428, примеч. 1.

[4] Н. М. Тупиков, Словарь древнерусских личных собственных имен, «Зап. Отд-ния русской и славянской археологии Имп. Русск. археол. о-ва», т. VI, СПб., 1903 (далее принимается сокращение: Туп.).

2. «Иногда при русских именах мы находим в тексте памятника прямое указание, что здесь перед нами личное, а не прозывное имя. Такие примеры известны очень рано:

В XI в.: 1)«поваръ, именемъ Торчинъ», 2) «бѣ имя ему Чернь».

1380 г. «Акатьевичъ, парицаемый Валуй». Лѣтоп. VIII, 40 (Но в Лаврент. 508 «Тимофей Волуй»).

1522. «на имя Грошъ» (З. А. II. 136).

1524. «на имя Горяинъ» (Ю. З. А. I. 65).

1558. «Андреевъ сынъ, Смирнымъ звали» (А. Фед.-Чехов. I. 170).

1591. «Пономарь Огурцомъ зовутъ» (Гр. и Дог. II. 105). (Но также «Федотъ Офонасьевъ сынъ, прозвище Огурецъ»).

1593. «на йме Стретъ» (Арх. Ю. З. Р. I. 338)...

1668. «Запорожскїй казакъ, Бобою зовутъ» (А. И. IV. 392).

1673. «Запорожский казакъ, называемый Пинчук» (Ю. З. А. XI. 339).

1673. «Отъ гетмана посланный, именемъ Колоша» (Ю. З. А. XII. 356).

1677. «Немировский казакъ, именемъ Томанъ» (Ю. З. А. XIII, 227)».

3. Об одинаковом значении русских и христианских имен свидетельствует далее, по мнению Н. М. Тупикова, «употребление русских имен наряду с христианскими в значении личных», в частности, «при наименовании лиц одной семьи, родных братьев... одни из них называются только христианским, а другие только русским именем». Например: «Хвороща и съ братомъ Иваномъ» (1388); «Ивашко Дюкинъ да его дѣти Некрасъ да Ивашко» (1495) (стр. 67).

4. «От русских имен образуются отчества как и от христианских» (стр. 68).

5. «Даже в синодиках, подаваемых за упокой, усопшие назывались, наряду с христианскими, и русскими именами, например, в Синодике Ивана IV (1582 или 1588 г.) находим имена: Смирной, Брехъ, Жданъ, Кожара, Корепанъ, Быкъ, Рудакъ, Шарапъ, Мисюръ, Сарычъ и т. д...» (там же).

§ 3. Рассмотрим эти соображения. О первом соображении. Дело в том, что имена, имевшие значение прозвищ, как и личные имена, могли употребляться самостоятельно. На стр. 71 «Очерка» Н. М. Тупиков сам пишет: «Русские имена, как п р о з в и щ а (разрядка моя. — *В. Ч.*), могли употребляться не только при христианских именах, но и самостоятельно». Напрасно только Н. М. Тупиков искусственно суживает круг русских имен-прозвищ. Под «прозвищами» он понимает только такие русские имена, перед которыми поставлено это слово. Русские имена, перед которыми это слово поставлено не было, являются, по его мнению, именами личными. Даже в таких наименованиях одного и того же лица, как, например, «Иванъ Катунинъ а прозвище Смиряй» (стр. 72) и «Смиряй Гордѣевъ с. (сын.—*В. Ч.*) Катунинъ», слово *Смиряй* считается прозвищем только в первом примере, во втором же примере оно принимается за личное имя. В наименовании «Ивашка Сергѣевъ, прозвище Муха» (стр. 71) слово *Муха*, понятно, принимается за прозвище. Но в названии того же человека *Ивашко Муха* слово *Муха* принимается уже за второе личное имя. С таким пониманием прозвищ согласиться, конечно, нельзя, так как оно предполагает существование прозвищ только на бумаге, а не в живом употреблении. В самом деле, ведь если какой-либо человек носил имя *Иван*, а кроме того, имел еще произвище *Смиряй*, то разве не естественно ожидать, что в одних случаях его могли назвать *Иваном*, а в других — *Смиряем*.

И разве при наименовании указанного лица *Смиряем* это прозвище станет личным именем, а имя *Иван* утратит данное значение? Не произойдет, конечно, ни того, ни другого.

Взгляды Н. М. Тупикова находятся в противоречии и с данными памятников письменности. Имеются прямые указания на то, что прозвищами, например в XVI в., считались и такие русские имена, перед которыми на письме этого слова и не стояло. Такие древнерусские наименования, как *Алмаз Иванов*, *Бажен Микитин* и под., могут свидетельствовать лишь о том, что в письменном языке XV—XVI вв. русские люди могли называться не только христианскими именами, но и русскими. Но являются ли эти имена личными именами или прозвищами, на этот вопрос такие наименования не отвечают.

§ 4. Не представляется убедительным и второе соображение Н. М. Тупикова. Во всяком случае достоверных подтверждений в приводимых им примерах это соображение не получает. Ни в одном из них нет указания на то, что представленное здесь русское имя является личным. В наибольшей степени на это могли бы указывать примеры, в которых перед русскими именами поставлено слово *имя*: «бѣ имя ему Чернь», «на имя Грошъ» и под. Остановимся на данных примерах. Следует обратить внимание прежде всего на то, что примеры эти — неодинакового значения: одни из них относятся к раннему периоду русской истории (XI в.), другие же — к сравнительно позднему (XVI—XVII вв.). В отношении первых весьма возможно, что слово *имя* в них употреблено и в значении «личное имя», так как представления о русских именах, как об именах личных, в XI—XII вв. были еще живыми, особенно среди трудового народа. Но весьма возможно, что слово *имя* употреблено здесь и в широком значении — «название вообще», так как в среде господствующего класса в эту эпоху различия между русскими и христианскими именами сознавались. На это указывают такие наименования, встречающиеся в памятниках письменности, как, например: «въ крьщении Иосифъ, а мирьскы Остромиръ» (1056); «Князь Феодоръ, а мирьскы Мьстиславъ» (1125). Иногда указывалось на «русское» или «княжее» имя: «нареченный въ крещении Василий, Русьскымъ именемъ Владимиръ» (1096); или: «Родися у Ярослава сынъ Михаилъ, а княже имя Изяславъ» (1190) (см. другие примеры у Тупикова, стр. 62). Выделялись русские имена и при помощи других слов: *прирокъ*, *прозвание*: «Ефросѣнья и прозваниемъ Изморагд» (1198) (стр. 85), «Микифоръ прирокомъ Станило» (1223) (стр. 62).

В примерах второй группы, взятых из памятников южной и западной письменности и относящихся к XVI—XVII вв., слово *имя* употребляется, безусловно, не в значении «личное имя», а в значении «имя, именование вообще». На это указывают такие случаи употребления слова *имя* в «Старинных описях Литовской метрики» (XVI в.) [1]. «Жалоба чоловека гдръского Болъковыского сторожа Рꙋницького, на мѧ Ѳедора Кꙋнъцевича Дѧгина» (стр. 12), где форма *на имя* относится не к одному личному имени, а ко всему наименованию в целом. Слово *имя* может относиться и сразу к двум или нескольким наименованиям: «на мѧ на Павла Тꙋрика, Ивана Контокъского а на Павла Лоцина» (стр. 14); «...Намесниковъ Лꙋцъкихъ имена кнѧ Борысъ Басиѥвичь Гꙋвъкинъ..., а дрꙋгі намесникъ Иванъ Петровичъ...» (стр. 37). Форма *на имя* могла находиться и не перед личным именем, а перед другими формами наименований: «на людѣ дѣвꙋхъ [ꙋ Пинскомъ повете, на мѧ Боландичовъ...» (стр. 106). В том же значении слово *имя* употреблялось в топонимических названиях; ср.:

[1] См. «Летопись занятий Археографической комиссии. 1888—1894 годы», вып. XI, СПб., 1903.

«. . . въ ѡзере, на' мы ѹ Вирове. . .», «. . . село въ Киевскомъ повете, на' мѧ Соколовичи. . .» (стр. 33 и 106).

И в московской письменности слово *имя* могло употребляться в значении более широком, нежели «личное имя». Ср.: «а выручили, господине, человѣка моего два сына боярских, а имянъ ихъ не упомню» (1534) (Акты, изд. Калачовым, стр. 186 [1]); «и ты бъ тѣхъ людей имена и рѣчи велѣлъ написати въ обыскные книги» (1625) (там же, стр. 160); «и ты бъ тѣхъ людей имена и рѣчи велѣлъ написать на списокъ» (1649) (там же, стр. 271); «а кто имяны и сколько человѣкъ. . . и тыбъ о томъ отписалъ и имянъ ихъ роспись прислалъ» (1666) (там же, стр. 282). В документах московской письменности слово *имя* употреблялось и в значении «личное имя» (см. об этом ниже).

Что касается примеров, в которых русским именам предшествуют слова *нарицаемый, звали, зовут, называемый*, то не представляется ясным, почему эти слова являются «прямым указанием» на личное имя. С этим утверждением не согласуется прежде всего материал, приводимый самим Н. М. Тупиковым. Например, в наименовании «Акатьевичъ, нарицаемый Валуй» слово *Валуй* могло и не быть личным именем, так как бесспорным личным именем этого человека было *Тимофей*, как показывает именование, приведенное далее: «Тимофей Волуй». В другом примере «пономарь, Огурцомъ зовутъ» слово *Огурец* — прозвище, об этом прямо сказано в полном наименовании того же человека: «Ѳедотъ Офонасьевъ сынъ, прозвище Огурецъ» (1591). Следовательно, слово *зовут* употребляли и при прозвищах. Имеются и другие данные, свидетельствующие об этом. Например, в Житии Стефана Пермского говорится: «Знаем҆ ѿ мы тѣхъ, им же и прозвища ти кидаꙗоу, Ѿнюду же нѣцїи. . . и храп҆ тѧ звꙗоу» (Срезневский, Материалы, т. II, стр. 1529).

Слово *звать* сочеталось со словом *прозвище* и в топонимике. Ср.: «. . . какъ тотъ лугъ зовутъ прозвищемъ? И Якушъ сказалъ: прозвища, государь, тому лугу нѣтъ. . .» (Акты, изд. Калачовым, стр. 231).

Таким образом, слово *звать* отнюдь не указывает на то, что находящееся при нем наименование человека обязательно является личным именем. Небезынтересно, что была потребность различать личные имена от прозвищ и при помощи глаголов. Ср.: «Есть де на Углече на посаде жонка, живет за гостиным двором, а как ее *зовут*, того не ведает, а *словет* Белянка» (курсив мой. — *В. Ч.*).

§ 5. Не представляется убедительным и третье соображение. Оно, как было указано выше, состоит в том, что члены одной семьи, например родные братья, могли называться по-разному: или только христианским, или только русским именем. Дело в том, что в наименованиях подобного рода русские имена также могли иметь значение не личных имен, а прозвищ. Такие наименования, как «Хвороща и с братом Иваном», могли представлять собою прозвище и идущее за ним личное имя. Весьма возможно, что подобные наименования возникали в связи с тем, что члены одной семьи носили одинаковые христианские имена. Такие случаи, как известно, бывали нередко. Например, в Казанских писцовых книгах упоминается о трех братьях, называвшихся Иванами. В одной из Родословных книг (начало XVII в.) читаем: «Князь Костянтинъ Юрьевичь Ѳоминской;

---

[1] «Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изданы Археогр. комиссией, под ред. Н. Калачова», т. I, СПб., 1857, стр. 186 (принимается обозначение: Акты, изд. Калачовым).

а у него три сына, и вси Ѳедоры, а прозвища имъ были: большому Красной, а среднему Слѣпой, а третьему Меншой» [1].

Что касается четвертого (беглого) указания Н. М. Тупикова на то, «что от русских имен образуются отчества, как и от христианских» (стр. 68), то это указание могло бы свидетельствовать о том, что «русские имена до XVII в. включительно употреблялись подобно христианским в значении личных» только в том случае, если бы среди так называемых отчеств не существовало разных видов, а между тем отчества, как это будет показано в другой работе, были разные.

Пятое соображение Н. М. Тупикова также не может свидетельствовать о том, что русские имена до XVII в. включительно имели значение личных имен. В качестве примера автор приводит данные из синодика Ивана Грозного. Между тем нельзя не учитывать те исторические факты, с которыми была связана запись усопших в этот синодик. Эта запись была произведена по приказу царя, который сам личных христианских имен усопших мог и не знать. Вот какое примечательное вступление предпосылается этой записи усопших в Нижегородском синодике XVI в.: «Сих опалных людей поминати по грамотѣ царевѣ, и понахиды по нихъ пѣти. а которые в семъ сенаники. не имены писаны прозвищи или в которомъ мѣсте писано 10 или 20 или 50, ино бы тѣх поминали Ты Господи самъ вѣси имена ихъ» [2].

Из этой приписки, относящейся к XVI в., ясно видно, что те русские имена, которые встречаются в синодике Ивана Грозного и которые, по мнению Н. М. Тупикова, являются личными именами, для современников этой записи были «не имены», а «прозвищи».

Мы рассмотрели все соображения Н. М. Тупикова. Оказалось, что ни одно из этих соображений не является состоятельным. А вместе с тем оказывается также, что вопрос об отношениях между русскими и христианскими именами в XV—XVII вв. русской истории продолжает оставаться открытым.

§ 6. В памятниках письменности содержатся данные, на основании которых можно было бы ответить на вопрос, в каких отношениях находились русские и греческие (христианские) имена в русском языке XV—XVII вв. Одни из них очень хорошо были известны и Н. М. Тупикову, другие этим исследователем учтены не были. Рассмотрим те и другие.

Для правильного ответа на поставленный выше вопрос необходимо принять во внимание прежде всего обстоятельство, которое хорошо было известно и Н. М. Тупикову: «начиная с XV в., мы встречаем ряд примеров, где русское имя, употребленное при христианском, прямо называется прозвищем, т. е. грамотеи не хотят признавать эти слова именами.

1436. Князь Литовскій Иванъ, а прозвище ему Баба. . .

1507. Отрохимъ Семеновичъ, прозвище Курвель. . .

1552. Иванецъ с Луцка, Кошель прозваніемъ. . .» (Туп., стр. 68).

В труде Н. М. Тупикова приводится далее, в тексте и в сноске, более ста таких примеров. В памятниках письменности они, действительно, встречаются нередко. Вот еще несколько таких примеров: «Филка, прозвище Утка» (1544) (Записн. кн., стр. 37) [3]; «Иван, прозвищо Первой,

---

[1] «Временник Имп. Моск. о-ва истории и древностей российских», кн. 10, М., 1851, стр. 106 («Материалы»).

[2] «Материалы по истории Нижегородского края. Синодик нижегородского Печерского монастыря 1552 года», под ред. Н. И. Левитского, в кн. «Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Сборник», т. XV, вып. I, Н.-Новгород, 1913, стр. 27 второй пагин.

[3] «Записная книга крепостным актам XV—XVI вв., явленным в Новгороде дьяку Д. Алябьеву», СПб., изд. Археогр. комиссии, 1898 (далее принимается сокращение: Записн. кн.).

Ондрѣевъ сынъ» (1595) (Новг. каб. кн., стр. 20) [1]; «Алексѣй, прозвище Будила, Семеновъ сынъ» (там же, стр. 20); «Марко, а прозвище Осмина, Овдукимовъ сынъ» (1595) (там же, стр. 56); «съ Самсонкомъ, прозвище съ Первушкой» (1595) (там же, стр. 64); «Степанко, прозвище Первушка, Степановъ сынъ» (1594) (там же, стр. 73); «Герасимко, прозвище Горяша» (1595) [ср. его же полное наименование: «на Герасимка Яковлева сына, прозвище на Горяшу» (там же, стр. 4—5)]; «на его Иванка, прозвище на Козла»; ср. полное наименование: «Иванъ Еремѣевъ сынъ, прозвище Козелъ» (1595) (там же, стр 12—13); «Иванко, прозвище Жданко» (1595) (там же, стр. 24); ср. его полное наименование: «на Иванка||Кирилова сына, прозвище на Жданка» (стр. 23); «Калинка, прозвеще Него||дяйко»; ср. полное его наименование: «Калина Сергѣевъ сынъ, прозвище Негодяй» (1595) (там же, стр. 102—103).

Наименования женщин: «дочь Оксѣньица, прозвище Кругла» (1533) (Записн. кн., стр. 169); «на Митюну дочь Оксиньицу, прозвище Нежданy» (1575) (там же, стр. 24); «дѣвку полонянку Марьицу, прозвище Бѣлка» (1576) (там же, стр. 176); «на его жену Огаѳьицу, прозвище Малку» (1578) (там же, стр. 166); «да Ульянина, прозвище Галка, Михайлова дочь» (1588) (там же, стр. 180); «Кабала на Василиску, прозвище Лобаху, Данилову дочь Новикова» (1596) (там же, стр. 211); «да Олешина же дочь Иринка, прозвище Гостина» (XVI в.) (там же, стр. 190); «Анка, прозвище Гуля» (XVI в.) (там же, стр. 210); «на Степанидке||прозвище Докуко, Іванкове дочери» (XVI в.) (там же, стр. 211); «жена его Устиньица, прозвищеДолгуша» (XVI в.) (там же, стр. 200); «А Маврица де дана, прозвище Досатка, зятю их» (XVI в.) (там же, стр. 201); «Парасковьица, прозвище Любка» (XVI в.) (там же, стр. 194); «а жена де ево Крестинка, прозвище Нелюбка» (XVI в.) (там же, стр. 189); «Женатъ на Овдотьицы, прозвище на Смиренки» (XVI в.) (там же, стр. 201); «А Оришка де,||прозвище Собинка, Селиванова дочь» (XVI в.) (там же, стр. 3); «Намолѳицу, прозвище Чернуху» (XVI в.) (там же, стр. 194).

Количество примеров подобного рода для XVI—XVII вв. может быть легко увеличено, однако полагаем, что и приведенного материала вполне достаточно, для того чтобы убедиться в нередкости употребления слова *прозвище* перед русскими именами.

§ 7. В памятниках письменности представлены (правда, гораздо реже) и такие наименования, в которых греческое и русское имя расположены в ином порядке, а именно: русское имя находится в начале наименования, а греческое имя следует за ним. В таких случаях перед русским именем не ставится слово *прозвище*, а перед греческим именем, как правило, употребляется слово *имя*. Например: «Латышъ Матца, а по крещенью имя Левка» (1591) (Записн. кн., стр. 143); «а выдана де она замуж за старинново человѣка за Малыша, а имя ему Волотка» (XVI в.) (там же, стр. 62); «Да Улиткинъ сынъ Кайбалъ от нихъ збежалъ, а имя ему Гришка» (XVI в.) (там же, стр. 197); «а женат Ооонка на Овдотьи на Жирове дочери, имя Онкудинъ» (XVI в.) (там же, стр. 212); «Был де над домом ево такой грех — в дому ево насыльной враг. Наслала ево баба, Дмитровского посаду Борисоглебские слободы крестьянка, Крючкова жена, а как тому Крюку имя и жене ево того не ведает» (1649 г.) (Яковлев, стр. 229) [2]; «Бакашъ Івановъ сынъ, а имяни е[го] не спомнятъ, что онъ с отцомъ збе-

---

[1] «Новгородские записные кабальные книги 100—104 и 111 годов», М.—Л., 1938 (далее принимается сокращение: Новг. каб. кн.).

[2] А. Яковлев, Холопство и холопы в Московском государстве XVII в., М.—Л., 1943 (далее принимается обозначение: Яковлев).

жалъ малъ» (Записн. кн., стр. 136); «Богданъ, а имя ему Богъ вѣсть» (1642) (Туп., стр. 71).

Приведенный в шестом и седьмом параграфах материал ясно указывает, что в XVI—XVII вв. в русском языке различалось два вида имен: имена в собственном смысле, т. е. личные имена, и имена-прозвища. Различение имен и прозвищ нашло свое отражение, между прочим, в особых формулах наименований, употреблявшихся в официальной письменности, например: «велѣли переписати дворы и во дворехъ крестьянъ, по имяномъ, съ прозвищи» (1610) (Самоквасов, стр. 121) [1]; или: «кто съ нимъ на той татбѣ и на иных воровствах имяны и прозвищи товарыщи были» (1647) (Акты, изд. Калачовым, стр. 268); «и салдатъ отпускныхъ и бѣглыхъ, старых и даточныхъ. . . велѣлъ переписать имяны, съ отцы и съ прозвищи» (1668) (там же, стр. 287); «. . . переписывали крестьянские и бобылские дворы, і во дворѣхъ людей по имяномъ с отцы и съ прозвищи (1678) (Переписн. кн. по Нижн.-Новг., стр. 356) [2].

§ 8. Случаи употребления слова *прозвище* перед русскими именами очень хорошо были известны и Н. М. Тупикову. Под влиянием этих фактов он внес существенную поправку в свое первое заключение об отношении русских имен к христианским в XV—XVII вв. Рассмотрев вопрос об «употреблении русских имен в значении прозвищ», Н. М. Тупиков пишет следующее: «русские имена до XVII в. включительно имели одно значение личных имен, как и христианские. Часто они употреблялись вместе с христианскими. Иногда имели значение прозвищ, но какие имена и когда переходили в прозвище, решить невозможно. Мы склонны думать, что признание русского имени равноправным с христианским или же имеющим значение только прозвища зависело от воли отдельных лиц, носивших это имя или писавших документ, куда заносился владелец имени» (стр. 73). Но правильно ли, что русские имена имели значение прозвищ только «иногда»? Полагаем, что это неправильно. Неправильно потому, что слово *прозвище* перед русскими именами употреблялось, как мы уже видели, вовсе не «иногда», а довольно часто. Во-вторых, памятники письменности, например Нижегородский синодик, показывают, что отсутствие слова *прозвище* перед русскими именами не может служить доказательством того, что соответствующие имена были личными именами. Наконец, в-третьих, — и это самое главное — Н. М. Тупиков не обратил внимания на то, что в именованиях, состоящих из греческого и русского имени, отношения между указанными именами определялись не столько при помощи постановки перед русским именем слова *прозвище*, сколько расположением имен в составе наименования. Это расположение подчинялось определенному правилу, а именно: греческое имя стоит всегда на первом месте, а русское имя или следует за ним или стоит после отчества (в конце наименования).

При описании наименований, в которых перед русскими именами стоит слово *прозвище*, мы уже обратили внимание на указанный порядок расположения имен. Но эта закономерность наблюдается и в именованиях, в которых перед русскими именами слова *прозвище* не употреблено. Примеры подобного рода представлены в огромном количестве не только в памятниках письменности XVI—XVII вв., но и в памятниках письменности XV в. Ниже мы ограничимся приведением лишь некоторых примеров из памятников XV и XVI вв.

---

[1] «Московский архив министерства юстиции. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства. Упр. архивом Д. Я. Самоквасов», т. II, М., 1909 (далее принимается обозначение: Самоквасов).

[2] «Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду», в кн. «Русская историческая библиотека», т. XVII, СПб., изд. Археогр. комиссии, 1898.

XV в е к. Из «Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси», т. I [1]: «Кли[м] Молотило» (1392—1427) (стр. 32); «Иван Сватко» (1392—1427) (стр. 32); «Федор Беклемиш» (1410—1427) (стр. 36); «Яковъ Копыто» (1410—1427) (стр. 37); «Дмитрока Щека», и в вин. падеже (1410—1427) (стр. 37); «Иван Репех» (1410—1427) (стр. 38); «Иван Арбуз» (1410—1427) (стр. 40); «у Олександра у Еры у Дмитриевича» (1417—1425) (стр. 43); «Лунь (Лукьян? — примеч. издателя) Рык» (1417—1425) (стр. 44). «Илья Молоко» (1425—1440) (стр. 53); «Елизар Косяк, Солонинин сын» (1428—1432) (стр. 58); «Феодосей Горкой, Окиш Лодыга» (1428—1432) (стр. 58); «у Дмитрея у Мичюры» (1428—1432) (стр. 59); «Василей Пазуха» (1420—1430) (стр. 63); «Власий Сусед», «Гриша Сушко» (1430—1445) (стр. 65); «Андронник Кривои» (1432—1445) (стр. 69); «Мокей Черъмной» (1432—1445) (стр. 73); «Семенько Мазгора» (1432—1445) (стр. 73); «Кузьма Комар», «Ондрейко Глаз» (1433) (стр. 86); «Григорей Гнезник», «с Яковом с Киселем» (1435—1440) (стр. 94); «Ефрѣмъ Горбатои» (1435—1440) (стр. 95); «Офонас Подрез» (1435—1440) (стр. 97); «Иван Губа» (1435—1440) (стр. 97); «Иван Сухона, да Иван Полежай» (1435—1440) (стр. 98); «Лука Табай Бородин» (ок. 1430) (стр. 108); «Федор Заец» (ок. 1430) (стр. 109); «у Ивана у Пенты» (ок. 1430) (стр. 109); «Левко Племянник» (1430—1440) (стр. 110); «Иванко Плохой» (1430—1440) (стр. 113); «Ивана Затыку» (1430—1440) (стр. 116); «Ивашко Сова Кожин» (1461—1464) (Акты феодальн. землевлад., стр. 208[2]); «Андрей Некрас Семенов сын» (1464—1473) (там же, стр. 57); «Михайло Колзак» (1473) (там же, стр. 253); «Яков Клобук» (1473—1489) (там же, стр. 234); «Тимоха Дурняга» (1499) (там же, стр. 138); «Игнат Прасол» (1409) (там же, стр. 141) и много др.

XVI в е к. Из «Книги ключей и денежных оброков» (1547—1561 гг.[3]): «Ивану Безлепе» (стр. 60), «Грише Безстужему» (стр. 54, 64, 71), «Мите Безстужему» (стр. 56), «Иван Белоглаз» (стр. 24), «Осифу Берсеню» (стр. 34, 39), «Васюку Бородке» (стр. 54), «Васка Бык» (стр. 24), «Иваньку (Иванку) Быку» (стр. 64, 71, 79), «Федару Вихляю» (стр. 23), «Семен Галах» (стр. 18, 25, 31, 36), «Терех Гармон» (стр. 17), «Косте Голышю Калинину сыну» (стр. 13), «Истомьке Грезе Кузьмину сыну» (стр. 14), «Лазарь (Лазорь) Горбатой» (стр. 13, 18, 25), «Григорью (Грише) Горбатому» (стр. 22, 79), «Титу Горбатому» (стр. 54), «Грише Горбуну» (стр. 61), «За Гришкою за Горбуном» (стр. 66), «Ивану Дьяку» (стр. 65), «Исааку Диаку» (стр. 52), «Степану Дьеку» (стр. 22), «За Осифом, за Досужим» (стр. 55), «Проня Желна» (стр. 53), «Васка Жеребя» (стр. 53), «Корнилку Жучку (Жючку)» (стр. 38, 44), «Грише Зубатому» (стр. 16, 41, 66), «Иван Звяга» (стр. 48, 52, 57), «Иванку Заглодышу» (стр. 13, 19, 25), «Семену Карушс» (стр. 31, 78), «Гришка Косик Тимофеев сын» (стр. 63), «Сеньке Кривому» (стр. 32, 38, 50, 68), «Фильке Кривому» (стр. 27, 45), «Илейке Кудрявому» (стр. 33), «Фоме Куваке Омельянову сыну» (стр. 60), «Иваньку (Иванку) Коряке» (стр. 19, 25 и др.), «Федор Курышка» (стр. 53, 57 и др.), «Митя Килеша» (стр. 53), «Кузьме Каменому» (стр. 79), «Фомке Кувалс» (стр. 64), «Паньке Лодышке (Лодыжке)» (стр. 34, 39), «Митя Ленко» (стр. 24, 39 и др.), «Михайлу Лепешке» (стр. 57), «Михалю Малому» (стр. 15), «Гаврилу Медведю» (стр. 14 и др.), «Истоме Мижюю» (стр. 15, 21 и др.), «Иванку Мурзе» (стр. 49), «старец Марка Малай (стр. 76), «Ивану Мяккому Нефедову сыну» (стр. 48), «Гаврила Пета» (стр. 20), «Федько

[1] «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV— начала XVI вв.», т. I, М., 1952.

[2] «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI веков», ч. I, М., 1951 (далее принимается обозначение: Акты феодальн. землевлад.).

[3] См. «Книга ключей и долговая книга Йосифо-Волоколамского монастыря XVI века», М.—Л., 1948 (далее принимается обозначение: Книга ключей).

Репа» (стр. 70), «Афоньке Свинке (Офоньке Свиньке») (стр. 19, 35 и др.), «Сенько Щоголь» (стр. 13), «Иванку Щербаку Ширяеву сыну» (стр. 75) и много других.

Таким же образом обстояло дело и с наименованиями женщин. Ср.: «на его жену Анницу Кокору» (1580) (Записн. кн., стр. 16); «да на его жену Анницу Нѣмку» (1581) (там же, стр. 47); «да его жену Огаѣьицу Чернаву» (1541) (там же, стр. 21).

Случаи нарушения фиксируемой приведенными примерами структуры наименования встречаются редко. В указанных выше документах XV в. нам встретился только один случай употребления греческого имени после русского: «Загреба Тараско» (1498) (Акты феодальн. землевлад., стр. 111). Но и этот случай представляет собою явную описку, так как в других местах того же документа это лицо называется: «Тараско Загреба», «Тараску Загребе» (там же), «с Тараском Загребою» (стр. 108). В памятнике, из которого приведены примеры XVI в. — в «Книге ключей и денежных оброков» — мы отметили два таких случая: «Черной Иван» (стр. 13) и «Ореху Семену» (стр. 50). Но первое из этих лиц в других местах называется всегда «Иван Чорнай», (стр. 19), «Иван Чернай» (стр. 25), «Ивану Чернаму» (стр. 17). Второе лицо двумя именами названо в памятнике всего один раз — его наименование также может представлять собою описку. Отметим, что и в других памятниках такое расположение имен встречается как исключение. Например, в Казанских писцовых книгах XV и XVI вв., при обычном расположении русских имен после христианских, встретилось нам только три случая, когда русское имя находится в начале наименования перед именем греческим. Случаи эти следующие: «дв. Кадыша Иванка новокрещена» (стр. 27); «2 двора Треньки Исака» (стр. 31); «в. Мочало Гриша» (стр. 38). Первый из этих случаев объясняется просто: в начале названо татарское имя *новокрещена*, два других случая — описки писца. В одной из повестей XVII в. — «Повести о начале царствующего града Москвы» — встречаются наименования: «болярин Кучко Стефан Иванович», «болярина Кучка Стефана Ивановича»[1]. Эти наименования возникли в результате перестановки прозвища, подобно тому как в современном языке мы употребляем наименования Смирнов Иван Иванович, при обычном — Иван Иванович Смирнов.

Итак, наименования людей, состоявшие из греческих и русских имен, в XV—XVII вв. имели определенную, и при этом устойчивую, структуру: греческие имена занимали в них всегда первое место, а русские — второе или третье. Такое распределение имен было обусловлено их значением в языке и в составе наименования.

Расположение греческих имен на первом месте, а также то, что перед ними ставилось слово *имя*, если оно оказывалось на втором месте, свидетельствует о том, что греческие имена в XV—XVII вв. имели значение личных имен, т. е. имен, признанных официально и обязательных для всех русских людей того времени. Расположение русских имен после греческих, как и то, что перед ними нередко ставилось слово *прозвище*, свидетельствует о том, что в указанное время они не имели значения личных имен, а имели значение имен-прозвищ, т. е. имен второстепенных (бытовых), в употреблении не обязательных. Слово *прозвище* ставилось перед ними не всегда потому, что в нем не было необходимости: взаимные отношения между именами достаточно точно определялись их расположением в составе наименования. Поэтому в объяснении нуждается не тот факт, что слово *прозвище* ставилось перед русскими именами не всегда, а то, почему оно, и при этом нередко, все-таки ставилось. Описанные отношения между

[1] «Русская повесть XVII века», М., 1954, стр. 74.

личными именами и прозвищами продолжали сохраняться и после XVII в.; они продолжают сохраняться и в диалектной речи нашего времени; ср., например: «Ванька Голос» «Ванька Чевря», «Васенка Шевеленок», «Васька Купало», «Ваня Челночек», «Анка Грязнуха», «Мишка Рыжий», «Даша Чебача», «Еленка Каланча», «Анка Голосиха», «Катя Меледа», «Саня Белая»[1] и мн. др.

§ 9. В связи со сделанными выводами возникает вопрос о том, имеют ли они силу и для других видов наименований, т. е. имеют ли они значение общих выводов. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть соответствующий материал.

В памятниках письменности встречаются, хотя и не часто, наименования, в которых на первом и на втором месте стоят русские имена; перед вторым из них может быть поставлено слово *прозвище*. Ряд таких примеров имеется в труде Н. М. Тупикова (стр. 74 и 75): «Упирь Лихый» (1047); «Добрыня Долгой» (1177); «Корманъ Постникъ» (1343); «Язык Мошна» (1427); «Мурза Черной» (1524); «Булгакъ Григорьевичъ Ромозанъ» (1525); «Тонкой Скоморохъ» (1539); «Злобка Софоновъ с. Чермной» (1530); «Дубинка Строчекъ» (1557); «Субота Осетр» (1572); «Первой Мефедья, сынъ Ершъ» (1585); «Нечай Рябъ» (1598); «Пятой Моромец» (1607); «Дружинко Тумакъ» (1601); «Шумило Швецъ» (1609); «Баженъ Кулакъ» (1613); «Второй Семеновъ сынъ, а прозвищемъ Холопъ» (1613); «Неупокой Карга» (1614); «Треня Усъ» (1614); «Второй Кубанецъ» (1625); «Треня Нецвѣтай», «Первуша Черепанъ», «Треня Казымъ» (1629); «Тропка Малой» (1629); «Вторко Теленокъ» (1649); «Томилко Слѣпой» (1652); «Мурат Чурикъ» (1678); «Туманъ Болдырь» (1684); «Вотагъ, прозвищемъ Зима» (1684).

Вот еще несколько дополнительных примеров из памятников XVI в.: из «Записной книги»: «Правилко прозвищо Палица» (стр. 21), «Третьякъ прозвище Козелъ» (стр. 190); из «Книги Ключей»: «Быку Зубатому» (стр. 77), «Горемыке Старому» (стр. 78), «Дягилю Молодому» (стр. 48), «Истома Бусла» (стр. 19), «Истомке Морозу» (стр. 13), «Истоме Мижюю» (стр. 15); «Истоме Нешаре» (стр. 76), «Колуге Малому» (стр. 14), «Негодяю Черьмному» (стр. 68), «Новику Безлепу» (стр. 64), «Третьячко Шило» (стр. 63, 69), «Третьяку Малому» (стр. 79), «Шемет Безногой» (стр. 53), «Шестой Щека» (стр. 70).

Не являются ли первые русские имена во всех этих примерах личными именами? Полагаем, что нет. Полагаем на том основании, что все эти первые русские имена в положении после греческих имен могли употребляться в значении прозвищ. Ср., например, приведенное выше наименование: «Тонкой Скоморох» и наименование «Карпик, прозвище Тонкой, Ѳедосѣевъ сынъ» (XVI в.) (Записн. кн., 58); или: «Первуша Черепан» и «Остащко, прозвище Первушка, Сенкинъ сынъ» (XVI в.) (там же, 57), «на Самсонка, прозвище на Первушку» (Новг. кабальн. кн., ч. I, стр. 63); «Истомка Мороз» и «Онисим, а прозвище Истома, Негодяевъ сын» (1603) (Новг. каб. кн., ч. II, стр. 96); «Третьячко Шило» и «Терентей Ондриев сын, прозвеще Третьяк» (там же, стр. 28); «Дружинко Тумакъ» и «Овдоким Васильев сынъ, а прозвище Дружинка» (там же, стр. 344); «Томилко Слѣпой» и «Спирко Иванов сын, прозвище Томилка» (там же, стр. 321); «Поликарпъ, прозвище Томилко» (Записн. кн., стр. 30); «Баженъ Кулакъ» и «Се язъ, Сила, прозвище Бажѣнъ, Овдокимовъ сынъ Трескинъ» (1619) (Акты, изд. Калачовым, стр. 455); «Вторко Теленокъ» и «на Дмѣтрейка Ондрѣева сына, прозвище Вторку» (XVI в.) (Записн. кн., стр. 153); «Мурза Черной»

[1] С. А. Копорский, О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда Ярославской губернии, «Труды Ярославского педагогического института», т. II, вып. 3, 1929, стр. 175 и 176.

и «Савка, прозвище Мурза» (1560) (там же, стр. 61); «Быку Зубатому» и «на Степанка Семенова сына, прозвище Быка» (там же, стр. 47), и т. д.

Кроме того, приходится иметь в виду, что носители приведенных выше наименований, состоящих из двух русских имен, имели еще и греческие имена. В труде Н. М. Тупикова, например, находим: «Василій Копылъ Спячей» (1515) (стр. 74); «Дмитрій Чубаръ Зварыка» (1476) (там же); «Иванъ Свѣтило Рыжко» (1600) (там же). Точно так же упомянутый выше *Третьячко Шило* носил имя *Вафка*, вероятно, уменьшительное от *Вавило* (см. на стр. 74 указанного источника: «Вафке Шилу, порука Гуляй ис Покровского»). Упомянутый выше *Бык Зубатой* назывался *Иваном*, а *Дягиль Молодой* — *Федором* или *Федосом*. И другие носители рассматриваемых наименований имели греческие имена, так как невозможно допустить, чтобы в XVI—XVII вв. кто-нибудь из русских не получил греческого имени при крещении. Эти имена, полученные русскими людьми при крещении, только и могли быть их личными именами.

Таким образом, первые имена в таких наименованиях, как *Третьячко Шило*, могли быть только прозвищами по отношению к христианским греческим именам соответствующих лиц. Вторые русские имена этих наименований были вторыми прозвищами этих лиц (по отношению к предшествующим им русским именам). Функция этих вторых прозвищ в именованиях, состоявших из двух русских имен, была такой же, как и функция прозвищ при христианских именах: в именовании «Иван. . . прозвище Ждан» (Новг. кабальн. кн., ч. I, стр. 146) слово *Ждан* выделяло именуемое лицо из числа *Ива́нов*. Точно так же в наименовании *Третьячко Шило* прозвище *Шило* выделяло именуемое лицо из числа *Третьяков*. В наименованиях, состоявших из двух русских имен, первые часто бывают отвлеченного значения, например: *Первой*, *Второй*, *Третей* и под. или же они представляют собой наиболее употребительные русские имена вроде *Ждан*, *Бажен*, *Томило*, *Истома*, *Злоба* и под. Наоборот, вторые имена имели обычно конкретное значение (ср.: *Треня Ус*, *Вторко Теленок*, *Бажен Кулак* и др.) и служили, следовательно, дополнительным средством для выделения именуемого из состава коллектива или лиц с одинаковыми русскими именами.

Итак, наличие в памятниках письменности XV—XVII вв. именований, состоявших из двух русских имен, не свидетельствует о том, что в указанное время русские имена могли быть личными именами.

§ 10. В памятниках письменности XV—XVII вв. встречаются, далее, такие наименования, в которых слово *прозвище* стоит перед греческим именем. Среди наименований этого рода целесообразно различить по крайней мере три группы фактов [1].

1. Слово *прозвище* (или *прозвание*) стоит перед таким греческим именем, которое является видоизменением предшествующего имени: «Иван Григорьевичъ Раслъ, прозвище Иватя» (XV в.); «Александръ, по прозванію Саня» (XIV в.); «Матѳей Матюша» (1610); «Егорей, прозвище Юрьи, Ивановъ сынъ Токмаковъ» (1626) (Туп., стр. 76). Вот еще несколько таких примеров: «дѣвку Ульянку, а прозвище еѣ Ульяша Микитина дочь» (1578) (Записн. кн., стр. 94); «А Ульянка. . . в холопстве прижила Парас-

[1] Сомнительные образования оставляем в стороне. К числу упомянутых относим, например: *Сонютка* («женат на Полашки, прозвищо Сонютке», 1579, Записн. кн., стр. 101), которое может восходить и к *Софья*, и к *Сон*; ср. *Сонуля*. Неясно происхождение прозвища *Федорка*, представленного в следующем контексте: «Зовут ее Федоркою, а молитвенное имя — Манька Федорова» (1652) (Яковлев, стр. 195). Может быть, оно образовано в связи с отчеством? Требуют специального изучения такие наименования, как, например: «женку Латышку, ѳеклицею зовуть, а по крещенью имя Овдотья» (1597) (Записн. кн., стр. 64), где речь идет о женщинах нерусского происхождения.

ковьицу, прозвище Паню» (1578) (там же); «Кабала на Якимка Микитина сына, прозвище Якуша» (1597) (там же, стр. 60); «Домница, прозвищо Домашка» (XVI в.) (там же, стр. 108); «на Михаила на Варламова сына, а прозвище Мишка Третьяковъ сынъ, Стенина» (1594) (Новг. каб. кн., ч. I, стр. 163); «на Михалку на Иванова сына, а прозвище Мишка» (там же, ч. II, стр. 151); «Фетко Семенов сын, а прозвище Федюдя» (там же, стр. 246).

2. Слово *прозвище* стоит перед такими греческими именами, которые имеют лишь некоторое фонетическое сходство с предшествующими им греческими именами (начинаются с одинаковых слогов, имеют общие характерные звуки). Например: «Кабала на Павелка да на Савку, прозвище на Санка, ‖ Григорьевыхъ детей» (1583) (Записн. кн., стр. 181); «Кабала на Микитку Ѳедорова сына, прозвищо Мишка» (1595) (там же, стр. 111); «Сенка Михайлов сын, прозвище Самулка» (1595) (Новг. каб. кн., ч. I, стр. 75); «Кабала на Ѳеонку, прозвищо на Ѳоку» (1585) (Записн. кн., стр. 124); «Кабала на Елеуферья, зовется Ѳедором, Кондратьева сына» (1597) (там же, стр. 37); «Се яз Фефил Федотьев сын, прозвище Офим» (там же, ч. II, стр. 331); «на Микитку на Васильева сына, а прозвищо Митька» (там же, стр. 155) и т. п.

3. Слово *прозвище* стоит перед такими греческими именами, которые по отношению к предшествующим именам являются другими именами: «Иванъ Ивановъ сынъ, прозвище Пентелѣйко. . .» (1595) (Новг. каб. кн., ч. I, стр. 91); «на его детей на дву Івашковъ, прозвище одному Івашку Костя» (1596) (Записн. кн., стр. 158); «Кабала на Дѣйка, прозвищо Гришу, Іванова сына Ѳедорова» (1596) (там же, стр. 26); «Івашко, прозвище Васка» (1597) (там же, стр. 31); «Еуфимко, прозвище Мишка» (1629) (там же, стр. 174); «Маркушка Захарьев сын калашник, прозвище Тишка» (1646) (Казанск. писцов. кн., стр. 78); «Фочка, прозвище Сенка» (1646) (там же, стр. 72); «человека Сеньку Родионова, прозвище Микитку» (1646) (Яковлев, стр. 189); «женка Улька, прозвище Любка» (1652) (там же, стр. 191); «Полага Григорьева дочь прозвище Маня (от Марья? — *В. Ч.*) Муромка» (1595) (Новг. каб. кн., ч. I, стр. 133); «жена ево Ануска Якимова дочь, прозвище Пашка» (XVI в.) (Записн. кн., стр. 173); «его жену на Маврицю, а прозвище Чернава» (Новг. каб. кн., ч. I, стр. 143) и т. п. Несколько таких примеров имеется также в труде Н. М. Тупикова (см. стр. 76).

Для наших рассуждений может иметь значение лишь третья группа приведенных фактов, где слово *прозвище* стоит перед таким греческим именем, которое с предшествующим ему греческим именем не связано [Первые две группы примеров представляют собою либо бытовые формы впереди стоящих, основных, имен (первая группа), либо — возможно — своеобразные модификации этих основных имен (вторая группа)]. Наименования третьей группы могут быть истолкованы как противоречащие предложенному выше пониманию отношений между греческими и русскими именами в русском языке XV—XVII вв. В самом деле, выше было предложено считать греческие имена для XV—XVII вв. личными именами, а между тем имеются достоверные данные, указывающие на то, что они могли быть и прозвищами. Противоречие это, однако, только кажущееся. Дело в том, что греческие имена в значении прозвищ встречаются лишь после имен греческих же. В нашем распоряжении нет ни одного примера, где греческое имя выступило бы с характеристикой *прозвище* после русского имени. Таким образом, и эти данные не указывают на то, что русские имена в XV—XVII вв. могли иметь значение личных имен.

Вопрос о том, как возникали прозвища из христианских имен, требует специального изучения. В отдельных случаях, как показывает приведенный материал, они возникали вследствие необходимости различить двух

членов семьи, получивших при крещении одинаковые имена («на его детей на дву Ивашков, прозвище одному Ивашку Костя»). В некоторых случаях, вероятно, имела значение звуковая близость двух христианских имен, трудность произношения основного имени (ср.: *Микитка* и *Мишка*, *Офонька* и *Фока*, *Елеуферей* и *Федор*). Все эти обстоятельства более или менее случайные. По мнению Е. Голубинского, «в период домонгольский русские имели обычай носить по три имени — по два христианских и по одному народному»[1]. Однако ни в письменности древней, ни в письменности XV—XVII вв. такие наименования не употреблялись. Мы не располагаем данными, которые свидетельствовали бы о том, что приведенные нами примеры наименований двумя христианскими именами являлись продолжением «обычая» домонгольского периода. Процесс изменения прежних русских имен в прозвища мог распространиться в какой-то, конечно, незначительной, степени и на некоторые христианские имена. Продолжением этого процесса в более позднее время является появление нарицательных имен типа *Фофан*, *Селифан* и ряд других. Таким образом, употребление слова *прозвище* перед христианскими именами отнюдь не стоит в противоречии с предлагаемым объяснением написаний этого слова перед русскими именами. Написание слова *прозвище* перед христианскими именами встречается лишь как исключение.

§ 11. В памятниках письменности XV—XVII вв. часто встречаются наименования, состоящие из одного греческого или одного русского имени:

1) из «Книги ключей и денежных оброков»: «порука по нем Володя», «порука по нем брат его Ермола», «Нестерику да Сеньке подчашником», «Митьке Лужникову пол 13 алтын», «Митьке Михалеву сыну 12 алтын» и др. (стр. 13);

2) «Бабке дал истобнику» (стр. 15), «порука Белоглаз» (стр. 14), «Берсеню» (стр. 17, 21, 28), «Бурку дал полтину» (стр. 14), «Как было за Верещагою» (стр. 16), «Горемыке. . . с выти по 2 алтына» (стр. 16), «Дичьку» (стр. 15, 20, 26), «Дрожще» (стр. 13, 31), «Другане» (стр. 17), «Дураку», (стр. 15), «Зашинаю» (стр. 17, 35), «Истоме седельнику» (стр. 17, 25, 35), «Истоме Кузнецову» (стр. 17, 23, 25), «порука по нем Козел» (стр. 37), «Клоку» (стр. 27), «Козлу Ермолину» (стр. 19, 26), «Истобником Соколу да Грезе» (стр. 32), «Кочюру» (стр. 15, 27) и т. д. и т. п.

Значение греческих имен в первой из указанных групп примеров не может вызывать сомнений: это личные имена. Примеры второй группы, как уже было выяснено, представляют собою наименования по прозвищу.

Подведем итоги наших небольших разысканий. Рассмотрение различных случаев употребления русских и греческих имен в памятниках XV—XVII вв. приводит к заключению, что те выводы об отношениях русских имен к греческим, которые были сделаны выше (в § 8) применительно к наименованиям, состоящим из русских и греческих имен, в действительности имеют общее значение: они относятся ко всем видам наименований, употреблявшимся в указанное время. Следовательно, все русские имена (за исключением, разумеется, тех, которые попали в святцы) имели в XV—XVII вв. значение прозвищ, а все греческие имена (за исключением тех случаев, когда они шли после греческих же имен) имели значение личных имен.

§ 12. В памятниках письменности XV—XVII вв. представлены и данные, которые свидетельствуют, что к указанному времени русские имена не только изменились в прозвища, но уже и развивались как прозвища. Это нашло свое отражение в том, что русские имена в составе наименования

---

[1] Е. Голубинский, указ. соч., стр. 428.

могли находиться не только на втором месте, т. е. следовать непосредственно после имен греческих, но и на третьем месте — после отчества или в конце наименования. Приведем несколько примеров таких наименований из Новгородских кабальных книг XVI в. (ч. I): «Писана служивая кабала. . . на Онтонка на Игнатьева сына, а прозвище Жданко» (1593) (стр. 150); «Илья Титовъ сынъ, прозвище Косикъ» (1593) (стр. 190); «на Олександра на Ѳедорова сына, а прозвище Крикъ» (1593) (стр. 153); «Гаврило Ивановъ сынъ, прозвище Попокъ» (1593) (стр. 189); «Сергей Никитинъ сынъ, прозвище Скорко» (1593) (стр. 187); «на Дениска на Васильева сына, а прозвище Трешка» (1593) (стр. 155); «Павелъ Дмитріевъ сынъ, прозвище Урюпа» (1593) (стр. 185); «на Ондрюшку на Игнатьева сына, а прозвище Ерзикъ» (1594) (стр. 164); «Карпъ Ивановъ сынъ, прозвище Беляй» (1595) (стр. 181); «Ѳеѳилатъ Ѳедоровъ сынъ, прозвище Дружинка» (1595) (стр. 180); «Иванъ Кириловъ сынъ, прозвище Жданъ» (1595) (стр. 146); «Лаврентейко Потаѳьевъ сынъ, прозвище Жданко» (1595) (стр. 119); «Максимко Оѳонасьевъ сынъ, прозвище Завьялко» (1595) (стр. 130); «Мина Микифоровъ сынъ, прозвище Казаринъ» (1595) (стр. 16); «Омоско Ѳедоровъ сынъ Нечаевъ, а прозвище Межага» (1595) (стр. 62); «Иванъ Михайловъ сынъ Лудянинъ, прозвище Первой» (1595) (стр. 93); «Ѳедка Микиѳоровъ сынъ, прозвище Первушка» (1595) (стр. 74); «Ивашко Яковлевъ сынъ прозвище Поспѣлко» (1595) (стр. 137); «Ѳирсъ Ермолинъ сынъ, прозвище Русакъ» (1595) (стр. 120); «Гаврилка Михайлова сына, прозвище Томилка» (1595) (стр. 29); «Иванъ Ѳедоровъ сынъ, прозвище Хмылъ» (1595) (стр. 85) и т. п.

По этому образцу могли строиться и женские наименования: «Даная на женку Овдотьицу Семенову дочь, прозвище Неперу, да на дѣвку Домницу Яковлеву дочь, прозвище Собину» (1575) (Записн. кн., стр. 24—25); «съ Овдотьицею съ Матеѳѣевою дочерью, а прозвище з Голубою» (1595) (Новг. каб. кн., ч. I, стр. 144); «Марьица Онисимова дочь, прозвище Бѣлка» (XVI в.) (Записн. кн., стр. 193); «с Оленкою с Костянтиновою дочерью, а прозвище Руська» (Новг. каб. кн., ч. II, стр. 64); «Улита Иванова дочь, а прозвище Паршина» (там же, стр. 131); «Марина Олексеева [дочь], вдова, [Ник]ифоравская жена, а прозвище Завлещана» (там же, стр. 141); «Се яз Варвара Ярофиева дочь, а прозвище Тетеря» (там же, стр. 225) и т. п.

Употребление слова *прозвище* было не обязательно и в этого вида наименованиях. Вот несколько таких примеров:

XV в е к. Из «Актов феодального землевладения»: «Григорей Яковль сын Измайлова Ярец» (1456) (стр. 107); «Григорей Микулич Соболь» (1461—1464) (стр. 208); «у Ивана у Федоровича у Судока» (ранее 1473) (стр. 253); «Иван Терентьев Рагоза» (1473—1489) (стр. 83).

XVI в е к: Из «Книги ключей»: «Васюку Овчинницину Голику» (1547) (стр. 13); «Гришьке Михалеву сыну Омене» (1547) (стр. 13); «Проньке Олферову сыну Жельне» (1548) (стр. 19); «Исае Клишину сыну, Сулою» (1548) (стр. 21); «Иванку Омельянову Трегубу» (1550) (стр. 32); «Сеньке Микифорову сыну Жваке» (1551) (стр. 37); «Гаврилу Карпову сыну Медведю» (1553) (стр. 48); «Ивану Ортемову сыну Голахе» (1556) (стр. 58); «Грише Кузьмину сыну Горбуну» (1556) (стр. 58); «Ивану Емельянову сыну Губе» (1556) (стр. 57); «Василью Никитину сыну Жеребяте» (1556) (стр. 57); «Ивашку Горохову Капле» (1556) (стр. 68); «Семену Савельеву сыну Кривому» (1556) (стр. 58); «Ивану Карпову сыну Крохе» (1556) (стр. 57); «Стефану Назарову сыну Собине» (1556) (стр. 58); «Данило ж Гридин ‖ сын Чешко» (1556) (стр. 58); «Ивашку Горогову Сопле» (1556) (стр. 63) и мн. другие. В памятниках письменности XVI—XVII вв. такие наименования могут быть найдены в неограниченном количестве.

Итак, прозвище могло находиться в наименовании не только на втором, но и на третьем месте. Какого рода тенденции в развитии прозвищ отражаются в этих фактах словорасположения? Выше было уже указано, что основному значению прозвищ — значению второстепенного и необязательного личного имени — соответствовало расположение прозвищ в наименовании на втором месте, т. е. после личных имен. Новые возможности для развития значения прозвищ заключались в расположении прозвищ на третьем месте или в конце наименования. В указанном положении прозвища могли утрачивать значение второстепенных личных имен и приближаться по своему значению к родовым прозваниям, за которыми это место в наименовании в конце концов и было закреплено обычаем. Вот пример изменения прозвища в указанном направлении. В XVII в. в г. Темникове служил пушкарем некто «Дмитрейко Созонов сын Большая Борода» или «Дмитрей Большая Борода» (Яковлев, стр. 513, 515). В середине XVII в. на его месте служил его сын «Данилко Дмитров сын Большой Бороды» (там же, стр. 513). В документах он именуется и иначе: «Данилко Дмитреев сын Большая Борода» (там же, стр. 515, 517 и др.). В этих наименованиях слова *Большой бороды* и *Большая борода* уже не имеют значения личного прозвища: в первом случае, как на то указывает форма род. падежа, прозвище имело значение своеобразного прозвищного отчества, во втором случае значение слов *Большая Борода* приближалось к родовому прозванию. Однако это еще не родовое прозвание, так как оно представляет собой повторение прозвища отца в неизмененной форме и всего навсего лишь во втором поколении. Сын Данилы —внук Дмитрия Большой Бороды — именовал себя в указанное же время «Гришка Данилов Большой Бороды» (там же, стр. 514). Слова *Большой Бороды* в этом наименовании (третье поколение) еще более приближаются по значению к родовому прозванию и, однако, тоже им еще не являются, так как могут представлять собою своеобразное прозвищное отчество отца, вместе с именем которого, в форме притяжательного прилагательного, они входили в наименование внука, Григория. Непосредственное изменение прозвищ в родовые прозвания в Московском государстве XVI—XVII вв. — явление очень редкое, и притом оно было ограничено определенными случаями. Образование родовых прозваний происходило на иной основе, но вопрос об этом стоит за пределами темы настоящей работы и касаться его здесь мы не будем.

§ 13. В заключение еще о двух выводах Н. М. Тупикова, приведенных нами выше, но оставшихся не рассмотренными. Указав, что «русские имена иногда переходили в прозвища», Н. М. Тупиков пишет: «какие имена и когда переходили в прозвище, решить невозможно». Данные, приведенные выше, позволяют предложить более определенные ответы на эти вопросы.

Какие имена переходили в прозвище? Первоначально, после принятия христианства, в прозвища переходили русские имена, и не по отдельности, как думает Н. М. Тупиков, а все, какие были в употреблении. Процесс изменения русских имен в прозвища мог позднее распространиться и на некоторые греческие имена (см. § 10).

Когда происходили изменения русских имен в прозвища? Исходным моментом этих изменений было введение христианства и греческих имен. В XV в. русские имена употреблялись уже как прозвища. Но весьма возможно, что данный процесс закончился и раньше. Выяснить это можно будет лишь при помощи специального исследования употребления греческих и русских имен с X по XIV в. включительно. Такого исследования пока не произведено. Не следует, однако, представлять себе дело так, что вопрос об изменении русских имен в прозвища может быть сведен к вопросу о какой-либо дате. Хотя русские имена изменялись в прозвища все-

и изменения эти начались с одного времени, однако процесс этот протекал в различных слоях русского общества не одновременно. В среде господствующего класса эпохи феодализма он протекал быстрее, нежели в среде масс трудового народа. По данным Н. М. Тупикова, уже с конца XIII в. «исчезает обычай именовать князей двумя именами» (стр. 63). С указанного времени князья именуются только греческими именами. В Тысячной книге времени Ивана Грозного (1555 г.) бояре именуются только греческими именами. Однако еще и в XVII в. у царя Алексея Михайловича был боярин Богдан Матвеевич Хитрово, настоящее имя которого — Иов — стало известно лишь после его смерти.

Что касается заключительной части выводов Н. М. Тупикова, в которой говорится, что «признание русского имени равноправным с христианским или же имеющим значение только прозвища зависело от воли отдельных лиц, носивших это имя или писавших документ, куда заносился владелец имени», — то она основана на неправильном истолковании таких наименований одного и того же лица, как, например: «Иван Катунин а прозвище Смиряй» и «Смиряй Гордеев сын Катунин». Выше было выяснено, что наименование того или иного лица по одному прозвищу вовсе не делало это прозвище личным именем. Личным именем вышеупомянутого Ивана Катунина не переставало быть имя *Иван* и тогда, когда его называли просто *Смиряем*. В воле именуемого было назвать себя только греческим или только русским именем, точно так же, как в воле писца было (до известной степени) назвать на бумаге то или иное лицо греческим или русским именем, однако и тот и другой были бессильны сделать то или иное русское или греческое имя личным именем или прозвищем. Личное имя и прозвище существовали не только на бумаге. Они представляли собой факты лингвистические, а кроме того, и культурно-исторические. Принятие греческих имен в качестве личных и изменение русских имен в прозвища были обусловлены закономерностями русского исторического процесса, а не волею отдельных лиц.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

К ВОПРОСУ О ПРАСЛАВЯНСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Общее значение дательного падежа, выделяющее его среди других падежных форм, обычно определяют как значение объекта, к которому направляется действие. В конце праславянского периода это значение, по всей вероятности, уже вполне выработалось и дательный падеж занимал в падежной системе примерно то же место, которое занимает в современных славянских языках. Незначительные следы сходства в употреблении дательного и местного падежей, сохранившиеся в славянских языках исторической поры (вытеснение дательного падежа с предлогом *po* в ряде языков местным падежом; чередование местного и дательного падежей в качестве дополнений к глаголам с приставкой *pri* в некоторых славянских языках старшего периода), позволяют, впрочем, предполагать недостаточную дифференциацию этих падежей на раннем этапе славянской языковой общности. Сложнее определить круг частных значений, которые выражались в конце праславянского периода формой дательного падежа, а также удельный вес его синтаксических функций (дополнение, обстоятельство, определение).

Значения дательного падежа (в отличие от творительного и местного) тесно связаны со значением господствующего слова и определяются им. В связи с этим выделяется, например, дательный падеж адресата предоставления, управляемый глаголами со значением предоставления, вручения, пересылки и т. п. Дательный падеж, функционирующий в качестве обстоятельства (места, цели), менее тесно связан с управляющим словом; в соответствии с этим большую роль играет лексическое значение слова, принимающего форму дательного падежа. Исследуя систему значений дательного падежа в историческом плане, нужно иметь в виду возможность исторического изменения круга управляемой и управляющей лексики, характеризующегося расширением или сужением употребительности падежной формы в том или ином значении.

Значение дательного падежа связано также с рядом признаков грамматического характера. Известную роль играют переходность, непереходность, безличность управляющего глагола. Для присубстантивного дательного падежа важна синтаксическая функция слова, от которого зависит управляемая форма: дательный падеж, зависящий от именной части сказуемого, выражает иное значение (так наз. дательный падеж отношения), чем дательный, находящийся в зависимости от подлежащего или дополнения (так наз. дат. падеж принадлежности или притяжательный).

Исследование системы значений дательного падежа в историческом плане может производиться лишь при условии учета синонимических отношений, постоянно имеющих место в падежно-предложном синтаксисе. Синонимические отношения между отдельными средствами падежного синтаксиса с течением времени меняются; в соприкосновение приходят новые формы; иногда значения разных по происхождению синтаксических средств настолько сближаются, что одно из них становится излишним в системе языка и может быть вытеснено. Такому вытеснению подвергся, например, дательный падеж направления или места (на вопрос «куда?») в древнерусском языке.

*

Праславянскими значениями можно считать в первую очередь те значения дательного падежа, которые засвидетельствованы памятниками письменности и современными славянскими языками и для которых нет особых оснований предполагать параллельное развитие в разных славянских языках уже после распада славянской языковой общности. Возможно отнесение к праславянскому периоду также тех значений, которые неизвестны современным языкам, но были представлены в древности хотя бы в виде пережитков. Ниже мы попытаемся предположительно определить праславянскую принадлежность некоторых значений дательного падежа.

Без особенного колебания к праславянской эпохе могут быть отнесены наиболее обычные в течение всей письменной истории славянских языков значения дательного падежа в синтаксической функции дополнения: дательный адресата предоставления и дательный адресата сообщения (при verba dicendi и др.). Специализация одной общей формы для выражения этих двух значений произошла, по-видимому, еще в дославянский период (закрепление этих значений за одной формой наблюдается и в неиндоевропейских языках, в частности в финских). В качестве близких по значению синтаксических средств для позднего праславянского периода

можно предположить сочетание дательного падежа с предлогом *къ*. В старой славянской письменности нередко встречаются случаи употребления предложного сочетания при глаголах предоставления и, в особенности, при глаголах речи. Так, в др.-р. языке: *рече к провнутеру своему* (Б. и Г., 11 [1]); ст.-чешск. *bude mluviti k lidu* (Hus, 1, 170 [2]); серб. *рече најстарији к оцу* (Дан., 370 [3]). Основное значение дательного падежа с предлогом *к* — пространственное; но возможно сближение пространственного и объектного значений, чем объясняется и известное безразличие в использовании дательного предоставления и сообщения, с одной стороны, и предложного сочетания, с другой, характерное для старых письменных славянских языков; возможно, что такое безразличие в большей степени имело место в дописьменный период.

К праславянской эпохе могут быть отнесены и некоторые иные виды дательного падежа в синтаксической функции дополнения, встречающиеся в современных славянских языках и засвидетельствованные также другими индоевропейскими языками. Так, в праславянский период употреблялись дательный вреда и пользы (типа др.-р. *лаяти кому* или *лагодити кому*) и дательный объекта психического движения (типа др.-р. *търпѣти кому* или ст.-сл. *хотѣти чему*) [4]. Возможно, что круг глаголов, управлявших этими видами дательного падежа, в праславянский период был несколько шире, чем в историческую эпоху. Во всяком случае, в период письменных памятников многие глаголы этих групп в отдельных славянских языках постепенно теряют управление дательным падежом, меняя его на управление родительным, винительным или предложным сочетаниями; иногда эта потеря носит общеславянский характер, как, например, изменение управления глагола *chotěti* (полная потеря, как в русском языке, или частичная, как в чешском).

Дательный падеж при глаголе *byti* в его вещественных значениях «иметься, принадлежать», «случаться, приключаться» в праславянскую эпоху также находил более широкое применение. Следует полагать, что он являлся вполне обычным средством обозначения лица, которому нечто принадлежит; в славянских языках письменного периода этот вид дательного падежа представлен пережиточно, главным образом в памятниках церковнославянского характера; ср.: *семоу власѧна рива бъ* (Гр. Б., 90—ꙗ [5]); ст.-чешск. *jemu místo lože měkkého jesli jsú hrubé* (Zikm., 99 [6]). Вытеснение дательного падежа в значении владеющего лица началось еще в дописьменную эпоху и происходило главным образом за счет родительного падежа с предлогом *u* и номинативных конструкций с глаголом *имѣть* (последнее особенно в западнославянских языках). Для праславянского периода в качестве подвида дательного падежа при глаголе *byti* можно рассматривать и случаи дательного падежа при именах, обозначающих состояние (русск. *мне жаль*).

Дополнительная функция формы дательного падежа в праславянском языке не была его единственной функцией. Дательный падеж выражал, вероятно, и определительные оттенки значения (по крайней мере, в случаях типа *он мне брат* — так называемый присубстантивный дательный падеж отношения, зависящий от именной части сказуемого, известен всем славянским языкам).

В отличие от современных славянских языков, дательный падеж без предлога широко использовался в функции обстоятельства. Элементы местного значения дательного падежа (на вопрос «куда?») отмечены в ряде славянских языков, главным образом старшего периода. Особенно часто дательный падеж обстоятельства места встречается в памятниках древнерусского языка; в XII—XIII вв. в древнерусском языке он был основным средством выражения рассматриваемого значения в сфере имен существительных собственных — названий городов; ср. др.-р. *пришедъ Вышегороду* (Б. и Г., 15 об.). В других славянских языках наблюдается использование дательного падежа в значении места и от имен существительных нарицательных. В старочешском и старопольском языках дательный направления вообще встречается редко; ср. ст.-чешск. *aby dvoru královu pěš i jezden přišel* (Geb., 370 [7]). В старославянском языке

---

[1] Сказание и страсть и похвала святою мученику Бориса и Глеба (в составе памятника: Сборник XII века Московского Успенского собора), — «Чтения в Императорском О-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те», 1899, кн. 2.

[2] «Mistra Jana Husi Sebrané spisy české», díl I—III, Praha, 1865.

[3] Ђ. Даничић, Србска синтакса, део I, Београд, 1858.

[4] Подробную характеристику употребления дательного падежа в древнерусском и старославянском языках см. в нашей статье «Дательный приглагольный в старославянском и древнерусском языках», «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», т. XIII, М., 1956.

[5] XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи Императорской Публичной библиотеки XI в., — «Критико-палеографический труд А. Будиловича», СПб., 1875.

[6] V. Zikmund, Skladba jazyka českého, Litomyšl a Praha, 1863.

[7] J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, díl IV — Skladba, Praha, 1929.

этот тип дательного падежа не зафиксирован. Очень широко он был представлен в сербском народном языке, причем образовывался от широкого круга существительных. Ср. из примеров Даничича: *својој кући не доходе* (321), *онда чоек отиде Соломунову двору* (321), *нека дође граду Вучитрну* (322), *она иде свому винограду* (322). В праславянский период беспредложный дательный падеж являлся одним из обычных средств обозначения места, хотя наряду с ним уже употреблялись предложные сочетания (дательный с *къ*, винительный с *въ*). Возможно, что в конце праславянского периода в местном значении еще употреблялся и беспредложный винительный падеж (в славянской письменности почти не встречается); в таком случае в соответствии с объектными значениями этих падежных форм дательный падеж применялся в первую очередь для обозначения пункта, к которому направляется или приближается движение, винительный же обозначал пункт, которого движение достигает. Что касается лексики, принимавшей форму дательного падежа в значении места, то она была, по всей вероятности, весьма разнообразной; нет оснований предполагать, что в праславянском языке она ограничивалась (как в древнерусском) кругом имен собственных — названий населенных пунктов. Вытеснение беспредложного дательного падежа направления происходило в дальнейшем за счет упомянутых предложных сочетаний, к которым в западнославянских языках присоединилось еще сочетание родительного падежа с предлогом *do*. В этом процессе известную роль сыграло формирование литературных языков; в народных говорах и в устной поэзии беспредложный дательный направления сохранялся долго (сербский фольклор; пережиточные случаи в русских говорах).

В праславянский период применялся также дательный падеж с обстоятельственно-объектным значением направления к лицу. Он представлен во всех старых письменных славянских языках, ср. ст.-сл. *се цр҃ь твои идеть тебѣ кротькъ* (Савв., 84 [1]), ст.-чешск. *vem přišel mistr Ypokras* (Mast., 17 [2]). Пережитки такого вида дательного падежа до сих пор имеют место в говорах: русск. *уехал там бабе* (Сел., 192 [3]), диалектн. словацк. *a ja budem mojej milej chodit* (Štolc, 442 [4]), серб. *она оде својој јетрвици* (Дан., 323). Вытеснение этого типа беспредложного дательного падежа связано с общим процессом дифференциации объектных и обстоятельственных значений формы дательного падежа в славянских языках: беспредложная форма утрачивает обстоятельственные значения.

К праславянскому периоду может быть отнесен и дательный падеж с обстоятельственным значением цели действия. В период письменных памятников он представлен известным количеством случаев лишь в старославянском и древнерусском языках, ср. др.-р. *сташа ночлѣгу* (Лавр., 1097 г.[5]). Однако во многих славянских языках сохраняется пережиток целевого дательного падежа в виде наречия *četi*. Использование в целевом значении дательного падежа с предлогом *къ*, широко распространенное в современных славянских языках, отчасти и в старой письменности [ст.-чешск *aby jim knihy své dali ku pálení* (Hus, III, 284)], вероятно, не восходит к периоду славянской языковой общности. Об этом говорит между прочим относительная конкретность целевого значения предлога *къ* в древнерусском языке: вплоть до XVI в. это предложное сочетание выражает цель лишь при глаголах пространственного передвижения [*поидоша к боеви*) (Лавр., 1096 г.)].

Уже в праславянский период обстоятельственная функция дательного беспредложного падежа не являлась его господствующей функцией: рассмотренные значения места и цели выражались в значительной мере предложными сочетаниями, и дательный падеж был лишь одним из вспомогательных средств выражения соответствующих значений, являясь в то же время основным средством выражения некоторых объектных значений (дательный адресата предоставления и адресата сообщения).

Сочетания дательного падежа с предлогами *къ* и *po* в праславянский период выражали скорее всего конкретные пространственные значения. Отвлеченные же значения этих предложных сочетаний — целевое значение дательного падежа с предлогом *къ*, причинное значение и значение основания дательного падежа с предлогом *po* и др. — развились уже в период самостоятельного существования отдельных славянских языков, в некоторых случаях — после появления письменности.

А. Б. Правдин

---

[1] «Саввина книга». Труд В. Щепкина» («Памятники старославянского языка», т. 1, вып. 2), СПб., 1903.

[2] Mastičkár, Staročeské drama, Praha, 1950.

[3] А. М. Селищев, Критические заметки по истории русского языка, «Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та», т. V, Кафедра русского языка, вып. 1, М., 1941.

[4] J. Štolc, Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku, Bratislava, 1949.

[5] «Полное собрание русских летописей», 2-е изд., т. I — Лаврентьевская летопись: вып. 1 — Л., 1926; вып. 2 — Л., 1927.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

ПРОБЛЕМА СИНОНИМА

1. Понятие синонима является одним из наименее разработанных понятий современной семантики. Изучение явления синонимии тормозится не только из-за отсутствия единых взглядов по ключевым вопросам данной проблемы, но и вследствие того, что некоторые ученые скептически оценивают возможность и целесообразность такого изучения.

Видный современный семантик С. Ульман, изучавший проблему синонимии в течение многих лет, в 1953 г. пришел к выводу, что всякое исследование синонимов, которое не ограничивается вопросами их происхождения и распределения в словаре, не может быть сколько-нибудь точным и является поэтому импрессионистическим [1]. Действительно, точных приемов исследования синонимов не существует, но задача заключается не в том, чтобы на этом основании отказаться от их изучения, а в том, чтобы создать необходимую методику.

С другой стороны, проф. А. И. Смирницкий полагает, что лексикология не должна заниматься проблемой синонимов, так как «совокупность синонимов не образует реальной группы, частной лексической системы в составе общей системы лексики данного языка»[2]. С этим аргументом А. И. Смирницкого нельзя согласиться [3]. Хотя «совокупность синонимов» как таковая и не образует всеобъемлющей системы, каждый синонимический ряд, охватывая определенную группу слов, выступает в качестве реально существующей в языке системы, все члены которой объединены лингвистической связью.

Объективный характер этой связи проявляется в ряде семантических процессов, к которым прежде всего относятся диахронические процессы синонимической конкуренции и дифференциации синонимов. В результате синонимической конкуренции один из синонимов исчезает из языка. Так, др.-англ. *niman* «брать» (ср. совр. нем. *nehmen*) был вытеснен скандинавским заимствованием *tacan* (совр. *take*). Дифференциация синонимов приводит к размежеванию значений. Значение др.-англ. *gāst* «дух», «душа» перешло к латинскому заимствованию *spirit*, и в современном английском языке *ghost* употребляется главным образом в значении «привидение». Ярче всего, однако, системный характер синонимической группировки проявляется в диахроническом процессе «синонимической аналогии», в результате которой все члены данного ряда приобретают новое значение, первоначально возникающее только у одного из входящих в него слов и под его влиянием распространяющееся на всю группу. В качестве примера синонимической аналогии обычно приводит пример Г. Стерна: все синонимы слова *swiftly* (*rapidly*, *quickly* и т. д.), имевшие значение «быстро» до 1300 г., приобрели значение «немедленно»[4]. После Г. Стерна были изучены и более убедительные случаи синонимической аналогии. Так, древнеанглийские глаголы *wendan*, *hweorfan*, *hwierfan* в ранний древнеанглийский период значили «поворачивать». Затем у глагола *wendan* развилось значение «передвигаться» (ср. совр. англ. *go-went-gone*), которое распространилось на глаголы *hweorfan*, *hwierfan*, позднее выпавшие из языка [5]. Тот факт, что синонимическая аналогия охватывает все или большинство членов данного ряда, доказывает, что ассоциация слов на основе общности их значений реально существует в языке.

---

[1] S. Ullmann, Descriptive semantics and linguistic typology, «Word», vol. 9, № 3, New York, 1953, стр. 232—233.

[2] А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 202.

[3] Отметим, что с этой точки зрения рассмотрение полисемии и омонимии в «Лексикологии» А. И. Смирницкого не оправдано, так как ни «совокупность» омонимов, ни «совокупность» многозначных слов не образуют реальных систем в лексике данного языка. В качестве частных систем выступают лишь отдельные многозначные слова и отдельные группы омонимов.

[4] G. Stern, Meaning and change of meaning, with special reference to the English language, Göteborg, 1931, стр. 190.

[5] B. Weman, Old English semantic analysis and theory, with special reference to verbs denoting locomotion, Lund, 1933.

Объективный характер синонимической группировки проявляется также в формальном процессе «контаминации синонимов», в результате которой ряд синонимов образует «слово-слиток», например *glimmer=gleam+shimmer* «мерцать»; *buddie=buttie+brother* «друг, товарищ»; ср. неологизм *begincement=beginningg+commencement* «начало».

Следует, наконец, отметить, что между полисемией и синонимией существует тесная синхроническая связь: многозначное слово входит, как правило, в несколько синонимических рядов. Это удобнее изобразить при помощи символов. Если многозначное слово *А* имеет значения *а, б, в, г* и пр., то в значении *а* оно может входить в ряд синонимов *А, Б, В, Г* и др.; в значении *б* — в ряд *А, Л, М, Н* и др.; в значении *в* — в ряд *А, О, П, Р* и т. п. При этом слова *Б, В, Л, М, О, П* и т. д. тоже могут оказаться многозначными. Так, у *Б* могут быть, помимо *а*, еще значения *д, е, ж, з*, в которых оно войдет в другие ряды, содержащие новые полисемичные слова, и т. д. Таким образом, в языке создается непрерывная сеть ассоциаций слов, которая охватывает бо́льшую часть словаря в его синхронном состоянии.

Итак, синонимический ряд представляет собой исторически сложившуюся синхроническую группировку слов (и выражений), которая носит системный характер. Объективные трудности ее исследования не должны заслонять от нас этого основного факта.

2. Объективные трудности исследования синонимов сводятся к тому, что не выработаны критерии выделения синонимов, т. е. не определена необходимая для установления факта синонимичности степень общности значений слов, и не существует сколько-нибудь точной методики установления синонимичности словарных единиц (слов и выражений).

3. Синонимы обычно определяются как слова, выражающие одно и то же понятие и отличающиеся друг от друга либо оттенками значений, либо стилистической окраской, либо обоими этими признаками. Однако ни в советском, ни в зарубежном языкознании понятие оттенка значения (или смыслового оттенка) не раскрыто.

Не ставя перед собой задачи — дать исчерпывающее определение оттенка значения, укажем на некоторые его особенности, с тем чтобы этим понятием можно было оперировать. Оттенок значения — это семантическая особенность значения, появляющаяся у него благодаря тому, что в языке существует несколько словарных единиц, выражающих одно и то же понятие.

Значение слова (или фразеологической единицы) в логическом плане соотнесено с понятием. Формальная логика определяет понятие как мысль о предмете, выделяющую его существенные признаки. В данном случае понятие рассматривается как застывшая и неподвижная категория, не способная к развитию. В противоположность этому, диалектическая логика признает, что в понятии могут мыслиться несущественные признаки предметов [1]. Для последних характерны две особенности: 1) то, что представляется несущественным в одну эпоху развития мышления, определяется как существенное в другую [2]. Превращение несущественного признака предмета в существенный не может не отразиться на содержании и объеме соответствующего понятия; 2) Добавление или снятие существенных признаков меняет понятие, уменьшает или увеличивает его объем, т. е. превращает его в другое понятие. Изменение числа несущественных признаков не меняет характера понятия: оно остается тождественным самому себе [3]. По всей видимости, оттенок значения с логической стороны характеризуется своей соотнесенностью с несущественным признаком предмета, мыслимым в понятии; точнее: с несущественным признаком, который находится в процессе превращения в существенный. Это предположение подтверждается диахроническими данными о развитии значений и синхроническими данными о характере реализации оттенков значений в речи.

Известны следующие факты из истории английской лексики: в древнеанглийском глагол *wealcan* (совр. *walk* «ходить») имел значение «передвигаться», иногда приобретая оттенок «передвигаться при помощи ног». Эта особенность не была, однако, существенным признаком понятия, выражавшегося глаголом *wealcan*.

Синонимическая конкуренция более часто употреблявшегося и имевшего богатую систему производных глагола *gān* (совр. *go* «ходить») привела к тому, что сфера употребления *wealcan* стала сужаться; указанный выше оттенок становился все более и более важным элементом значения глагола *wealcan*, пока это слово не приобрело нового значения: «идти, передвигаться при помощи ног». Несущественный признак понятия превратился в существенный, а в семантическом плане оттенок значения стал источником самостоятельного значения. Древнеанглийскому глаголу *steorfan*

---

[1] См. В. И. Черкесов, Некоторые вопросы теории понятия в диалектической логике, ВФ, 1956, № 2, стр. 65—66.

[2] См.: К. Бакрадзе, Логика, Тбилиси, 1951, стр. 100; Н. И. Кондаков, Логика, М., 1954, стр. 277, 282—283.

[3] См. В. Ф. Асмус, Логика, [М.], 1947, стр. 59.

«умирать» соответствовали по значению существительное *dēaď* «смерть» (совр. *death*) и прилагательное *dēad* «мертвый» (совр. *dead*). Глагол *steorfan*, вносивший элемент суплетивности в это словообразовательное гнеадо, был вытеснен после скандинавского завоевания датским заимствованием *deyen* (совр. *die*). Однако вытеснение произошло не сразу. В значении *steorfan* выделился оттенок «умирать от голода», который занимал все более центральное место в семантической структуре слова, пока глагол не получил вследствие переноса по смежности нового значения: «умирать от голода — голодать».

Поскольку несущественные признаки понятия могут устраняться и добавляться без изменения понятия, оттенки значений могут быть реализованы или не реализованы при употреблении данного слова (или выражения) в данном значении. Они реализуются в большинстве случаев употребления слова в данном значении, но существует ряд условий, специфичных для каждого отдельного значения, когда его оттенок не реализуется. Не входя в детальный анализ этих условий, ограничимся здесь несколькими примерами. В ряду *shake, tremble, quiver, shiver* «дрожать» *shake* является наиболее общим и всеобъемлющим термином; *tremble* обозначает дрожь, вызванную страхом или сильным переживанием; *quiver* отличается от *tremble* тем, что употребляется преимущественно применительно к вещам; *shiver* обозначает быстро прекращающуюся дрожь, особенно вызванную холодом[1]; ср.: «She trembled all over and shook like a white narcissus» (O. Wilde, The picture of Dorian Gray); «. . . the horrid sand began to shiver. The broad brown face of it heaved slowly and quivered all over» (Collins, The Moonstone); «If you're very mean withit (имеется в виду уголь.—*Ю. А.*), it'll last you a day, and then you come back here to shiver and shake» (Lindsay, Betrayed spring). В следующем примере, однако, типичные оттенки *tremble* и *shiver* не реализуются: «C a e s a r: . . . *Are you trembling?* C l e o p a t r a (*shivering with dread*) *No. . .*» (Shaw, Caesar and Cleopatra). Более того, в последнем примере *shiver* употребляется с противоположным оттенком — «дрожать от страха». Ср. еще один пример такого рода: из двух слов — *tie* и *bond* («связь») *bond* обозначает более тесную связь, но в приводимом ниже контексте этот оттенок переходит к слову *tie*: «For five years, shoulder to shoulder, on the rivers and trails. . . had they knitted the bonds of their comradeship. So close was the tie that he had often been conscious of a vague jealousy of Ruth» (J. London, The White Silence).

Отличительная особенность оттенка значения состоит, следовательно, в том, что при употреблении данного слова в данном значении этот оттенок реализуется в большинстве случаев использования слова, но не всегда, не постоянно. Если какая-то семантическая величина определяется нами как оттенок значения, в нашем распоряжении должны быть контексты, в которых она остается не реализованной. Этот принцип может быть использован и для отграничения разновидностей одного значения от многозначности[2]. Если у слова есть значения *А*, *Б*, *В*, то оно употребляется либо в одном из них, либо с такимновым смыслом *Г* (в случае индивидуального использования слова), который с логической точки зрения ничем не отличается от *А*, *Б* и *В*. Если же у значения *А* есть оттенки *а*, *б* и *в* (воплощенные в синонимах *Л*, *М* и *Н*), то *А* реализуется не только в разновидностях *А+а*, *А+б*, *А+в*, но и в форме *А+нуль*.

Различие между разновидностями одного и того же значения и самостоятельными значениями отражается в синтаксических и конструктивных условиях их реализации. Самостоятельным значениям свойственны формы синтаксической и конструктивной обусловленности. Так, значение «уделять» у глагола *spare* реализуется обычно в сочетании с глаголом *can* или в фукции определения, выраженного инфинитивом, например, *Can you spare a pen?* Или *Have you got a pen to spare?* С другой стороны, значение «сказаться на чем-либо» у глагола *tell* реализуется преимущественно в конструкции с предлогом *on*. Разновидностям значения, как правило, не свойственны самостоятельные формы синтаксической и конструктивной обусловленности.

4. Поскольку оттенки значений реализуются не во всех случаях употребления данного слова в данном значении, т. е. поскольку существуют контексты, где они н е р е а л и з у ю т с я, появляется возможность частичной взаимозаменимости синонимов[3]. Так как оттенок значения — величина семантическая, можно говорить о частичной взаимозаменимости лишь в семантическом отношении[4]. При этом могут сохраняться эмоционально-экспрессивные и стилистические различия между синонимами, которые не снимают их семантической равноценности. Дело в том, что эмоционально-экспрессивная окраска (способность слова передавать эмоциональное отношение гово-

---

[1] Все данные о различиях между синонимами даются по изданию: «Webster's dictionary of synonyms», Springfield, 1951.

[2] Разновидностью значения называется значение, осложненное смысловым оттенком.

[3] Системность синонимической группировки в синхронном плане проявляется, в частности, в возможности частичной семантической взаимозаменимости синонимов.

[4] Возможность семантической взаимозаменимости предполагает, что с семантической точки зрения безразлично, который из двух синонимов будет употреблен.

рящего к слушающему, или к предмету речи, или к самому себе) не затрагивает предметно-логического ядра значения и никогда не приобретает формы оттенка значения. Что касается стилистической отнесенности значений, то она сопровождается потенциальными семантическими различиями. Так, все книжные и поэтические слова по сравнению со «сленгом» обозначают нечто красивое, значительное, высокое (ср. *ланиты — щеки*, *уста — губы*, *orbs — eyes*). Этот семантический оттенок реализуется, в основном, в двух случаях: 1) при контрастном употреблении синонимов; ср.: «R e v. S. Dont mock, Frank, dont mock. I am a little — er — (Shivering) F r a n k. Off color? R e v. S. (repudiating the expression) No, sir: unwell this morning» (Shaw, Mrs. Warren's profession); 2) при контаминации стилей (ср. диккенсовское *expiring frog* «усопшая лягушка»). Однако в большинстве случаев потенциальное семантическое сопровождение стилистических различий остается невыявленным, нереализованным, и, следовательно, сохранение стилистических особенностей синонимов не уничтожает возможности их семантической взаимозаменимости.

Для того чтобы в тех или иных контекстах могла быть произведена замена одного синонима другим, они должны обладать определенными свойствами. Некоторые слова могут казаться «близкими по значению» и тем не менее не вступать в отношения синонимии. Большинство исследователей при разработке теории субституции применительно к синонимам недооценивают структурных факторов и руководствуются исключительно семантикой. В современном английском языке слова *too*, *also*, *as well*, *either* имеют на первый взгляд «одно и то же значение» — «тоже, также». Однако они не являются взаимозаменимыми, так как первые три никогда не употребляются в отрицательных предложениях, а последнее слово не может быть употреблено в утвердительном или вопросительном предложении. Значение «тоже» у этого слова реализуется исключительно в предложениях с выраженным или имплицитным отрицанием. Иными словами, несмотря на известную семантическую общность, значения этих слов не совпадают. Это — разные, синтаксически обусловленные значения.

Не менее ошибочной является недооценка фактора сочетаемости. В некоторых синонимических словарях английского языка приводятся в качестве синонимов слова *sink — drown* [1] «утонуть», *breast — udder* [2] «грудь, вымя». Между тем *sink* применяется только по отношению к потонувшим пароходам, лодкам и пр., а *drown* — только по отношению к утонувшим людям. Это различие в сочетаемости является, по сути дела, отражением различий в значениях. *Drown* значит, собственно говоря, «задохнуться в воде», а *sink* — «погрузиться в воду». Точно так же слово *breast* обозначает только грудь человека, а слово *udder* — только вымя животного.

Взаимозаменимыми и, следовательно, синонимичными могут быть признаны лишь те словарные единицы, которые в совпадающем значении употребляются по крайней мере в одной общей конструкции и имеют частично совпадающую сочетаемость. Поэтому контексты, в которых возможна взаимозаменимость синонимов, должны характеризоваться единством конструкции и единством непосредственной лексической среды, в которой синонимы употреблены.

5. Критерием синонимичности является общность значения слов. Однако этот критерий не может быть применен практически до тех пор, пока не будут найдены материальные, конкретно-лингвистические условия проявления этой общности значений в речи. Факт совпадения значений проявляется в возможности частичной взаимозаменимости синонимов в семантическом плане, которая и является практическим критерием синонимичности. Для того чтобы взаимозаменимость стала возможной, необходимо, чтобы синонимы были употреблены в абсолютно адекватных контекстах, т. е. в одной и той же синтаксической конструкции и в одной и той же лексической среде. Эти два элемента представляют собой общие условия взаимозаменимости, приложимые к любой синонимической группировке. Чтобы сформулировать частные правила взаимозаменимости для того или иного конкретного ряда синонимов, нужна дальнейшая детализация этих условий, которая может включать указания семантического характера.

Оттенок, отличающий *tell* от *say* «говорить, сказать», состоит в том, что *say* гораздо более субъективно, чем *tell*, и предполагает, что мы излагаем свое субъективное мнение о чем-либо; *tell* — это не просто «сказать», а скорее «сообщить» (факт, новость, сведения и пр.); этот глагол часто предполагает, что речь говорящего представляет собой нечто вроде повествования; ср. «Then he continued to pace the dining-room until the morning's paper came. That had much to say and little to tell beyond the confirmation of the evening before. . . » (H. Wells, The invisible man). *Tell* обычно употребляется с прямым и косвенным дополнением (*He told me this*), а *say* — с прямым и предложным (*He said this to me*). Эти синонимы нормально взаимозаменимы 1) в случае

[1] «The Nuttall dictionary of English synonyms and antonyms», London — New York, 1949, стр. 95, 252.

[2] R. S o u l e, A dictionary of English synonyms and synonymous expressions, Boston, 1943, стр. 74.

употребления в конструкции «глагол+прямое дополнение (обычно выраженное указательным местоимением)+предложное дополнение». В пассиве эти глаголы не являются взаимозаменимыми; 2) в случае, если подлежащим предложения является личное местоимение первого лица; ср. «I am always telling that to your poor uncle, but he never seems to take much notice» (O. Wilde, The importance of being earnest). В таких условиях чаще употребляется *say*.

В некоторых случаях установление того, какими структурными и лексическими свойствами должен обладать контекст, чтобы допускать взаимозаменимость синонимов, сопряжено со значительными трудностями: ср. «Perhaps, after all, America never has been discovered. . . I myself would say that it had merely been detected» (O. Wilde, The picture of Dorian Gray). Однако углубленное исследование фактического материала должно привести к определению правил взаимозаменимости и в этих случаях.

6. При установлении синонимичности словарных единиц необходимо учитывать возможность их частичной семантической взаимозаменимости. Методика анализа в этом случае сводится, в основном, к следующему. Прежде всего отыскиваются контексты, в которых с семантической точки зрения безразлично употребление того или иного из ряда синонимов. Затем определяются конструктивные, лексические и прочие особенности контекстов, исключающие реализацию специфических оттенков значения данных синонимов.

7. Синонимы являются синхронической семантической категорией, объективно существующей в языке. Синонимами можно считать лишь такие словарные единицы, значения которых либо полностью совпадают, либо отличаются оттенками; благодаря возникающей на этой основе лингвистической связи синонимы способны заменять друг друга в ряде строго определенных контекстов, где они употребляются в одной и той же синтаксической конструкции и в одной и той же лексической среде. Все слова и выражения, связанные в единую систему, исторически сложившуюся в языке на основе таких отношений, образуют синонимический ряд.

8. Предложенная методика позволяет рассмотреть синонимы и с точки зрения принципов, выдвигаемых структуральной лингвистикой. Единицей семантической системы языка является значение. Оно выступает в ряде своих разновидностей, находящих выражение в синонимах. Разновидности значения (т. е. значения, осложненные оттенками) противопоставляются друг другу на основе своих дифференциальных признаков (оттенков значений). Случаи, когда специфические семантические оттенки синонимов не реализуются, могут быть проанализированы как позиции, в которых происходит нейтрализация противопоставлений. Значение как единица семантической системы языка реализуется в речи в чистом виде в условиях нейтрализации противопоставлений.

Ю. Д. Апресян

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

К ИСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ГЕНИТИВА

Родительный падеж в древних индоевропейских языках в огромном большинстве случаев обозначал лицо, часто являясь определением имени с процессуальным значением. Последнее обычно прослеживается и в именах-определяемых с предметным или абстрактным значением. Очевидно, таким образом, что в дописьменный период генитивные конструкции в индоевропейских языках в подавляющем большинстве случаев представляли сочетания генитива лица с именем действия.

Древнехеттские тексты еще отражают то состояние, когда генитив лица мог образовывать вместе с определяемым именем обособленные конструкции, эквивалентные обычным простым предложениям, входящим в состав сложного; такие генитивные конструкции были функционально тождественны сочетаниям с именем деятеля при глаголе. Важно подчеркнуть, что определяемые в указанных конструкциях являлись существительными на *-r/nt-*[1]. Синтаксический анализ подтверждает в данном случае как изначальное положение о генетической близости именных и глагольных образований на **-r/nt-*, так и гипотезу Н. Ван-Вейка о происхождении генитива на **-(e/o)s* из активного падежа [2]. Однако стремление Н. Ван-Вейка увидеть черты древнейших эпох в приглагольном употреблении партитивного генитива необосновано: приглагольный генитив не может быть общеиндоевропейским уже потому, что он отсутствует в ряде архаичных языков, например в том же хеттском.

Развитию категории рода в общеиндоевропейском языке предшествовал, очевидно, процесс редукции безударных гласных в образованиях типа *cécec*, *cecéc*, *cecécec*, давших соответственно *cécc*, *ccéc*, *ccécc*, например **génеu* > ** génu* > лат. *genu*; **genéu* > **gneu* > гот. *kniu*; **g^{u}henénet* > др.-инд. *ghnant-*. Далее от существующих образований, в том числе и от корневых имен *cec*, развиваются производные на *-ec*, в частности, одушевленный род на **-s*, причем одушевленный род основ на **-i/u-* образуется непосредственно от корня путем присоединения суффикса основы **-ei/u-* и показателя рода **-s*, например **gen-eu-s*. В одушевленном роде развивается двухпадежная система. Роль семантического различителя играет ударение: появляются баритонный неактивный, или нейтральный, падеж и окситонный актив, причем неактив сближается структурно с именами неодушевленного рода, несущими ударение на первом слоге. В результате такого распределения ударений происходит новая редукция безударных гласных: формы *(c)cécec* дали *(c)écc* [в одушевленном роде еще и *(c)écei/uc* > *(c)éci/uc*, см. выше], соответствующие окситонные формы дали *(c)ccéc*. Так, в неодушевленном роде **l/i̯ék^{u}er* > *l/i̯ēk^{u}r* > греч. ἧπαρ; **Hnémen* > *Hnémn̥* > др.-инд. *nā́man* и т. д.; в одушевленном роде: **g^{u}hénes*: **g^{u}henés* > *g^{u}hénsˌ*: *g^{u}hnés* > др.-инд. *-hā́: -ghnás*; **stéHes*: **steHés* > **stéHs*: *stHés* > др.-инд. *-sthā́*: *sthás*; **u̯éghs*: *ughés* > др.-инд. *-vā́t*: *ū́has*; **dhghḗms*: **dhghmés* > др.-инд. *kṣā́s* (ср. *kṣā́mi*): *kṣmás*; **ghi̯ḗms*: **ghimés* > авест. *zyā́*: др.-инд. *himás*; *géHus*: **gHéus* > др.-инд. *gā́us*: *gā́s*; ср. *dyā́us*: *dyā́s*.

Что касается образований типа *(c)cecec*, то баритонные формы дали *(c)cécec* без удлинения *e*, окситонные либо дали *(c)cçcéc*, либо остались неизменными в зависимости от того, было ли первое из центральных с сонантом или нет. Так, **g^{u}hnéntes*: **g^{u}hnentés* > *g^{u}hnénts*: *g^{u}hnn̥tés* > др.-инд. *ghnánt-*: *ghnatás*; **-i/u-*основы: **séuneus*: **seunéus* > **séunus*; *sunéus* > др.-инд. *sūnū́s*: *sūnós*; **HéuHeis*: **HeuHéis* > **HéuHis*: **HuHéis* > лат. *avis*: др.-инд. *vés*; но: *çatrus*: *çatros*. Таким образом, редукция не повлияла на структуру актива ряда *-ecc*-основ. В дальнейшем окситонный актив вновь развивается и у основ на *-ec-*. Возможно, противопоставление падежных форм *cécesˌ*: *cecés* оказалось нарушенным не только в результате редукции, но и вследствие развития типа *cécesˌ* в неодушевленном роде. Здесь появляются многочисленные имена на **-es*, параллельные формам на **-en*, **-el*, **-er*, например, **nébhes*: **nébhel* > хет. *nepiš*: греч. νεφελ-; ср. также др.-инд. *ábhas*, *ábhar*, *ábhan*. Очевидно, в эту эпоху развивается противопоставление ударных и безударных

[1] Имена на *-r/nt-* употреблялись и в других обособленных конструкциях, причем значение конкретного действия часто оказывалось утраченным (см. F. Sommer, A. Falkenstein, Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili I (Labarna II), München, 1938, стр. 70.

[2] См.: N. van-Wijk, Der nominale Genitiv singular im Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ, Zwolle, 1902, стр. 96.

гласных *ē* : *o*, которое, впрочем, четко не проводилось: **nébhes* → **nébhos* и **nébhes* (ср. греч. νέφος и хет. *nepiš*). Все эти процессы привели к тому, что противопоставление падежей в одушевленном роде приняло следующий вид: *(c)cē/ōcs*: *(c)c°/ocē/ōs*, например, авест. *vāxs*, лат. *vōx*: др.-инд. *vacás*, греч. (гом.) Fοπός; лат. *rēx*, др.-инд. *rāṭ*: лат. *rēgis* (с обобщенным *ē*).

Возможность существования основы *c°/oc°/o-* привела к возникновению тематического типа имен, в котором, вследствие существующего нечеткого противопоставления падежных форм, появилась новая форма неактива на **-m*. При единой в структурном отношении форме актива на *-ē/ōs* обоих типов основ существовали теперь различные формы неактива: неактив на **-s* в атематическом и неактив на **-m* в тематическом типе. Окситонные образования, имеющие значение активного деятеля, развились впоследствии как в генитив субъекта, так и в номинатив имени деятеля при глаголе (значение генитива возникло вследствие субстантивации формы, обозначавшей действие). В атематическом типе актив дал генитив, неактив перешел в номинатив. Так как в тематическом типе в обеих функциях употреблялась одна форма, то с развитием категории генитива в отдельных языках он получает вторичное окончание **-i̯o*, отличающее его от номинатива. Первоначальная форма генитива в этом типе основ сохранена хеттским языком [1]. Что же касается генитивов на **-es* среднего рода, то наиболее древние из них восходят к упомянутым гетероклитическим образованиям на **-es*. Из соотношения др.-инд. генитив *áhnas*: номинатив-локатив *áhan* «день, днем», полностью соответствующего соотношению др.-инд. *apnas* «имущество», греч. ἄφνος: хет. *ḫappin*-«богатый», ясно, что обнаруживающие древнее чередование генитивы гетероклитических основ не являются таковыми по происхождению, если только формы генитивов не развились по аналогии в более позднюю эпоху.

Не имели первоначально значения генитива и образования на **-ī*, **-io*, **-(ē)l*, **-ne*, **-u̯e* и т. д., что, впрочем, не дает возможности предполагать происхождение данных генитивов из прилагательных. В конечном итоге эти формы восходят к образованиям с локально-темпоральным значением на **-ei/i*, **-el/l*, **-en/n*, **-eu/u*, пережитки которого сохранились в употреблении местоименных форм **m°/oi*, **t°/oi*, локативов, наречий. И прилагательное и генитив входят в ряд категорий, которые могли развиваться на основе этих образований; так, к указанным формам на **-el/l* восходят хеттский местоименный генитив на *-ēl*, этрусский генитив на *-l*, лидийский косвенный падеж на -λ, хетто-лувийские притяжательные прилагательные на *-al*, прилагательные на *-l-* и наречия на *-l* (*i*) в целом ряде языков. Анализ текстов показывает, что значение генитивов у форм на *-ī*, *-l* и т. д. развилось на основе употребления этих форм в трехчленных конструкциях, в которых данные образования относились одновременно и к имени, и к глаголу. На основе таких конструкций развились генитивы на *-ī* в итало-кельтском языковом союзе, близкие генетически и функционально *i*-предикативам в индо-иранских, славянских и других языках. Из трехчленных конструкций с формой на *-l-* при имени и глаголе развились как сочетания с наречием на *-li*, например в ликийском языке, так и генитивные конструкции в хеттском языке [2]. Безусловно древним и свойственным всем языкам было употребление генитива в качестве предикатива, что полностью подтверждает высказанное выше предположение. В трехчленных конструкциях употреблялись лишь глаголы **bheu̯*, **es*, **k^ner* [3]; общее значение конструкции было, таким образом, «становиться, быть, делать(ся) относящимся к тому, что обозначено исходным для суффиксальной формы образованием». Разумеется, первоначальное значение конструкции было гораздо более конкретным; это ясно, в частности, из исходного значения глагола **bheu̯* «расти».

Очевидно, в эпоху диалектального членения языка-основы возникли генитивы на *-ē/ōs* имен одушевленного рода, что явилось результатом переосмысления значения активного падежа. С развитием категории генитива в качестве форм этого падежа начинают употребляться также и некоторые образования на **-es* в среднем роде, первоначально обычные имена на **-es*. В процессе переосмысления значений именных и местоименных производных на **-ī-*, **-l-*, **-io*, **-ne-*, **-u̯e-* образовались как генитивы, так и номинативы существительных и прилагательных, а также формы наречий и местоимений [4].

В. В. Шеворошкин

---

[1] О генитиве *e/o*-основ см. J. Knobloch, Zur Vorgeschichte des idg. Genitivs der o-Stämme auf -sjo, «Die Sprache», Bd. II, Hf. 3, Wien, 1951; впрочем, в данном случае доказательства, основанные на типологических сопоставлениях, едва ли необходимы.

[2] О родстве ликийского *ebeli* «там» и хет. генитива *apēl* «того» см. E. Benveniste, La flexion pronominale en hittite, «Language», vol. 29, № 3, 1953, стр. 256.

[3] См., например, J. Wackernagel, Genitiv und Adjektiv, «Mélanges de lingustique offerts à F. de Saussure», Paris, 1908.

[4] Поздно развилось значение генитива мн. числа и у образований на **-ōm*, первоначально имен с экспрессивным значением. Это последнее было связано с удлинением корневого или суффиксального гласного как в именных, так и глагольных образованиях.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ Г. А. ИЛЬИНСКОГО

Научное наследие Григория Андреевича Ильинского чрезвычайно богато и разнообразно. Поражает своей широтой круг его интересов: издание древних памятников южнославянской письменности и всестороннее исследование их языка и палеографических особенностей, вопросы, связанные с деятельностью Кирилла и Мефодия, монографическая обработка важных проблем сравнительной грамматики славянских языков как в области фонетики, так и в области морфологии, завершенная таким крупным синтетическим исследованием, как «Праславянская грамматика», и, наконец, постоянные, деятельные разыскания в области исторической лексикологии и этимологии. Последняя область особенно привлекала Г. А. Ильинского на всем протяжении его жизни; он пользуется широкой известностью в значительной степени именно как этимолог.

Слависты, практически занимающиеся этимологией, и в первую очередь составители этимологических словарей, знают по собственному опыту, что обработка огромного количества словарных статей невозможна без отражения этимологий Г. А. Ильинского, без оценки его вклада в изучение слов. Положения не меняет и то обстоятельство, что, как известно, многие этимологии Г. А. Ильинского оспариваются исследователями. Даже те этимологии Г. А. Ильинского, которые отвергаются последующими исследователями, играют несомненную положительную роль, так как их изучение существенно облегчает выбор правильного решения. Чтение этимологической продукции Г. А. Ильинского вообще очень обогащает, и в этом также заключается одно из ее важных достоинств. Здесь имеется в виду первоклассное знание Г. А. Ильинским лексики славянских языков во всем многообразии ее диалектных различий и во всей ее семантической сложности. Знание лексики в соединении с универсальностью научных интересов, с поразительной осведомленностью Г. А. Ильинского в специальной литературе и вообще в литературе, в текстах на славянских языках и диалектах придают высокую познавательную ценность его этимологиям. Обладая редкой работоспособностью, Г. А. Ильинский опубликовал очень много трудов по славянской этимологии. Число работ Г. А. Ильинского почти не поддается полному учету, потому что они рассеяны по многим периодическим изданиям и юбилейным сборникам. Кроме русских лингвистических журналов, Г. А. Ильинский, поддерживавший оживленные научные связи со многими зарубежными славистами, печатался также почти во всех ведущих европейских лингвистических органах. По плодовитости его можно поставить рядом с такими этимологами, как А. Брюкнер и И. Зубатый, — его современниками, с которыми его также сближает сходство в отдельных моментах этимологического исследования. Подобно двум названным ученым, Г. А. Ильинский ставил перед собой задачу объединения в будущем своих этимологических исследований в этимологическом словаре. Ни литовский этимологический словарь И. Зубатого, ни этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского так и не были завершены. Однако Г. А. Ильинский успел проделать в этом направлении большую подготовительную работу, о чем свидетельствует рукопись, имеющаяся в его архиве.

Эта рукопись представляет собой в полном смысле слова этимологический словарь славянских языков. Слова обработаны в ней постатейно, с обязательным возведением к общеславянской форме. Статьи расположены в алфавитном порядке. Большинство статей имеет предельно четкую структуру: общеславянская форма или другая условная заглавная форма слова, за чем следует перечисление форм по отдельным славянским языкам с указанием их значений; после этого, — как правило, с абзаца — помещается снабженная символом < гипотетическая исходная форма с пояснениями, касающимися фонетико-морфологического, словообразовательного и семантического развития; здесь обычно находит выражение точка зрения самого Г. А. Ильинского. Затем — тоже с абзаца — следует подробное изложение точек зрения, представляющихся автору неверными. Эта часть систематически выделяется красным карандашом на всем протяжении рукописи. Рукописи придан строго единообразный вид. Текст написан на

одинаковых листах крупного формата, с одной стороны листа [1]. На одном листе помещено не более одной статьи. Единообразие выражается и в последовательном применении одинаковой структуры статей (см. выше). Совершенно последовательно соблюдается употребление системы вспомогательных символов, а также сокращений, причем, кроме общеупотребительных в лингвистической литературе условных знаков и некоторых латинских аббревиатур названий грамматических категорий, четко проводится сокращенное обозначение русских названий привлекаемых языков. Имеются некоторые специально принятые автором сокращения морфологических терминов: *УС* (удлиненная ступень), *РС* (редуцированная ступень). Последовательность соблюдения всех этих сокращений настолько абсолютна, что, несмотря на отсутствие объяснительного списка условных сокращений, в них нетрудно разобраться после некоторого ознакомления с текстом.

Знакомство с данной рукописью свидетельствует, может быть, с еще большей очевидностью, чем изучение печатных работ Г. А. Ильинского, о высокой культуре этимологического труда. По-видимому, Г. А. Ильинский работал над созданием этимологического словаря славянских языков длительное время, по крайней мере несколько лет, о чем говорят, кроме описанных выше особенностей, определенным образом свидетельствующих о стадии работы, также внушительные размеры труда: вся рукопись размещается в 26 папках [2]. О хронологических рамках выполнения Г. А. Ильинским этой работы можно судить приблизительно. По отдельным датам, попадающимся в тексте на обратной стороне листов, можно заключить, что написание словаря приходится в основном уже на начало 30-х годов. Примерно об этом же говорит последняя по времени литература, использованная в словаре: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego (1927); K. Lokotsch, Etymologisches Wörterbuch der europäischen... Wörter orientalischen Ursprungs (1927); A. Walde, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, hrsg. von J. Pokorny (1927—1932); «Revue des études slaves». t. XII (1932).

Несомненно, что в случае своевременного выхода в свет сразу после подготовки (т. е. около 20 лет назад) этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского принес бы значительную пользу как подробный справочник по славянской этимологии, в значительной степени отражающий современное состояние науки. Словарь Г. А. Ильинского интересен с различных точек зрения. Прежде всего, это второй после работы Э. Бернекера этимологический словарь славянских языков, хорошо отражающий литературу за период после выхода словаря Э. Бернекера (второе, не измененное издание в 1924 г.). Между прочим, в описываемом словаре Г. А. Ильинского встречаются также ссылки на подготовленное им второе издание его «Праславянской грамматики» (например, ПГ² 5 — см. под *akъ*), как известно, так и не увидевшее свет (первое издание в 1916 г.). Далее, словарь Г. А. Ильинского, в отличие от словаря Э. Бернекера, доведен в общем до конца. Словник Г. А. Ильинского весьма богат. Достаточно сказать, что тогда как словарь Э. Бернекера (*A — motъ*) содержит немногим более двух с половиной тысяч слов, словарь Г. А. Ильинского приблизительно в тех же рамках (*A—L*) содержит около 5000 слов. В целом же нужно отметить, что Г. А. Ильинский при составлении словаря следовал во многом методам Э. Бернекера как в разработке структуры словарной статьи, так и в отборе слов. В словарь Г. А. Ильинского включено очень много поздних заимствований отдельных славянских языков, не носящих общеславянского характера, например: *abá*, *abaka*, *abeceda*, *abrikos*, *adamant*, *admiral*, *apelsin*, *arbuj*, *artillerija*, *benzoja*, *diadema*, *diafragma*, *dialektъ*, *faeton* и т. п. При значительной полноте словника в словаре, однако, имеется пропуск ряда слов.

Что касается существа этимологий, помещаемых в словаре, то для них характерны в целом недостатки, отличающие многие из известных опубликованных этимологических толкований Г. А. Ильинского, тем более, что, предлагая оригинальные решения, он в большинстве случаев использует в словаре свои печатные работы. Это главным образом излишний схематизм в понимании развития славянских форм, выражающийся в обязательном отсечении корня и возведении его к индоевропейской форме с неким обобщенным значением. Вследствие такой практики собственно словообразовательный анализ славянского слова смазывается: автор стремится, минуя эти стадии, скорее связать славянское с индоевропейским. Надо сказать, что делается это не всегда интересно, тем более что возникает впечатление известной предвзятости, усиливаемое характерной для Г. А. Ильинского антипатией к объяснению славянских слов заимствованием. Так, польск. *bryl*, укр. *бриль* «широкая соломенная шляпа»,

---

[1] При этом в качестве писчего материала очень часто используются, судя по обратной стороне многих листов, прежние систематические записки и, по-видимому, курсы лекций самого автора по истории славянских стран и славянских литератур, черновики этимологических заметок и т. п.

[2] Настоящее описание составлено на основании изучения только части названной рукописи, а именно — первых десяти папок (около 5000 листов), содержащих буквы *A*, *B*, *C*, *Д*, *E*, *F*, (*G* отсутствует), *I*, *J*, *K*, *L*.

правдоподобно объясненное еще Я. Карловичем в «Словаре иностранных слов» из итальянского *ombrello* «летний зонтик», Г. А. Ильинский ведет от и.-е. **bhrū-* «иметь овальную, выпуклую форму» и считает исконным славянским словом. Русск. диал. *будара* он объясняет из и.-е. **bheudh-* «быть полым, овальным». Польск. *ciekawy* «любопытный», укр. *цікавий* Г. А. Ильинский объединяет общеславянским *cěkavъ*, производя последнее из и.-е. **koi-k-* «резать, отделять, различать; узнавать», в то время как украинское слово, конечно, заимствовано в позднее время из польского, откуда также происходит русск. диал. *чекавый*, польское же слово состоит в прямом родстве с *cieć*, русск. *течь* и т. д. Известная прямолинейность в понимании фонетико-морфологической истории слов заставляет Г. А. Ильинского производить, например, слав. *červьjь*, ст.-слав. чрѣвьи не из *červo*, чрѣво «живот», т. е. «мягкая обувь из кожи живота», а прямо из и.-е. **(s)ker-* «отрезанный кусок кожи», причем форманты *-v-ьjь* попросту отсекаются и оставляются без объяснения. Для известного позднего заимствования из греческого языка русск. *кровать* допускается возможность происхождения из балто-славянск. **korgōt-*. Русск. диал. *кума* «лихорадка, трясучка» отрывается от формы *кума* с общенародным значением и производится из и.-е. **kou-m-* «гнуть, клонить, качать», хотя очевидно, что использование слова *кума* в данном случае для обозначения болезни есть не что иное как эвфемистическое иносказание, примеры чего хорошо известны в каждом языке. Местами в словаре встречается путаное изложение; попадаются ошибки, носящие, очевидно, случайный характер.

Наибольший интерес в описываемом словаре представляют, разумеется, оригинальные этимологии Г. А. Ильинского, причем именно те из них, которые не фигурировали в его опубликованных работах и познакомиться с которыми можно только в данной рукописи ученого. При ознакомлении с рукописью удалось отобрать некоторое количество этимологических статей, по-видимому, не публиковавшихся Г. А. Ильинским. Естественно, что при этом обращалось внимание особенно на те этимологии, которые помимо оригинальности представляли интерес также и в иных отношениях и менее затронуты перечисленными выше типичными недостатками ряда других этимологий Г. А. Ильинского. Некоторые из отобранных оригинальных этимологических статей представляются тем более ценными, что при сравнении их с соответствующими статьями, например в новом «Русском этимологическом словаре» М. Фасмера, обращает на себя внимание более богатое содержание статьи или наличие более вероятного толкования у Г. А. Ильинского.

В этой связи может оказаться желательным ознакомление читателя с некоторыми взятыми на выбор этимологическими статьями описываемого словаря. Приводимые ниже выдержки представляют собой дословные цитаты из различных мест текста рукописи Г. А. Ильинского. Чтобы облегчить понимание текста, раскрыты некоторые условные сокращения.

*

acě conj: др.-церковнослав. *аще* «хотя», др.-русск. *аще* «если»

< окаменевшей формы местоимения *akъ*.

Ошибочно Berneker [«Slavisches etymologisches Wörterbuch»][1] (I 22) [разлагает эту форму на *a+cě*.

alynьja f: русск. диал. (владим., костром.) *алынья* «корова»

< и.-е. **ol-īni-* «рогатое животное»; ср. кимр. *elain* «оленья самка» из **el-ŋnī* (Ильинский, «Slavia», II 254).

Шахматов («О полногласии», 103, Очерк [древнейшего периода истории русского языка], 5, 262) выводил этимологизируемое слово чисто фонетически из корня **ol-n-*, что, конечно, неверно[2].

biritjь m: . . . церковнослав. *бирить* «глашатай, пристав», словенск. *birič* «судебный служитель, полицейский», чеш. *biřič* «глашатай, сыщик, палач», верхнелужицк. *běric*, *běrc*, нижне-лужицк. *běric*, др.-русск. *бирючь* «глашатай, пристав», укр. *бирич*, русск. диал. *бирйч*, *бирюч*. . .

Не образовано ли *biritjь* от слав. *birъ* «подать»? [3]

bozъ m: русск.-церковнослав. *бесъ*, «бес», др.-русск. *бесъ* «стремительный, хищный, бурный», др.-русск. *бесовъ* («Слово о полку Игореве»); укр. *бусо-вір* «идолопоклон-

---

[1] Вставки в квадратных скобках применены мной в некоторых случаях, чтобы облегчить понимание ссылочной части текста Г. А. Ильинского. Сноски мои. — *О. Т.*

[2] Эта словарная статья основана на печатных материалах Г. А. Ильинского, но представляет интерес, поскольку в словаре М. Фасмера (M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953) слово *алынья* отсутствует.

[3] Приписано карандашом, видимо, позднее. Здесь и в дальнейшем опущенная часть статьи (. . .) содержит сводку известных в литературе объяснений.

ник, язычник», «чародейный»; чеш. диал. *bosorkyně* «чародейка», укр. *босоркáня* «колдунья, ведьма»; чеш. диал. (моравск.) *bosorovati* «колдовать»

< и.-е. **bhŏso-* «существо, бурно и шумно двигающееся; дух; злой дух»; см. *běsъ*.

Нет основания считать укр. *босорка* и т. п. заимствованием из мадьярского *boszorka* (Skok, «Archiv für slavische Philologie», XXXV 350): последнее скорее само заимствовано из славянского (о прилагательном *босъ*, *босовъ* неверно сказано у Мелиоранского, «Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности», VII 2, 284; см. также Корш, «Известия», VIII 4, 33).

brosnь f: польск. *brośń* «плесень», белорусск. *бросць* «плесень», *бросцелый* «плесневый», *бросцець* «покрываться плесенью»

< и.-е. **bhrŏk-* «светлый», ср. др.-инд. *bhrā́kate* «пылает, светит».

Brückner [«Słownik etymologiczny języka polskiego»] (41) не отделяет этимологизируемое слово от *bronь*; см. этимологию. — Неясно Miklosich [«Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen»], 22.

brotь f: чеш. *brot*, род. падеж *broti* «сок, краска, багрянец», др.-чеш. *brotec* «rubia herba, radix eius est rubea», чеш. *brotiti* «красить»; церковнослав. *брошть* «крап, марена», болг. *брошт*, сербо-хорв. *bröc*, словенск. *bròč*; укр. *брочúти* «красить», словенск. *bröčiti*

< и.-е. **bhre-t-* «жар, печь, варить» (параллельного *bhreg-*; ср. *braga* и *bhrek-*; ср. *bročь*); ср. др.-в.-нем. *bruoten* «сидеть на яйцах», *brātan* «жарить», лат. *frĕtum* «кипение, бурление, жара»: основное значение нашего имени было «корень, который при варке дает красную краску».

Ошибочны гипотезы: 1) о заимствовании этимологизируемого слова из ср.-лат. *bractea* «пурпур» (Jokl, «Zborník u slavu Jagića», 485; Vasmer, «Rocznik slawistyczny», IV 169) — слова мало употребительного и имеющего значение вторичное: оно развилось в нем под влиянием *blattea*; 2) об исконном родстве с греч. βρότος «кровь», βροτόω «опрыскивать кровью» (Berneker, I 88); 3) о происхождении из **mrok-*, **mroktjo-*, т. е. от основ, от которых будто бы образована семья лат. *fracescere*; 4) о происхождении из **brok-*, **broktjo-* «жидкость» (Rozwadowski, «Rocznik slawistyczny», II 78). У Miklosich'а (22) слово не объяснено.

bystrъ adj: . . .[1]

cě conj: др.-церковнослав. цѣ «καίτοι, καίπερ, εἴπερ»

< и.-е. **kᵘoi*, loc. sing. местоимения **kᵘo-*, ср. литовск. *kai-po*, *kai-p*, *kai-po-gi*. — Неточно Miklosich, 152: Persson, «Indogermanische Forschungen», II, 205.

Другие (Brugmann, «Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen», 620, Berneker, I 122) сближают с греч. καί «и, также».

cěriti vb: болг. *церя́* «лечу», *цяр* «лекарство»

< и.-е. **koi-* «быть крепким, здоровым»; см. *cě-lъ*.

čata f: словенск. *čâta* «засада», польск. *czata* «засада, ночная стража, передовой пост», др.-польск. «нападение, наезд», укр. *чáта* «форпост, ночная стража»; pl. *чáти* «засада, патруль», польск. *czatować* «сторожить», укр. *чатувáти* «караулить, производить рекогносцировку»

< **čakta*, см. *čakati*.

Miklosich («Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen», 10) выводил из мадьярского *czata* «pugna», которое из славянск. *četa*; в «Etymologisches Wörterbuch» (35) он относил к *četa*; см. этимологию слова; Berneker (I 137) и Brückner (73) стоят за первую альтернативу.

čekati vb: болг. *чéкам* «жду», сербо-хорв. *čěkati*, чеш. *čekati*, польск. *czekać*, укр. *чекáти*, русск. *быть на чеку*; — удлиненная ступень ст.-церковнослав. чакати, болг. *чáкам*, ст.-сербо-хорв. *čakati*, словенск. *čákati*, др.-чеш. *čakati*, верхне-луж. *čakać*, нижне-луж. *cakaś*, др.-польск., польск. диал. *czakać*, чеш. *čáka* «надежда»; редуцированная ступень др.-чеш. и современное *počkati* «подождать», 2-е лицо повелит. накл. *po-čkej*, польск. *po-czkaj*; сербо-хорв. *čěčati* «сидеть на корточках»

< и.-е. **kek-* «гнуться, сгибаться, подстерегать»; значение «ждать» развилось в охотничьем языке из «сидеть или стоять согнувшись в ожидании добычи»; ср. др.-в.-нем. *hohon* «сгиб колена», ирл. *coss* «нога», лат. *coxa* «бедро», авест. *kaša* «плечо», др.-инд. *kákša* «подмышка» ∾ См. *čeka*, *čekanъ*.

Meillet («Etudes», 163) и Brückner (75) видят в этимологизируемом слове расширение корня *ča-* в *čajati* (см. этимологию слова), причем *čekati* возникло из *čakati* диссимиляцией двух *a*; напротив, Лось (РФВ, XXIII 75), Zubatý («Listy filo-

[1] В соответствующей статье Г. А. Ильинский отказывается от своей старой этимологии *bystrъ* — к *bъdrъ* «бодрый» и под. (см. Г. Ильинский, Славянские этимологии, «Zbornik u slavu Vatroslava Jagića», Berlin, 1908, стр. 291—292), которая, как известно из этимологической литературы, числится за ним до сих пор, и присоединяется к общепринятому объяснению *bystrъ* < и.-е. **bhūs-* «шуметь, бурлить»; ср. др.-исл. *bysia* и др.

logické», XXVIII 33) и Berneker (I 134) рассматривают *čekati* как удвоенное образование, отожествляя причастие *čekanъ* с др.-инд. *cakānas* «желанный». К этому мнению присоединяется Berneker (I 134), который привлекает сюда же латышск. *kārs* «жадный, похотливый», др.-в.-нем. *huora* «развратная женщина», ирл. *cara* «друг», лат. *cārus*, авест. *kajeiti* «желает», др.-инд. *kājamanas* «желающий, любящий», *cājamānas* «желающий», *ā-cake* и пр.; в частности, *čakati* возникло будто бы из *če-kati* под влиянием *cajati*; впрочем *čakati* может скрывать *kë*, интенсивная редупликация типа др.-инд. *dā-dharti* «держит».

— Неясно Miklosich, 30.

čerda: русск. диал. (псков.) *чередá* «опрятный одеждою», словен. диал. (хорут.) *čriditi* «очищать, волоть (кукурузу)», *čriediti*, русск. диал. (арханг.) *чередúть* «очистить, выпотрошить (птицу, рыбу)», (перм.) «очищать (пшеницу)», (псков.) *чередить* «мести, вытирать (комнату)»

< и.-е. **(s)kerd-* «резать, скрести»; ср. литовск. *(s)kerſti* «резать, колоть (свиней)», латыш. *škèrst* «щепить, резать (труп)», литовск. *skardùs* «крутой», *skařdis* «крутой берег». См. *skъrdъ*, *ščerda*.

Зеленин («Известия», VIII 4, 257) сближает этимологизируемое слово с греч. κέρδος, лат. *cerdo* [1].

чит m: русск. диал. (вологод., вят., арханг.) «мелкий дождь, ситник, бус», *чúтать* «моросить»: *чúтает* «моросит»

< и.-е. **(s)keit-* «отделять, цедить, щепить», см. *cěditi*, *čistъ*.

Meckelein («Finnisch-ugrische Etymologien», 69) и Kalima («Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen», 248) выводят этимологизируемое слово из финск. *siite*, которое в действительности заимствовано из русского.

čьrnъ adj: др.-церковнослав. чрнъ «черный»...

< и.-е. **kᵉr-no-* «черный», чередовавшееся с **kᵉr̥s-*; ср. литовск. *kéršas* «с черными и белыми пятнами», *kéršė* «пестрая корова», *karšìs* «свинец»; швед., норв. *harr* «пепел»; контаминацией **kᵉr̥n-* и **kᵉr̥s-* возникло *kᵉr̥sno-*; ср. прусск. *kirsnan*, литовск. *Kirsnà* название речки, др.-инд. *kr̥šnás* «черный».

Обыкновенно (Schmidt, Vokalismus, II 33, Fick, «Etymologisches Wörterbuch der indogermanischen Sprachen», I 190; Miklosich, 34, Mikkola, «Bezzenbergers Beiträge», XXII 245, Hirt, «Bezzenbergers Beiträge», XXIV 253, Berneker, I 170, Ильинский, Звук *ch* в славянских языках, § 107, Trautmann [«Baltisch-slavisches Wörterbuch»], 134, Brückner, 72) выводят этимологизируемое слово из *čьrchnъ* < и.-е. **kr̥sno-*.

dĕgati vb: словацк. *dĕgať* «пихать; кутать»

< и.-е. **dheig-* «колоть, толкать, торчать»; ср. литовск. *dĩegti* «колоть», латыш. *diegt*; литовск. *dĩegas* «росток», *dáigas*, латыш. *diêgs*. — О литовских словах см. Буга, «Известия», XVII, I 32, Trautmann, 49.

doganъ m: словацк. *dohan* «курительный табак», *dohâň*; — удлиненная ступень чеш. *dahněti* «пылать»

< и.-е. **dhegh-* «гореть»; см. *degъtь*.

droiti sę vb: русск. диал. (псков.) *дройтьcя* «о рыбе, крутиться от опьянения после мочки в речке или зернах конопли». Низшая ступень сербо-хорв. *zàdrijaka* «здоровяк»

< и.-е. **d(e)rei-* «драть, драться»? [2]

dukъ m: русск. диал. *дук* «ямка, лунка, в которую дубинками вгоняют шар, чурку», польск. диал. *ducza*, *duca* «углубление в середине верхнего жернова; углубление вообще (в хлебе, в земле)», укр. *дýча*; польск. *duczka* «трубка в бочке», укр. *дýчка* = *дýча*, южновеликорусск. (курск.) *дучка* = *дук*; польск. диал. *duczaj*, *ducaj* «отверстие в середине верхнего жернова», укр. *дучей*, южновеликорусск. (курск.) *дучáй*; чеш. *dučeje* «водопад», др.-польск. *duczaja* «витая трубка»; словацк. *dúčel* «трубка», *dúčela*, др.-польск. *duczał* «трещина во льду», *duczała*, *ducoła*; польск. *dukwieć* «ślęczeć»

< и.-е. **douk-* «рвать, щепить, долбить», ср. литовск. *duksmė* «отрепье», *dúkšta* «веха», алб. *nduk* «рву, вырываю волосы».

Ошибочно сближение *dučejě* и т. п. с итальянским *doccia* «водопроводная труба» (Matzenauer, Cizí slova ve slovanských nářečích, 149, Berneker, I 232); ср. Brückner, 102. — Неясно о *duczaja* Miklosich, 52 [3].

dvigъ m...

< и.-е. **dhueig(h)-* «трясти, двигать» < и.-е. **dh-ŭ* «дуть, трясти, приводить в движение»; ср. греч. θύω «вторгаюсь, спешу», др.-инд. *dhuvati* «трясет, выдергивает, приводит в движение».

---

[1] М. Фасмер (см. указ. словарь, Bd. III, 1956, стр. 320) объединяет *чередить* «учреждать» и *чередить* «чистить, подметать».

[2] Слово *дройтьcя* у М. Фасмера (указ. соч.) отсутствует.

[3] Ср. M. Vasmer, указ. словарь, Bd. I, стр. 379: «*дук* — 'Grube beim Spiel *клюшки*, in die der Ball getrieben werden muß', Terek — G. (RFV 44, 91). Unklar».

Другие сближения: 1) с др.-в.-нем. *zwangan* «колоть, щипать», ирл. *dedaig* «oppressit» (Windisch, «Kuhns Zeitschrift», XXIII 207, Stokes, BB, XXI 128); 2) с др.-в.-нем. *zwigōn* «щемить» (Uhlenbeck, PBB, XXII 542); 3) с др.-в.-нем. *wīhhan* «уступать», др.-инд. *vēyas* «дрожание, энергичное движение», *vējate* и другими образованиями от **u̯ei-g-*, соединившегося еще в дославянское время с префиксом *ad-* и утратившего начальное *a-* (Berneker, I 240). — Неясно Miklosich, 53, Преображенский, I 175, Brückner, 114.

dъbolь m: словацк. *dbol* «улье» (собственно «выдолбленный древесный ствол»), *dbolec*

< и.-е. **dhŭbh-* «быть полым», см. *dъbrь*.

Štrekelj (Afslph, XXVIII 499) видит в этимологизируемом слове новообразование из сочетания **ze zdbolu*; см. *stvolъ*.

icha f: словенск. *îha* «буря», *îhati* «ворчать»

< и.-е. **eis-* «шуметь, кричать»; ср. литовск. *aišiõti* «выть (о сове)».

izokъ m: ст.-церковнослав. *изокъ* «цикада, кузнечик, сверчок», русск.-церковнослав. и др.-русск. *изокъ*

< и.-е. **oiĝ(h)-* «звучать, шуметь, трещать, стрекотать»; ср. литовск. *áižėti* «трескаться, лупиться», *áiženotis*, *aižýti* «лущить (горох), снимать кожуру», *eiženõti* «трескаться, лопаться», *eižti* «шелушить», *lžti* «лущиться, разрушаться», *ižūs* «рыхлый, рассыпчатый».

Matzenauer (LF, VIII 15) сближал этимологизируемое слово с литовск. *šõkti* «прыгать» (Потебня, К истории звуков, IV 62) с греч. αἴξ «коза», а Berneker (I 440; ср. также Преображенский, I 266) выводит его из *iz-oko-* «насекомое с выступающими глазами». — Неясно Miklosich, 97.

**jasmy* m: русск. *ясмённик* «растение Asperula (odorata)»; . . .

< и.-е. **oikm-* «нечто острое»; ср. прусск. *aysmis* «копье», литовск. *iẽšmas* «вертел», латыш. *ìesms*, греч. αἰχμή «острие копья». — Schmidt, Vokalismus, I 76, Meillet, Mémoires de la Société de linguistique de Paris, VIII 299, Walde, KZ, XXXIV 477, Trautmann 4 (все без русского слова).

klěviti vb: русск. диал. (арханг., холмог., шенкур., вят., великоуст., иркут., уржум., яросл.) *клевúть* «побуждать к плачу»; — сильная ступень русск. диал. (вологод., арханг., холмог., шенкур.) *кливúть* «побуждать к плачу»

< и.-е. **klei-u̯-* «шуметь, кричать», распространения корня **klei-* в *klikъ*, см. этимологию.

lava f: русск. *лáва* «казачий строй в нападении полукругом в одну шеренгу»; польск. *ob-ława* «порядок войска в походе; выгон зверя: тенета»; укр. *облáва* «толпа, окружающая что-либо»; русск. *облава* «выгон зверя большим количеством людей», *облавщик* «загонщик»

< и.-е. **lōu-* «рвать, хватать, охотиться». — См. *loviti*. Matzenauer (399, Miklosich, 218), неуверенно Преображенский (I 628) и Brükner (371) выводят *oblava* из ср.-в.-нем. *abelouf* (ново-в.-нем. *Ablauf*); русск. *лава* Преображенский (I 426) относит сюда неуверенно.

lotiti vb: словенск. *lotîti se* «приниматься, браться за что»; — удлиненная ступень сербо-хорв. *lãtiti* «схватить», ∾ *se* «приняться» (— *posla* «за дело»), «заступиться», словенск. *látiti se*; словенск. *látati se* «предпринимать, стараться», сербо-хорв. *lãcati* «приниматься, хватать», словенск. *lâčati se*

< и.-е. **lŏ-t-* «вожделеть, хотеть, хватать»; ср. др.-инд. *lấti* «хватает, схватывает» < *lŏ-*; ср. его параллельные расширения *lŏd-*, *lŏs-*, *lŏg-*.

— Неточно Berneker (I 694), неясно Miklosich (174).

О. Н. Трубачев

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

АРАБСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Важнейшими центрами языкознания в арабских странах являются Каир, Бейрут и Дамаск, где все чаще появляются работы, посвященные рассмотрению различных языковых проблем — как общих, так и частных. Известно, что арабское языкознание имеет старые традиции: наука об арабском языке была у средневековых арабов одной из ведущих и наиболее разработанных наук. Однако последовавшее затем некритическое отношение к теориям средневековых ученых привело к длительному застою в арабском национальном языкознании, последствия которого весьма ощутимы и поныне. «Болезнь арабского языка во всех арабских странах — это болезнь укоренившегося реакционного классицизма», — говорит египетский писатель С. Муса [1]. В настоящее время хотя и медленно но непрерывно идет освобождение от старых, косных языковедческих традиций. Расширяется сфера исследований, изменяются их методы, материал и целенаправленность. Проблемы языка обсуждаются не только в узколингвистических работах, но и в периодической печати [2].

Языковедческая работа начинает принимать более планомерный и всеобъемлющий характер. Этому должно способствовать оживление деятельности академий арабского языка в Дамаске (основана в 1918 г.), Каире (основана в 1932 г.), Багдаде (основана в 1947 г.). Их задача — следить за тем, чтобы арабский язык отвечал потребностям современной жизни, в особенности же — содействовать пополнению арабского языка современной научно-технической терминологией. Несмотря на большие усилия, приложенные в этой области указанными языковыми учреждениями и отдельными лицами, проблему «терминологического голода» пока никак нельзя считать решенной [3]. Академии предполагают также вести работу над составлением словарей (в чем ощущается особенно острая необходимость), над изучением диалектов и письменных литературных памятников. В целях всесторонней координации деятельности академий был созван конгресс академий 29 сентября — 5 октября 1956 г., на котором было принято решение основать союз академий арабского языка [4].

Разработка различных проблем арабского языка на современной научной основе включает в себя прежде всего внедрение в их изучение современной методологии. «Фонетика и общее языкознание как научные дисциплины еще не проникли к нам», — пишет А. Фрайха в своей работе «Упрощение правил арабского языка», посвященной рассмотрению методов обучения арабскому языку в арабской школе [5]. Поэтому приветствуется каждая новая попытка, направленная на объяснение особенностей арабского языка с позиций современного языкознания. Большое значение придается книгам, которые излагают положения общего языкознания. В этой области давно работает

---

[1] Салāма Мӯсā, Ал-балāга ал-'аṣрийийа ўа-л-луга ал-'арабийийа, 2-е изд., Каир, 1955, стр. 53.

[2] Из журналов, часто обращающихся к вопросам языка, отметим: бейрутские — «Аṣ-Ṣакафа ал-ўаṭанийийа», «Ал-'Адаб», «Аṭ-Ṭарӣк», «Ал-Машрик», «Аль-Адӣб»; каирские: «Ал-Хилāл», «Ар-Рисāла ал-джадӣда», «Ал-Хадаф».

[3] Об изысканиях в области арабской научно-технической терминологии см.: Мусṭафā аш-Шахāби, Ал-мусṭалаḥāт ал-'илмийийа фи-ллуга ал-'арабийийа фил-ḳадӣм ўа лḥадӣс (Научные термины в арабском языке раньше и теперь), Бейрут, 1955; Мусṭафā Джаўāд, Ал мабāḥиṣ ал-луґаўийийа фи-л-'ирāк (Лингвистические исследования в Ираке), Каир, 1955; Исма'ил Мазхар, Тадждӣд ал 'арабийийа биḥейсу туṣбиḥу ўāфийа би-маṭалиб ал-'улӯм ўа-л-фунӯн (Обновление арабского языка с тем, чтобы он отвечал требованиям науки и техники), Каир, б. г., и др. Многочисленные статьи на эту тему были опубликованы в журналах каирской и дамасской академий.

[4] Подробно деятельность конгресса освещена в «Маджаллат ал-маджма' ал-'илмийй ал-'арабийй» (1957, т. 32, ч. I).

[5] Анӣс Фрайха, Табсӣṭ ḳаўа'ид ал-'арабийийа, Бейрут, 1952.

д-р А. А. Вафи, учебники которого по общему языкознанию выдержали несколько изданий [1]. Эти учебники, страдающие, правда, некоторой растянутостью и описательностью, составлены с использованием многочисленных европейских и национальных работ. Необходимо упомянуть также книги «Философия языка» К. ал-Хаджжа и «Зарождение языка» А. Р. ал-Амили [2]. Подобные работы дают учащимся ясное представление об уровне развития современной науки о языке. Как правило, в книгах этого типа, кроме того, рассматриваются различные проблемы арабского языка, в особенности связанные с его послемусульманской историей. Но пока еще трудно указать крупные теоретические работы в области арабского языкознания (будь то литературный язык или диалекты), авторы которых целиком бы восприняли современную методологию. Между тем вполне очевидна необходимость таких трудов, ибо только на основании их может быть положено начало «коренной революции в методах обучения арабскому языку и пересмотру распределения его правил» [3].

В 1950 г. появилась первая в современном арабском языкознании «Фонетика», принадлежащая перу И. Аниса (сам автор называет ее в предисловии фонологией) [4]. В ней хорошо описаны фонетические закономерности арабского языка. При написании книги И. Анис использовал работы современных фонетистов, а также труды многочисленных средневековых арабских ученых, исследовавших с большой тщательностью и уменьем систему звуков арабского языка.

Из последних работ арабских языковедов интересна книга «Словопроизводство» А. Амина, занимающегося этим вопросом в продолжение многих лет. Автор детально излагает учение о производстве арабских слов, как оно представлено в классической арабской филологии. Определение словопроизводства как «образования слова от другого слова или слов с сохранением связи между производным и производящим по форме и значению» [5] позволило А. Амину включить сюда также и элементы словоизменения (например, спряжение глагола). Четыре главы книги посвящены четырем способам производства слов в арабском языке. В первой главе рассматривается так называемое «малое словопроизводство» (ал-'иштиқāқ аç-çагӣр) — образование слова от другого слова с изменением его формы, но без изменения порядка коренных согласных и с сохранением связи производящего и производного слов по значению. Таким образом, сюда включаются глагольное словоизменение (частично) и типы производных глаголов и имен. Вторая глава посвящена «более крупному словопроизводству» ('ал-'иштиқāқ ал-кабӣр) — производству слов с изменением коренных согласных из-за близости «месторождений звуков» (т. е. мест артикуляции) с сохранением связи таких слов по значению. Такое явление А. Амин называет «лексической заменой» ('ибдāл лугаўийй). Третья глава трактует вопросы «большого словопроизводства» (ал-'иштиқāқ ал-кубāр) — образования слов с изменением порядка (пересталовкой) коренных согласных и с сохранением между производящим и производным сходства по значению (например, *джазаба* и *джабаза* «тянуть»). В четвертой главе рассматривается «самое большое словопроизводство» (ал-'иштиқāқ ал-куббāр), или «высекание» (нахт), как автор называет образование слова из двух и более слов с опущением ряда коренных производящих основ и сохранением связи по значению между производным и производящим (т. е. арабское словосложение). Недостатком такой классификации является, на наш взгляд, смешение живых и мертвых явлений «живого» словопроизводства и корнеобразования (процесс закончившийся). Автор уделил большое внимание производству глаголов от имен. В книге даны обширные цитаты из древних авторов. Книга имеет приложение «Словопроизводство в арамейском и древнееврейском языках» (стр. 448—460).

Диалектология — самая молодая наука из отраслей национального арабского языкознания. Одним из ее основоположников был М. Фегали, профессор арабского языка в Бордо (ливанец по происхождению), изучавший сероливанские диалекты [6].

---

[1] 'Алӣ 'абд ал-Ўāхӣд Ўāфӣ, 'Илм ал-луга (Наука о языке), 3-е изд., Каир, 1950; его же, Фикх ал-луга (Законоведение языка), 4-е изд., Каир, 1956. Первая из работ рассматривает вопросы общего языкознания, вторая посвящена изложению истории семитских языков и в особенности арабского языка. См.: его же, Ал-луга ўа л-муджтама' (Язык и общество), 2-е изд., Каир, б. г., его же, Наш'ат ал-луга 'инда л-инсāн ўат-тифл (Возникновение языка у человека и ребенка), Каир, б. г.

[2] Камāл ал-Хāжж, Фалсафат ал-луга, Бейрут, 1956; 'Ахмад Рида ал-'Амилӣ, Маўлид ал-луга, Бейрут, 1956.

[3] Анӣс Фрайха, указ. соч., стр. 18.

[4] 'Ибрахӣм 'Анӣс, Ал-асўāт ал-лугаўийа, Каир, 1950.

[5] 'Абдуллāх 'Амӣн, Ал-'иштиқāқ, Каир, 1956, стр. 1.

[6] Из работ М. Фегали назовем: M. Feghali, Etude sur les emprunts syriaques dans les parlers arabes du Liban, Paris, 1918; его же, Le parler de Kfar-Abida, Paris, 1919; его же, Syntaxe des parlers Arabes actuels du Liban, Paris, 1928.

Из современных лингвистов те же диалекты изучает А. Фрайха, профессор семитских языков в американском университете в Бейруте. Интересен его опыт этимологического словаря ливанского диалекта [1]. Материал для этого словаря был собран на родине его автора — Рāс аль-Мати (к востоку от Бейрута); были использованы также газеты и небольшие сборники, выходившие в Бейруте на исследуемом диалекте. Автор особо остановился на большом влиянии арамейского языка на ливанские диалекты, сказавшемся в наличии общих форм личных местоимений, форм настоящее-будущего времени глагола, общей лексики и синтаксических конструкций (общность последних, по мнению А. Фрайха, является особенно важным доказательством взаимодействия языков). Основываясь на том, что слова в диалекте обладают более ограниченным числом значений, А. Фрайха считает, что во многих случаях диалектальные значения слов являются основными, исходными. Без предварительного изучения диалектальной лексики, указывает автор, невозможно составление научно обоснованного исторического словаря арабского языка. Недостатком разбираемого словаря, как и других арабских работ по диалектологии, является отсутствие фонетической транскрипции (материал регистрируется в арабской графике, что не дает правильного чтения, в особенности — по составу гласных). Тому же автору принадлежит прекрасный сборник ливанских народных пословиц (4248 пословиц), записанных в Рас аль-Мати [2]. Сборнику предпослано теоретическое введение. Пословицы расположены в порядке букв арабского алфавита и снабжены переводами на английский язык, а в необходимых случаях и комментариями [3]. Заслуживает внимания также сборник египетских пословиц, собранный разносторонним филологом покойным А. Теймуром (пашой) [4]. Сборник включает 3188 пословиц с арабскими комментариями. А. Теймур составил также словарь египетского диалекта, который в настоящее время готовится к печати Комиссией по опубликованию сочинений Теймура. Разновременно ряд статей, посвященных арабской диалектологии, был опубликован также в журналах каирской и дамасской академий арабского языка.

Проявляется интерес к прошлому арабских диалектов. Основным источником для работ по древним арабским (или, точнее, аравийским) диалектам являются многочисленные филологические и исторические труды средневековых арабских авторов, в которых время от времени встречаются сведения об отдельных характерных фонетических и лексических явлениях в языке некоторых древнеаравийских племен. Первым опытом в указанной области является книга каирского профессора И. Аниса «Об аравийских диалектах», в основной своей части посвященная выяснению фонетических закономерностей древних диалектов [5]. И. Анис отмечает, что многие факты древних диалектов соответствуют фактам современных диалектов, и поэтому выражает мнение, что всестороннее изучение современных диалектов также будет способствовать воссозданию картины состояния и развития древних диалектов. Автор делит древнеаравийские диалекты на две большие группы: диалекты оседлых и диалекты кочевых племен, что хорошо подкреплено фактическим материалом (стр. 80—120) [6]. Но его объяснения некоторых фонетических закономерностей нельзя считать вполне удовлетворительными (см., например, объяснение вариантов вокализации характером кочевого бедуина и оседлого жителя). В книге рассмотрены многие диалектальные явления, как, например, разного рода ассимиляции и диссимиляции (глава 3-я), ударение (глава 4-я), расхождения в морфологических структурах слов, в частности в их вокализации (глава 5-я), а также некоторые проблемы лексики (синонимия, омонимия, энантиосемия) в связи с вопросом о формировании словаря классического арабского языка на диалектальной основе (глава 6-я). В заключительной, 7-й, главе рассматриваются закономерности возникновения чисто диалектальной лексики на базе литературной вследствие действия ряда фонетических законов (ослабление эмфатических, оглушение звонких, назализация губных, взаимозамещение плавных, диссимиляция редуплицированных, транспозиция, редупликация, а также словосложение), которые в значительной части были присущи и литературному языку в процессе его исторического

---

[1] 'Анӣс Фрайха, Му'джам ал-'алфāз ал-'āмиййа фи-л-лахджа ал-лубнāниййа, Бейрут, 1947.

[2] 'Анӣс Фрайха, Ал-'амçāл ал-'āммиййа ал-лубнāниййа мин Рāс ал-Мати, ч. 1—2, Бейрут, 1953.

[3] А. Фрайха является также автором двух работ по арабской этимологии: 1) «'Асмā' ал-'ашхур фи л-'арабиййа ўа ма'āнӣха» (Названия месяцев в арабском языке и их значения), Бейрут, 1952; 2) «'Асмā' ал-мудун ўа л-қурā ал-лубнāниййа ўа тафсӣр ма'āнӣха» (Названия ливанских городов и селений и объяснение их значений), Бейрут, 1956.

[4] 'Аҳмад Теймӯр (паша), Ал-'амçāл ал-'āммиййа, 2-е изд., 1956.

[5] 'Ибрāхӣм 'Анӣс, Фи-л-лахджāт ал-'арабиййа, 2-е изд., Каир, 1952.

[6] Ср. разделение диалектов на западноаравийские и восточноаравийские в кн.: Ch. Rabin, Ancient West-Arabian, London, 1951. Данная книга по своей теме очень близка к работе И. Аниса, и обе хорошо дополняют друг друга.

развития. Однако некоторые из этих регулярных изменений автор пытается объяснить как результат ошибок индивидуальной речевой деятельности (особенно детской, а также — из-за трудностей артикуляции, «ослышек», неправильного членения фраз). Несмотря на некоторые недостатки в теоретических обобщениях, книга И. Аниса представляет интерес как хороший почин в деле разработки национальной исторической диалектологии.

Из изложенного видно, что в любой работе современного арабского лингвиста важное место занимают материалы из трудов предшественников. Неслучайно поэтому появление исследований, авторы которых пытаются определить значение таких источников для современного языкознания, обозначить их достоинства и недостатки. В этом плане привлекает внимание докторская диссертация Х. Нассара «Арабский словарь, его возникновение и развитие»[1], которая является первой попыткой изложить полную историю арабской лексикографии. Х. Нассар выделил 4 школы в истории арабского словаря. Каждая из них характеризуется общностью приемов в расположении лексического материала в словаре. Автор старается выявить преемственность школ. Значительное место в первой части книги (стр. 37—190) уделено типам арабских словарей (словари непонятных речений корана и хадисов, словари заимствований, двуязычные словари, словари, регистрирующие диалектальные отклонения, терминологические словари, словари редких слов, словари грамматические и т. д.). Затем описываются словари каждой школы (от «Книги 'айна» Халиля до бейрутских словарей иезуитов), при этом Нассар привлекает большое количество рукописей (преимущественно из каирских хранилищ). В заключение автор касается недостатков национальных толковых словарей и излагает мнение о той лексикологической работе, которая должна быть проведена безотлагательно (составление исторического словаря арабского языка, различных по объему толковых словарей, терминологических словарей по отдельным отраслям знания и пр.). Книга имеет хороший справочный аппарат (приложены указатели собственных имен языковедов и названий сочинений, упомянутых в работе, а также указатель географических названий). Недостатком книги является излишняя пространность описаний. В некоторых случаях сведения, даваемые автором, неполны или не соответствуют действительности (см., например, стр. 94, где даны носящие характер курьеза сведения о составителе «Арабско-русского словаря» Х. К. Баранове).

Переиздаются лучшие работы средневековых филологов. Из них следует особо отметить громадный (в 65 частях) словарь «Язык арабов» Ибн-Манзура, географический словарь Якута, «Классы грамматиков и лексикологов» Зубейди[2] и др.

В арабском мире ощущается острая потребность в различных словарях. Это в первую очередь различные терминологические словари, которые время от времени появляются в разных арабских странах[3]. Работа над общими словарями сейчас мыслится как коллективная. Каирская академия арабского языка заканчивает подготовку к печати толкового словаря современного арабского языка (Ал-му'джам ал-ўасийт). В печати высказывается мнение, что в составлении нормативного толкового словаря арабского языка должны принять участие представители всех арабских стран, поскольку в различных странах имеются расхождения в лексике (в особенности в терминологии). В свет вышел первый, пробный, том (400 стр.) впервые выпускаемого большого исторического словаря арабского языка. Он разослан для обсуждения в соответствующие научные учреждения.

Здесь перечислены лишь доступные нам работы последних лет по арабскому национальному языкознанию. Изложенное достаточно отчетливо выясняет основные тенденции его развития и показывает, что самым существенным вопросом в арабском национальном языкознании в настоящее время является вопрос повышения его теоретического уровня.

В. М. Белкин

---

[1] Хусейн Нассар, Ал-му'джам ал-'арабийй, ч. 1—2, Каир, 1956.

[2] Ибн-Манзўр, Лисан ал-'араб, ч. 1—65, Бейрут, 1954—56; Йакўт ал-Хамаўй, Му'джам ал-булдан Бейрут. 1955 (следует отметить, что за основу здесь принято лейпцигское издание Вюстенфельда); Абў Бакр аз-Зубейди, Табакат ан-нахўийин ўа-л-лу'аўийийин. Каир, 1954.

[3] Амин ал-Ма'лўф, Ал-му'джам ал-фалакийй (Астрономический словарь), Каир, 1935; Бишр Фарис, Мусталахат фи т-тасўир (Термин изобразительного искусства), Каир, 1945; 'Аднан ал-Хатиб, Лугат ал-канўн фи д-дуўал ал-'арабийя (Язык закона в арабских государствах), Дамаск, 1952; Мунир ал-Хазин, Му'джам мусталахат 'илм ан-нафс (Словарь терминов по психологии), Бейрут, 1956 и др.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ КАРАИМСКОГО ЯЗЫКА

Среди многочисленных тюркоязычных народов Советского Союза едва ли не самым небольшим по количеству народом (если не считать карагасов-тофаларов в Сибири, насчитывающих 400 человек) являются караимы, которые в настоящее время живут уже главным образом отдельными семьями среди других народов в Крыму, в меньшей степени на Кавказе, а также в Москве, Ленинграде и других городах; только в Литовской ССР в г. Тракае и отчасти в Поневежюсе они сохранили своеобразные общины, которые ныне также постепенно распадаются.

Караимы составляют в настоящее время небольшую этническую группу, весьма интересную для науки как в отношении этнографических особенностей, так и в отношении языка. Именно данные караимского языка являются одним из наиболее ярких исторических памятников истории языков тюркских народов. Дело в том, что фонетическая структура современного караимского языка, его лексика и грамматический строй сохраняют следы древнейшего состояния тюркских языков и позволяют сближать караимский язык с тюркскими языками весьма древних народов. Так, алфавитная система древнетюркского языка енисейско-орхонских надписей свидетельствует о наличии в древнетюркском языке пар палатализованных и непалатализованных звуков для большинства согласных, т. е. она отмечает ту же фонетическую структуру, что и в современном караимском языке.

В области лексики, особенно в старых караимских переводах библии, обнаруживаются слои весьма древнего состояния, отражающего также древнебулгарские формы слов, не сохранившиеся в других тюркских языках. Караимская лексика содержит значительное количество слов, отражающих терминологию таких отраслей, как сельское хозяйство, пчеловодство, военное дело и пр., слов, характерных также и для древних булгар, но замененных в других тюркских языках, как правило, заимствованной лексикой из персидского, арабского и других языков. Грамматический строй караимского языка характеризуется весьма интересным синтаксисом и своеобразной морфологией, которая получила довольно полное описание в трудах польских тюркологов, изучавших также лексику и фонетику караимского языка. См., например, описание фонетических особенностей и грамматики тракайского диалекта, данное Т. Ковальским [1]; очерк грамматики караимского наречия луцких и галицких караимов А. Зайончковского [2]; словарь караимского наречия луцких и галицких караимов Г. Мардковича [3]; монографию А. Зайончковского по словообразованию в караимском языке (трокских, луцких и галицких караимов) [4]; издания текстов на тракайско-поневежском и галицко-луцком диалектах, а также отдельные статьи и историко-лингвистические исследования [5].

Изучение караимского языка привлекало внимание и наших крупнейших тюркологов (см. известные работы В. В. Радлова, Н. Ф. Катанова, А. Н. Самойловича, В. А. Гордлевского и др.). В результате по караимскому языку и истории караимского народа существует довольно значительная литература. Большой интерес к караимскому языку, проявленный в свое время академиками В. В. Радловым, В. А. Гордлевским и многими другими русскими и польскими учеными, сохранится по настоящее время еще и потому, что изучение этого языка связано с разрешением так называемой хазарской проблемы, которая в свою очередь находится в тесной взаимосвязи с ре-

---

[1] T. Kowalski, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków, 1929; его же, Język karaimski, «Myśl, karaimska», Wilno, 1926, № 3.

[2] A. Zajączkowski, Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (narzecze łucko-halickie), Łuck, 1931. (В брошюре дана библиография.)

[3] A. Mardkowicz, Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski, I—II, Łuck, 1935.

[4] A. Zajączkowski, Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodnio-karaimskim, Kraków, 1932.

[5] Например: T. Kowalski, Materjały karaimskie s. p. Jana Grzegorzewskiego, «Myśl karaimska», Wilno, 1934, № 10; его же, Najpilniejsze zadania karaimoznawstwa, «Myśl karaimska», Wilno, 1936, № 11; A. Zajączkowski, Literatura karaimska, «Myśl karaimska», Wilno, 1926, № 3 (дана библиография).

шением ряда вопросов истории смежных с хазарами славянских и балтийских народов — русских, поляков, литовцев и др. Естественно поэтому, что особое внимание привлекает к себе изучение старокараимской лексики, имеющей весьма большое значение не только для истории караимского языка и истории народа, говорящего на этом языке, но и для истории всех тюркских языков [1].

В текущем 1957 г. завершается работа крупнейшего в СССР специалиста по караимскому языку доктора филол. наук проф. С. М. Шапшала (Ин-т истории АН Литовск. ССР) по составлению старокараимско-русского словаря. Словарь содержит около 5 тысяч караимских слов (с русским переводом и указаниями на источники), извлеченных автором главным образом из старых караимских переводов библии, относящихся к XVII—XIX вв.

В настоящее время вопросами изучения караимского языка и истории караимов занимаются: в Москве, в Институте языкознания АН СССР — караимской диалектологией и библиографией, в Институте востоковедения — картотекой караимско-русского словаря; в Одессе — сравнительной фонетикой, грамматикой и лексикологией караимских наречий — И. Я. Нейман; в Вильнюсе, в Институте истории АН Литовск. ССР — главным образом караимской лексикологией и лексикографией — С. М. Шапшал; в Тракае — лексикографией и собиранием рукописей и литературы на караимском языке — С. А. Фиркович.

За рубежом значительными центрами караимоведения являются Варшава и Краков, где ведется работа над словарем лексики древних караимских переводов библии по спискам, находящимся в Польше (В. И. Зайончковский).

Таким образом, вопросы караимского языка, как видно из обзора истории изучения и современного состояния научно-исследовательской работы по этому языку, представлены довольно разнообразной проблематикой: историей языка, его диалектологией, вопросами грамматического строя, лексикологией и лексикографией. Однако работа по караимскому языку и его истории до сих пор велась разобщенно и неорганизованно.

В настоящее время предприняты шаги по объединению усилий всех специалистов-караимоведов в работе, результаты которой представляли бы интерес как для лингвистов, так и для историков. Принято решение о составлении караимско-русского словаря, в котором должна быть отражена и вся современная лексика караимов по всем диалектам и наречиям, и вся старая лексика, содержащаяся в древних списках караимских переводов библии.

Следует отметить, что некоторая подготовительная работа уже проведена. Имеется, во-первых, небольшой, но отражающий основной фонд лексики словарь луцко-галицкого наречия Г. Мардковича, во-вторых, довольно полный и прекрасно выполненный словарь Т. Ковальского в его монографии по тракайскому диалекту, в-третьих, картотека караимско-русского словаря (крымского наречия), хранящаяся в Ленинграде в Институте востоковедения АН СССР, представляющая собой выборку из радловского словаря тюркских наречий. Значительная работа уже проведена и по выборке лексики из старых переводов (упомянутый выше словарь С. М. Шапшала и краковская картотека).

Наконец, особо должна быть организована работа по дальнейшей выборке лексики как живого караимского языка (по диалектам тракайскому, луцкому и галицкому), так и письменного языка. Вся лексика словаря должна быть строго документированной и должна иметь специальную систему помет, указывающих на происхождение данного слова. Такой словарь может быть поднят только усилиями всех караимоведов СССР с привлечением соответствующих специалистов из Польши. Организация и осуществление работы по предлагаемой теме возложены на Академию наук СССР (Институт языкознания, Сектор тюркских языков) и Академию наук Литовск. ССР (Институт истории). В предварительном обсуждении (в Секторе тюркских языков Института языкознания АН СССР — апрель 1957 г.) путей создания словаря и круга его источников принял участие и чл.-корр. Польской Академии наук проф. А. Зайончковский, полностью поддержавший идею участия в работе по этому словарю Польской Академии наук.

Н. А. Баскаков

---

[1] О необходимости разработки специального старокараимского исторического словаря см. статью акад. В. А. Гордлевского «Лексика караимского перевода Библии» («Докл. АН СССР», В, 1928, № 5).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

РЕЦЕНЗИИ

P. C. Paardekooper. **Syntaxis, spraakkunst en taalkunde.** — Den Bosch, 1955. 311 стр.

Книга П. К. Паардекопера «Синтаксис, грамматика и языкознание» дает возможность выявить установки малоизвестной у нас голландской школы «структурной лингвистики» и вскрыть ее точки соприкосновения и ее расхождения с другими известными направлениями структурализма (в частности, с американской школой Блумфилда и сторонниками «глоссематики» Л. Ельмслева). Уже само название книги Паардекопера свидетельствует о широком охвате общелингвистических проблем, а также вопросов построения системы грамматики (в частности, относительно мало разработанного в структуральном плане синтаксиса).

И хотя Паардекопер, как будет показано ниже, занимает по ряду принципиальных и частных вопросов теории языка довольно противоречивую и эклектическую позицию, в его лингвистической концепции прежде всего нашло отражение послужившее общей теоретической базой для всех школ современного структурализма учение Ф. де Соссюра. Об этом свидетельствуют как само построение книги Паардекопера, так и ее основные положения (принятие соссюровской терминологии в трактовке языкового знака, т. е. выделение «означаемого» и «означающего», понимание языка и письма как двух различных систем знаков, понятие «престижа письма», стирание граней между морфологией и синтаксисом, синтаксисом и лексикологией, четкое разграничение синхронии и диахронии и т. п.).

Книга Паардекопера состоит из «Введения» (стр. 1—51), трех основных разделов — «Собственно грамматика» (стр. 52—193), «Языки в их взаимосвязи» (стр. 194—250), «Наше отношение к языкам» (стр. 251—293) — и краткого резюме, подводящего итоги исследованию. Каждый раздел распадается в свою очередь на ряд глав, посвященных отдельным более частным вопросам.

Стержневым является первый, грамматический раздел книги, представляющий собой синхроническое описание основных структурных особенностей предложения современного голландского языка. Такое внимание Паардекопера к предложению вполне объяснимо, если учесть один из его основных тезисов: «Язык — это грамматика, грамматика — это в первую очередь синтаксис, синтаксис же является прежде всего учением о предложении, типологией предложений» (стр. V)[1]. В данном разделе отнюдь не дается систематического изложения всех синтаксических проблем, а выделяются лишь те из них, которые наиболее существенны для структурного анализа.

Общелингвистическим вопросам посвящены «Введение» и частично два последних раздела книги Паардекопера (при этом приводится иллюстративный материал из голландского языка). Занимая в объемном отношении подчиненное место, они служат главным образом целям обоснования общих положений и принципиальных установок автора.

Определяя в I главе «Введения» (стр. 1—10) язык как «систему наделенных значением звуковых комплексов, которая используется для духовного контакта людей между собой» (стр. 2), Паардекопер отграничивает его от других звуковых сигналов и от «языка жестов», подчеркивая тем самым его социальный и звуковой характер, а также необходимость изучения языка как объекта особой науки. Здесь же автор устанавливает место языкознания среди других смежных наук (литературоведения, истории, психологии, этнографии и др.).

Во II главе «Введения» (стр. 11—27) рассматривается понятие «языковой структуры» и обосновывается системный характер языка. Структурный анализ всякого «языкового высказывания»[2] автор начинает с рассмотрения предложения; в качестве промежуточного звена между предложением и членом предложения вводится понятие «группы членов предложения». Основными элементами структуры как предложения,

---

[1] В вопросе о соотношении синтаксиса и морфологии Паардекопер следует Ф. де Соссюру (см. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, перевод с франц. М., 1933, стр. 130).

[2] Под «языковым высказыванием» понимается минимальная единица устной речи (отнюдь не письменной формы языка) (стр. 296).

так и члена предложения являются категории парадигмы, или «грамматической группы», и синтагмы. Отношения, выражаемые этими категориями, трактуются автором в плане соссюровских ассоциативных и синтагматических отношений. Понятия парадигмы и синтагмы распространяются как на предложения и словосочетания, так и на члены предложения. Паардекопер делает попытку определить понятие члена предложения, отождествляя его с понятием парадигмы, входящей в состав предложения [1].

Структурный анализ предложения завершается выделением слова, или языкового знака. Определения слова автор также не дает, ограничиваясь лишь указанием на то, что эта единица языка носит совершенно иной характер, чем фонема. Как и Блумфилд, Паардекопер под фонемой понимает «минимальную единицу, которую говорящий может различить как элемент противопоставления, как звук речи» (стр. 22). Следуя Вандриесу и полемизируя с де Гротом, Паардекопер, вопреки своим структуралистическим установкам, принимает для понятия корневой морфемы термин «семантема». Обычные определения морфемы автор в VI главе критикует как имеющие ряд противоречий. Понимая под морфемой лишь некорневую часть слова, выражающую значение отношения, он по сути дела отказывается в своей работе от этой категории как от основного лингвистического понятия. Растворяя морфологию в синтаксисе, он оперирует главным образом синтаксическими категориями. Этим Паардекопер отличается от представителей дескриптивной лингвистики, придающих большое значение понятию морфемы в построении грамматики.

Пытаясь обосновать возможность обойтись без понятия морфемы, он утверждает, что «оппозиции морфем» не связаны или мало связаны с грамматической значимостью. Они не имеют самостоятельного существования и являются лишь частью «оппозиции парадигм».

Переходя к методам описания языка (II глава «Введения»), Паардекопер допускает возможность двоякого подхода к нему: исходным моментом может служить «означающее», с которым связывается определенное «означаемое» (т. е. значение), или «означаемое», на основе которого в этом случае будет рассматриваться соответствующее «означающее». Выступая за анализ системы языка с точки зрения его формальной стороны («означающего»), автор приводит в пользу такого подхода ряд аргументов. Важнейшим из них, по его мнению, является обнаруживаемый в этом случае параллелизм между сферами «означающего» и «означаемого», т. е. наличие формального противопоставления («оппозиции») двух парадигм (например, форм существительного в единственном и множественном числе), сопровождаемое противопоставлением двух соответствующих значений (ср. аналогичную двуплановость в концепциях Ельмслева, Куриловича и других структуралистов). Отмечая двусторонность языкового знака и подчеркивая большую значимость формальной стороны при анализе системы языка, Паардекопер, однако, обнаруживает тенденцию к рассмотрению этих двух сфер в отрыве друг от друга как двух параллельных рядов, как сходных по своей структуре сторон языка без учета их структурной специфики и взаимосвязи. Роль лексического значения слова и вообще семантики при этом явно принижается.

В III главе «Введения» (стр. 28—45) классифицируются фонемы как единицы, из которых складывается структура «означающего». Признавая вслед за Ф. де Соссюром и другими структуралистами, что «язык есть в первую очередь форма, а не субстанция» (стр. 29), и считая, что самое важное — это наличие «оппозиций» между фонемами, а не способы, которыми эти противопоставления выражаются в звуковой субстанции, Паардекопер все же не отвергает полностью фонетического подхода при изучении фонем (хотя фонетическая классификация базируется исключительно на субстанции), в чем также проявляется эклектичность точки зрения автора. С другой стороны, он подвергает критике фонологическую интерпретацию звуковых комплексов. Будучи сам видным голландским фонетистом и опираясь в основном на положения Ельмслева, Куриловича и Трубецкого по вопросу о фонемной структуре слова, он делает тем не менее ряд критических замечаний о возможностях конкретного применения этих положений к голландскому языку. Там же дается определение понятий экстенсивности и интенсивности (термины копенгагенской школы структурализма) применительно к фонемам (стр. 44); применительно к грамматическим категориям эти понятия раскрываются в VI главе работы.

В IV главе «Введения» (стр. 46—51) Паардекопер дает свою трактовку понятий формы и субстанции. Примыкая в оценке роли формы к точке зрения Ельмслева, Паардекопер, однако, неоднократно подчеркивает свое несогласие с полным игнорированием роли субстанции, характерным для копенгагенской школы. Языковой субстанцией, по мнению Паардекопера, является по-преимуществу звук (стр. 45). При этом признается, что звуковая субстанция — не нечто случайное, а существенная сторона языка.

---

[1] При этом парадигма определяется следующим образом: «Парадигма — это всё то, что характеризуется определенными правилами местоположения» (стр. 15). Критику определений парадигмы и синтагмы у Паардекопера см. в рецензии Дж. Марченда на эту книгу («Language», vol. 32, № 3, Baltimore 2, Md., 1956, стр. 480—481).

Это признание специфики языка наряду с вышеупомянутым выделением языкознания в особую науку является несомненно положительным моментом в концепции Паардекопера и выгодно отличает его от представителей копенгагенской школы.

V глава книги (стр. 52—58) вводит нас в первый основной раздел, посвященный вопросам «собственно грамматики». В этой главе излагается важнейшая, по мнению автора, грамматическая проблема сочетаемости (связи) элементов внутри предложения. Структура предложения анализируется Паардекопером по той же схеме, какую он применяет к фонемному анализу структуры слова. Таким образом, критикуя копенгагенскую школу и Куриловича за их теорию «изоморфизма», за признание ими полного параллелизма между структурой слова и структурой предложения (т. е. фактически за непонимание ими специфики слова как основной единицы языка) Паардекопер останавливается на полпути, усматривая все же между этими структурами наличие некоторого параллелизма и обосновывая тем самым необходимость применения одного и того же метода структурного анализа и к слову, и к предложению.

Здесь мы впервые встречаемся с «рабочим» определением предложения: предложение — это «минимальное языковое высказывание, после которого мы можем прервать нашего собеседника, не показавшись невежливым» (стр. 56). В данной дефиниции, которая, конечно, никоим образом не может претендовать на научную обоснованность и убедительность, проявляется стремление автора отойти от традиционных определений предложения, исходящих из значения (содержания) и из формы, и выделить чисто внешний момент при фиксации границ языкового высказывания.

Отмечая, что предложение состоит не из слов, а из членов предложения[1], и считая поэтому, что критерием для типологии предложений могут быть только члены предложения, Паардекопер в то же время при определении различных типов предложения исходит из личной формы глагола и различает три основных типа предложений, которые он в последующих главах подробно анализирует на материале голландского языка: a) предложения, в которых личная форма глагола отсутствует; b) предложения с одной личной формой глагола; c) предложения с двумя или несколькими личными формами глагола. Второй тип является наиболее распространенным в языке.

В VII, VIII и IX главах книги дается подробный структуральный анализ типологии предложений в голландском языке. В VII главе рассматривается структура наиболее распространенной модели предложения (тип «b», т. е. предложения с одной личной формой глагола). Членение предложения на начальную, среднюю и конечную группу (основанное на критерии «непроницаемости» двух крайних групп), а также различные модели предложения последовательно раскрываются здесь на большом количестве конкретных примеров.

Структурный анализ предложения производится автором в следующей последовательности: сначала выявляются различные варианты моделей предложения и порядок слов внутри модели на основе анализа начальной группы (ее первого и второго звена) с учетом различных частных случаев и отклонений от нормы (стр. 88—100); затем характеризуются различные виды «приступа» (слово или словосочетание, могущее стоять перед начальной группой членов предложения) и его отличительные признаки (стр. 100—104); далее автор переходит к аналогичному детальному анализу конечной группы (стр. 104—111) и различных видов «отступа» (слово или словосочетание, способное присоединяться к конечной группе членов предложения) (стр. 112—115), дает характеристику средней группы (стр. 115—119) и завершает свое описание сравнительным анализом всех вариантов моделей предложения и выводами. Паардекопер приходит к заключению, что предложение распадается максимально на пять групп. Начальная и конечная группы являются наиболее «непроницаемыми» и устойчивыми в смысле порядка слов внутри них. Обе они четко обрисовывают рамки (границы) предложения, но решающая роль при определении границ предложения принадлежит все же начальной группе. В качестве критериев классификации моделей предложения выделяется три момента: 1) их структура; 2) экстенсия и 3) частотность. Этим, однако, не ограничивается структурный анализ данного типа предложения. Исчерпав рассмотрение всех моделей предложений этого типа в сфере «означающего», автор переходит к анализу сферы «означаемого», выявляя «оппозиции в значении» между отдельными моделями. При этом он придает слишком большое значение чисто стилистическим моментам (в частности, эмоциональному фактору). Неясность многих критериев в сфере «означаемого» он объясняет неразработанностью данного раздела грамматики.

При классификации членов предложения Паардекопер, исходя из их свойств, намечает ряд критериев. Из них важным он считает степень позиционной закрепленности членов предложения (plaatsvastheid), причем исходит из двух видов позицион-

---

[1] При этом членом предложения, по Паардекоперу, может быть и одно слово, и ряд слов. Под термином «член предложения» понимается, следовательно, как простой, так и распространенный член предложения (т. е. сочетание простого члена с одним или несколькими зависимыми от него членами). Частью члена предложения может быть только слово.

ной закрепленности: абсолютной (в отношении всей модели предложения) и относительной (свойственной определенным членам предложения средней группы по отношению к другим ее членам). Второй критерий классификации членов предложения по степени «родства морфем» (т. е. чисто морфологический) справедливо расценивается автором как непригодный для синтаксических единиц, так как этим свойством обладают не члены предложения, а слова, выступающие в функции таковых (речь идет о выражении рода, числа и падежа и о делении слов на склоняемые и несклоняемые). Третий возможный критерий классификации по зависимости одного члена предложения от другого расценивается автором как неубедительный, якобы в связи с трудностью определения самого понятия синтаксической зависимости. Вместо термина «зависимый» Паардекопер предлагает ввести нейтральный термин «сочетаемый с» (verbindbaar met), который, по сути дела, нивелирует специфику той или иной синтаксической связи, уводя исследователя от необходимости углубленного анализа структуры членов предложения.

В VIII главе (стр. 133—142) дается описание более редких моделей предложений типа «а» (без личной формы глагола), традиционно трактуемых как неполные, или эллиптические, предложения. Анализируя их различные типы по вышеприведенной схеме, автор приходит к выводу, что они не являются эллиптическими и что глагол в них не «опущен», о чем свидетельствует ряд ограничений как синтагматического, так и парадигматического порядка.

IX глава (стр. 143—154) посвящена третьему типу предложения (тип «с»), характеризующемуся наличием двух личных форм глагола (предложения с бо́льшим количеством личных форм глагола Паардекопером не рассматриваются). Это — сложные предложения, традиционно разделяемые на сочиненные и подчиненные. Паардекопер считает существующую традиционную классификацию сложных предложений несостоятельной по той же причине, по которой он отвергает понятие синтаксической зависимости. Автор разграничивает три группы сложных предложений, из которых первая является основной. Предложения первой группы (сложноподчиненные) распадаются по своей структуре на три подгруппы [1]. При членении этих предложений на два «полупредложения» одно из них признается придаточным. Главным предложением, вопреки грамматической традиции, называется все предложение в целом, а не второе «полупредложение». Придаточное предложение, как и соответствующий ему член предложения, рассматривается как позиционная категория, поскольку оно может стоять в начале, в середине и в конце предложения. В соответствии с обычной для автора схемой анализа и здесь устанавливается экстенсивность или интенсивность тех или других типов предложения.

В X главе (стр. 155—164), подвергая критике традиционную классификацию интонаций, которая, по его мнению, строится под влиянием графических норм, и полемизируя по ряду вопросов о роли интонации с такими учеными, как Пайк, Германн, де Грот, Блумфилд и др., Паардекопер приходит к неправомерному выводу о том, что интонация не может быть использована в качестве критерия типологии предложения и даже не может служить для разграничения предложений в голландском языке [2]: границы между ними можно установить только по содержанию высказывания, значению слов или по ситуации. Неправомерно отрицая грамматическую роль интонации и ее связь со структурой предложения, Паардекопер правильно расценивает экспрессивную функцию интонации, относя ее за пределы грамматики, так как эмоциональное значение интонации выпадает из сферы «означаемого».

Небольшая XI глава (стр. 165—173) посвящена частному вопросу о возможностях формального отграничения типов вопросительных предложений. В XII главе (стр. 174—182) автор переходит к анализу модели распространенного члена предложения, исходя из его минимальной единицы — части члена предложения, и отмечает прежде всего большее разнообразие типов и моделей членов предложения по сравнению с типами самих предложений.

Весьма показательно, что Паардекопер не считает возможным выделить лексикологию в самостоятельный раздел науки о языке и отводит ей лишь небольшую XIII главу в разделе грамматики. Это опять-таки перекликается с «высшим принципом» построения грамматики у де Соссюра, для которого, как известно, было характерно признание взаимопроникновения и слияния морфологии, синтаксиса и лексикологии, а также сближает Паардекопера с представителями дескриптивной лингвистики, которые игнорируют значение семантики в науке о языке [3].

---

[1] Внутри этих подгрупп осуществляется уже деление на типы придаточных предложений.

[2] Этот вывод автора подвергся справедливой критике Джемса Марченда (см. J. W. Marchand, указ. рец., стр. 482).

[3] См. об этом Г. Мюллер, Языкознание на новых путях. Дескриптивная лингвистика в США. (Обзор современного состояния), сб. «Общее и индоевропейское языкознание. Обзор литературы», перевод с нем., М., 1956, стр. 80.

Применяя к лексике тот же метод исследования, что к фонетике и грамматике, автор делает основной упор на вопросы, связанные со словарем, поскольку, в соответствии с его взглядами, слова в словаре располагаются прежде всего как «означающие», с анализа которых должно начинаться всякое исследование. Словарь расценивается как список слов, прилагаемый к грамматике. О слове как предмете лексикологии, как единице словарного состава языка, о словаре как системе лексических единиц здесь нет и речи. Основные вопросы лексикологии подменяются конкретными вопросами лексикографии. Не находя в языке четких противопоставлений («оппозиций») лексических единиц, Паардекопер приходит к выводу об отсутствии лексических категорий с языковой значимостью и об отсутствии системности в словарном составе языка. Обращаясь к сфере «означаемого», он видит в этой области лексики лишь хаотическое, бессистемное множество отдельных, изолированных друг от друга лексических значений. Таким образом, лексикология у Паардекопера выпадает из системы языка.

Весьма характерным для позиции Паардекопера как структуралиста является его отношение к вопросу о развитии языка вообще и об изменении значений слова в частности. Всякое развитие в сфере семантики им отрицается. «Все, что остается в сфере „означаемого", не может быть названо развитием значения» (стр. 191). Антиисторический подход к языку проявился уже в I главе «Введения» — в трактовке автором взаимоотношения между языкознанием и историей.

Особенным нападкам со стороны автора понятие языкового развития как внутренне обусловленного процесса подвергается в разделе «Языки в их взаимосвязи», посвященном вопросам внешней лингвистики. Ставя вопрос о критериях, на которых может основываться типологическая классификация языков, автор считает, что при современном состоянии науки о языке, когда еще нет полноценных, исчерпывающих описаний строя отдельных языков, мы должны учитывать все стороны языка как системы Паардекопер выступает с критикой традиционной генеалогической классификации языков по общности их происхождения и выдвигает тезис об автономности системы каждого языка. Из этого положения вытекает, что связь системы языка с другими системами носит случайный характер и зависит от внеязыковых причин (интенсивное контактирование языков или их полное смешение). Автономия языковой системы заключается в том, что каждый ее элемент принципиально связан с другим одним или несколькими элементами данной системы.

Проблеме контактирования и смешения языков посвящена большая XVI глава (стр. 225—250). Основная цель этой главы — показать, что различного рода контактирование и смешение языков могут иметь следствием языковые изменения. Более того. Паардекопер склоняется даже к мысли о том, что всякое языковое изменение, засвидетельствованное историей, может быть объяснено фактором языкового смешения (стр. 224). Здесь мы наблюдаем стремление объяснить все изменения в системе языка как случайные, не обусловленные какой-либо внутренней закономерностью процесса Взгляды автора смыкаются, таким образом, с известными положениями М. Бартоли об обусловленности всех языковых изменений внешними процессами смешения языков. Паардекопер считает, что во всей лингвистической литературе не засвидетельствовано ни одного случая «спонтанного» языкового изменения, т. е. такого изменения, причину которого нельзя было бы усмотреть в контактировании с другим языком или с текстом (т. е. с письменной формой языка. — *С. М.*) (стр. 230). По его мнению, языковым смешением можно объяснить все факты, которые мы обычно называем «странным» и «субъективным» термином «языковое развитие». Таким образом, языковое развитие сводится к случайным, не обусловленным внутренней необходимостью изменениям, вызванным чисто внешними причинами. Языковое развитие мыслится как смена ряда языковых состояний, вызванных внешним фактором контактирования и смешения языков.

Итак, фактор языкового смешения неправомерно расценивается автором как основная причина всяческих языковых изменений, а тем самым и как основная движущая сила языкового развития. Внутренне, как система, язык, таким образом, не развивается; он — статичен. Все исторически обусловленные изменения носят случайный, а не закономерный характер.

В разделе «Наше отношение к языкам» обосновывается положение автора о возможности двоякого подхода к языку: объективного, находящего отражение в языкознании как науке о языке, и субъективного, выражением которого является языковая политика. В этом же разделе излагается соссюрианская точка зрения автора на различие между языком и письменностью (стр. 251—257) и дается характеристика современного литературного голландского языка (стр. 258—270), определяемого как «языковое состояние, отличающееся от многообразия диалектов и особенностей стиля» (стр. 259). В этом определении не подчеркиваются наиболее существенные черты литературного языка, а именно — его единство и нормативный характер.

Несмотря на неприемлемость многих общелингвистических положений автора, невзирая на определенный эклектизм его концепции и непоследовательность в использовании им ряда общих положений структуральной лингвистики, безусловной заслу-

гой Паардекопера является то, что он стремится применить принципы и методы структурного анализа к описанию грамматического строя конкретного языка. Анализ синтаксической структуры голландского языка основан у него на обширном фактическом материале, что избавляет книгу Паардекопера от одного из существенных недостатков, присущих структуралистским работам подобного типа, а именно — отвлеченности и оторванности от конкретной языковой специфики. Положительным моментом является также чрезвычайная полнота исследуемого материала, широкий охват различных моделей предложения в голландском языке, учет их продуктивности и распространенности в языке, попытка дать классификацию типов предложений, отличную от традиционной, и т. п.

Однако, ограничиваясь формальной стороной при классификации различных структурных типов предложения в голландском языке и полностью игнорируя их содержание (значение), Паардекопер не воссоздает в своем исследовании общей картины синтаксического строя голландского языка в его конкретном своеобразии. Весьма неясным и расплывчатым представляется членение предложения на составляющие его элементы (члены предложения и части членов предложения), среди которых не выделяются четко главные и второстепенные единицы. Общим недостатком работы Паардекопера является также недооценка морфологии, стирание границ между нею и синтаксисом, растворение морфологии в синтаксисе. Проводимый автором структурный анализ предложения без учета качественной специфики таких основных языковых единиц, как слово, словосочетание и предложение, приводит к стиранию граней между этими категориями, что проявляется, между прочим, в использовании иногда автором морфологических критериев и соответствующей терминологии при построении системы членов предложения. Специфику той или иной синтаксической связи (в частности, отношение подчиненности, зависимости одного члена предложения от другого) он также не учитывает. Все это свидетельствует о недостаточной четкости и последовательности синтаксической концепции автора. Тем не менее нельзя не признать, что рецензируемая книга представляет несомненный интерес в своей исследовательской части как одна из немногих попыток применения структурального анализа к синтаксису конкретного языка.

С. А. Миронов

Pierre Fouché. **Traité de prononciation française.** — Paris, Librairie C. Klincksieck, 1956. LXIII, 528 стр.

Книга Пьера Фуше является подробным справочным пособием по произношению современного французского языка. Это пособие рассчитано в первую очередь на иностранцев. Учитывая назначение книги, П. Фуше пользуется международной транскрипцией, подробно излагает произношение имен собственных (французских и иностранных [1]), а также заимствованных иностранных слов (в том числе и русских), характеризует звуки французского языка сравнительно с другими языками.

П. Фуше — профессор Сорбонны, директор Института фонетики Парижского университета, профессор Школы дикторов французского радиовещания и телевидения — является одним из лучших специалистов по современной и исторической фонетике французского языка и лучшим знатоком современного литературного произношения. Таким образом, читатели рецензируемой книги могут вполне положиться на сведения о произношении тех или иных слов, которые приводятся в книге П. Фуше.

Устанавливая правила произношения, П. Фуше иллюстрирует их очень большим количеством примеров — см., например, 14 страниц списков слов с *h* aspiré (стр. 252—265). Всего в книге цитируется около 30 000 слов, из них около 10 000 названий местностей и имен собственных. Вверные в пособиях аналогичного типа мы встречаем столь большое внимание, уделяемое ономастике.

Книгу в целом характеризует то, что автор учитывает разные темпы и разные стили произношения, что особенно важно в главах, посвященных liaison и *e* muet.

Нормой произношения современного французского языка Фуше считает тщательно отработанную речь культурного парижанина — «conversation soignée chez les Parisiens cultivés», родившегося в конце XIX или в самом начале XX в. (см. «Предисловие»).

---

[1] Большое место уделяется и русским именам, особенно географическим названиям. Так, на стр. 283 дается написание Могилева — *Mohilev* с указанием, что интервокальное *h* в иностранных и древних именах собственных не произносится (исключая югославские, где оно звучит как [k] или [x] — *Grahovo*); здесь же находим Бежецк — *Bejetsk*, где *j* передает [з]; на стр. 347 находим Нижний Новгород — *Nijni-Novgorod*; на стр. 349 Абхазия — *Abkhasie* [abkazi] и т. д.

Во «Введении» (стр. IX—LXIII) дается подробная характеристика звуков французского языка сравнительно с немецким, английским, испанским, португальским, итальянским, датским, шведским, голландским, польским, чешским и венгерским языками (см. в конце книги таблицу звуковых соответствий этих языков). К сожалению, сравнение с русским языком отсутствует, хотя автор мог бы воспользоваться для этого прекрасной книгой Л. В. Щербы, в которой французские звуки последовательно сравниваются с русскими[1]. Во «Введении» излагаются также интересные и новые для нас сведения о длительности гласного, о соединении звуков в речевом потоке и об ударении.

Первая часть книги (стр. 3—230) посвящена гласным. Следует отметить чрезвычайно подробную и интересную характеристику *e* muet (глава III, стр. 91—139); Фуше детально рассматривает случаи, когда подряд встречается несколько слогов с *e* muet (стр. 105—132). Следует отметить уточнения к так называемому «закону трех согласных» (стр. 96—100). Фуше пишет, что единственно важным при установлении произношения *e* muet внутри слова является количество согласных, произносимых до *e* muet: при двух согласных *e* сохраняется (*accordera*, *accoutrement* и т. д.), при одном — падает (*échevin*, *empereur* и т. д.). Отсюда — возможность групп даже в четыре согласных без *e*, например в *pas de scrupules!* [pa d skrypyl].

Во второй части (стр. 437—477) изучаются согласные в начальной, срединной и конечной позициях. Последняя, восьмая, глава этой части (стр. 437—477) посвящена так называемому «связыванию».

К книге приложена таблица «От буквы к звуку», а также указатель слов, представляющих наибольшие трудности для произношения.

*

Книга П. Фуше чрезвычайно полезна для справок о произношении того или иного слова и, особенно, имен собственных. Так, например, в нашей научной и педагогической практике встречаются самые разные произношения и написания фамилии известного исследователя французского языка, ныне профессора Лилльского университета G. Gougenheim — Гуженейм, Гуженхейм, Гугенем, Гугенейм, Гугенхейм. Фамилия эта германская, что и создает трудности при ее передаче. Из книги П. Фуше мы узнаем, что по нормам современного французского литературного произношения следует говорить Гугенем, так как 1) *g*+*e* в середине слова в именах собственных германского происхождения произносится [ge] — стр. 286; 2) *h* в середине слова не произносится — стр. 283; 3) *eim* произносится [ɛm] в именах собственных немецкого происхождения в том случае, если они принадлежат французам — стр. 163 (ср. с примерами на стр. 286 *Gysegem*, *Sottegem* и др.). Таким образом, если в первой части этой фамилии сохраняется германское произношение [gugen], то во второй — французское [ɛm].

Произношение и написание фамилии известного языковеда Ch. Bally также часто вызывает затруднения (*Балли* или *Байи?*), хотя в последнее время у нас установилась транскрипция *Балли*. На стр. 306—309 книги П. Фуше мы читаем, что во всех французских именах двойное *ll* после гласных (кроме *i*) произносится либо как [ll] — *Allobroges*, *Bellune*, *Sully* и др., либо чаще как [l] — *Allan*, *Bally*, *Belleau* и др. Таким образом, наиболее правильная передача этой фамилии — *Бали*.

Аналогичным образом мы узнаем, что Nyrop следует произносить [nyrop], а не [nirop] — стр. 227, что G. Paris хотя и произносится с конечным *s*, но имеется тенденция говорить [pari] — стр. 399, Rem. III и многое другое.

*

Материалы, приведенные Пьером Фуше, лишний раз доказывают, насколько быстро меняется произношение французского языка. Некоторые данные, известные нам по книге Л. В. Щербы, первое издание которой вышло в 1937 г., уже не отвечают нормам современного произношения. Сказанное относится, например, к долготе гласных, в частности к открытому [ɛ:]. Фуше на стр. XXXIX пишет, что [ɛ:] встречается лишь перед конечными [r], [ʒ], [z], [v], в то время как во всех остальных случаях долгота не наблюдается — *tête* [tɛt], *fraîche* [frɛš], *chêne* [šɛn], *blême* [blɛm], *pêche* [pɛš] и др. Таким образом, по Фуше, [ɛ:] обусловлено лишь позицией в слове; фонологическое противопоставление [tɛ:t] *tête* «голова» и [tɛt] *tette* «соски» (см. Л. В. Щерба, стр. 40) в середине XX в., по-видимому, не имеет места.

По П. Фуше, *ai* произносится как [ɛ] перед сочетанием одного или двойного согласного + гласная, например в словах *laisse*, *caisse*, *épaisseur* и др. (стр. 31). В книге Л. В Щербы находим, однако, [ɛ:] в *baisse*, *caisse*, *épaisse*, *baisser*, *graisser* (см. стр. 200).

Некоторые изменения произошли также и в liaison, которое часто перестает употребляться в случаях, когда оно раньше имело место. Так, например, у Л. В. Щербы

[1] Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, 5-е изд., М., 1955.

на стр. 120 (§ 180) мы читаем, что не невозможны слитные формы от глаголов перед дополнениями — *ils ont fait un plan*. Однако в многочисленных случаях, перечисленных у Фуше (всего тридцать, стр. 469—477), liaison между глаголом и последующим словом имеет место лишь в случаях типа *prends en*, *finis en* (стр. 474, случай 20), либо в *que dit il*, *que voit elle* (стр. 475, случай 21).

Если Л. В. Щерба пишет, что не невозможно сказать [divin om'ɛ:r] вместо [divẽn omɛ:r] *divin Homère* (стр. 119, сноска), то у П. Фуше такое произношение прилагательного дается как современная норма в сочетании не только с *Homère*, но и с рядом других имен — *le divin Achille*, *le divin Ulysse*, *le divin Enfant*, *le divin amour* (стр. 435).

Скажем еще несколько слов о двух французских *a* — переднем и заднем. Известна тенденция к слиянию этих звуков в одно среднее *a* (см. Л. В. Щерба, стр. 47—48). Из работы П. Фуше, следует, что, по-видимому, еще рано говорить о слиянии этих звуков, поскольку *a* заднее имеет еще довольно большое распространение (см. стр. 57 и сл.). Соответственно в ряде случаев мы находим незначительные колебания в определении качества *a* у Щербы и у Фуше.

Из приведенной выше характеристики рецензируемой книги очевидно, что книга П. Фуше не является сугубо теоретическим трудом по фонетике современного французского языка. Сам автор неоднократно указывает на то, что назначение книги практическое, справочное (см., например, стр. XXX). Об этом в первую очередь свидетельствует то, что П. Фуше совершенно игнорирует вопросы фонемного состава французского языка. Тем не менее, благодаря очень тщательному изучению произношения отдельных звуков, наблюдения, сделанные П. Фуше, содержат богатый материал не только для установления норм литературного произношения французского языка середины XX в., но и для целого ряда таких проблемных вопросов французской фонетики, как долгота гласного, связывание, произношение беглого *e* и т. д.

М. А. Бородина

Jean Deny. **Principes de grammaire turque («turk» de Turquie).** — Paris, 1955. 184 стр.

Среди грамматик турецкого языка одно из первых мест по глубине теоретической разработки, строгости научной схемы и богатству фактического материала продолжает занимать «Грамматика турецкого языка» известного французского тюрколога Ж. Дени, изданная в 1920 г.[1] В результате дальнейших многолетних наблюдений и исследований в области турецкого языка Ж. Дени подготавливает второе расширенное издание своего труда, которому и предпосылаются в виде обширного введения «Основы грамматики турецкого языка». Указанная работа, имеющая самостоятельное значение, представляет собою обобщение важнейших явлений в области фонетики и морфологической структуры слова и, по мысли автора, является своего рода ключом к разделу морфологии.

«Основы турецкой грамматики» состоят из «Предисловия» (стр. 6—7), «Введения» (стр. 9—21), двух основных частей (стр. 23—171) и приложений (стр. 173—179). В «Предисловии» мы находим указание на то, что автор пересмотрел некоторые положения, изложенные им в «Грамматике» (распространение закона губного притяжения на все слово, а не только на аффикс; признание тенденции к оглушению звонких согласных в конце слова или после глухой согласной — явление, которое получило особое развитие после реформы алфавита и не было отмечено автором в «Грамматике»; различение двух типов спряжения — предикативного и посессивного). В первой части работы, «Звуки» (стр. 23—47), дано описание фонемного состава турецкого языка; во второй части «Слово» (стр. 49—171), слово характеризуется с точки зрения фонологии (стр. 49—165) и с точки зрения его морфологической структуры (стр. 166—171). Таким образом, значительная часть «Основ» посвящена вопросам фонетики турецкого языка. При этом автор ставил перед собою задачу показать принципы взаимной связи и обусловленности фонетических явлений и закономерностей турецкого языка; однако, поскольку такой анализ не мог быть сделан без детального описания фонетической системы языка в целом, данная часть работы может рассматриваться как монографическое исследование по фонетике. В работе читатель найдет очень много частных наблюдений, касающихся различных явлений как современного языка, так и языка турецких памятников. Вызывает интерес то, что Ж. Дени разграничивает фонологический анализ в отношении к слову и в отношении к процессу наращения слова аффиксами. Это обусловило такие разделы второй части работы, как «Фонетика слова (производного и непроизводного)», «Фонетика аффикса», «Фонетика аффиксального

---

[1] J. Deny, Grammaire de la langue turque, Paris, 1921 (обл.: 1920).

слова». Такое разграничение не только более отчетливо вскрывает специфику фонетических процессов в аффиксе, но и позволяет обобщить все фонетические явления, связанные с аффиксальным изменением слова, на котором в основном и строится морфология тюркских языков. Указанный аспект исследования подчинен общему замыслу автора — дать вводные основы к морфологии турецкого языка.

Три типа артикуляции гласных (в плане трех объемных измерений — глубина, высота, широта [1]) создают в турецком языке соответственно три группы сходных между собою звуков, в каждой из которых отмечается два состава, находящихся в отношении контраста друг к другу (например, в группе гласных звуков, объединенных общностью по глубине, т. е. по признаку нёбности и ненёбности, выделяется два контрастных по этому признаку состава — *e*, *ı*, *o*, *ü*, и *a*, *i*, *o*, *u*). Ж. Дени вводит понятие контрастных групп для звуков этих трех групп. При сопоставлении гласных между собою, поскольку каждый из них имеет характеристику по глубине, высоте и широте, возникают сходства и различия разных степеней. Например, *a* и *ü* составят нулевое сходство и тройной контраст, так как все их характеристики расходятся между собою; *a* и *u* дают простое сходство и двойной контраст, так как их сближает характеристика по глубине (контраст по высоте и широте); *a* и *e* составят двойное сходство и простой контраст, так как их сближают общие черты по высоте и широте (контраст по глубине). По мысли автора, эти группы могут объяснить путь развития вокализма в тюркских языках, так как теоретически все 8 гласных турецкого языка цепью простых контрастов могут быть сведены к фонеме *a*. Сходство гласных фонем лежит в основе проявления ряда закономерностей и прежде всего явления, которое носит название гармонии гласных. Этот важнейший закон есть проявление двух типов артикуляции (сходство звуков по глубине и широте, иначе — нёбное и губное притяжение). Ж. Дени разграничивает эти два типа ассимиляции под названием 1-го и 2-го закона гармонии гласных. Третий принцип артикуляции (высота), как отмечает автор, не служит основой для ассимиляции звуков, но обусловливает распределение гласных аффикса на два класса — класс «высоких» гласных (в русской лингвистической литературе — «узкие») и класс «низких» («широкие»). Такое распределение гласных турецкого языка Ж. Дени рассматривает как вспомогательный закон гармонии гласных, определяющий проявление 2-го закона гармонии гласных в аффиксах (как известно, губное притяжение в аффиксах распространяется только на узкие гласные). Влияние нёбного притяжения на согласные ограничено у Ж. Дени 4 звуками — *k*, *g*, *ğ*, *l*, которые имеют палатализованный характер. В анализе взаимодействия согласных и гласных привлекает внимание изменение согласных по глухости-звонкости. Указывая на общую тенденцию тюркских языков к глухому согласному в начале слова, автор все же не высказывается категорически по вопросу о первоначальном характере начала слова: оно могло быть глухим и звонким. В каждом отдельном случае этот вопрос требует специального выяснения, так как возможно, что в турецком языке действовала как тенденция оглушения, так и тенденция озвончения начального согласного слова. Примеры такого конкретного анализа мы находим в §§ 93—105.

В анализе слоговой структуры следует отметить явление консонантного дифтонга, который состоит из сонорного (*r*, *n*, *l*) и смычного (*p*, *t*, *ç*, *k*). Ж. Дени высказывает мысль о том, что слог типа *türk* возник в тюркских языках позднее в результате звукового развития корня более простого типа. Первый согласный в группе дифтонга играет роль привнесенного элемента, вероятно, экспрессивного по происхождению. В одних случаях консонантный дифтонг может чередоваться с простой согласной, не вызывая изменения значения слова. Например, *otur-* — *oltur-* (орхон.) «сидеть», *getir-* — *geltir-* (старотурец.) «приносить». В других случаях это чередование связано с некоторым изменением в значении слова. Например: *yar-*//*yır-* «разделять», «раскалывать», *yırt-* «раздирать». Явление консонантного дифтонга Ж. Дени рассматривает в плане тенденции для турецкого слова расширяться за счет введения привнесенных элементов, таких, как консонантные дифтонги, протетические и разделительные гласные.

Как было указано, особый раздел работы Ж. Дени посвящает фонетике аффиксального слова. Автор выделяет два класса аффиксальных гласных, а также опирается на понятие постоянных (устойчивых) и неустойчивых гласных в аффиксе (это положение было выдвинуто еще в «Грамматике»). Выделение этих моментов принципиально важно для объяснения тех процессов, которые действуют при наращении слова аффиксами. Ж. Дени выделяет также группу разделительных согласных («разделительных» с точки зрения современной структуры слова), куда включает элементы, различные по своему происхождению (*y*, *n*, *s*, *ş*). В области аффикса автор отмечает следующие явления: гармония гласных аффикса, распространяющаяся почти на все аффиксы, и вторичные изменения, касающиеся только некоторых аффиксов (чередование по глухости-звонкости, падение гласной в последнем закрытом слоге некоторых слов, эли-

[1] Этот термин (largeur) Ж. Дени употребляет для характеристики звуков по участию в их артикуляции губ.

зия и эпентеза). В гармонии гласных аффикса автор выделяет два типа изменений: простое ($\frac{a}{e}$, например, в аффиксе дательного падежа) и двойное ($\frac{i}{\ddot{\imath}}$, $\frac{\ddot{u}}{u}$, например, в аффиксах принадлежности). Гласная аффикса представляет собою некую непостоянную величину, границы изменений которой определяются принадлежностью гласной к определенному классу, т. е. гласная аффикса всеми своими изменениями не выводится за пределы своей категории (узких или широких гласных).

Вторая часть работы дает принципиальные установки автора по вопросу о морфологической структуре слова. Следует отметить, что в целом они остались теми же, что и в «Грамматике». В составе слова Ж. Дени выделяет корень, который сам по себе может играть морфологическую роль в предложении, словообразующий суффикс [1] и окончание (словоизменительный аффикс). Автор выделяет также понятие смешанных аффиксов (-*ki* и аффиксы принадлежности), которые по характеру своего проявления в слове обладают чертами, общими для аффиксов словообразования и словоизменения. Составные элементы турецкого слова имеют относительно постоянный характер, что обусловливает отсутствие исключений в грамматике и прозрачность морфологической системы. Таким образом, турецкое слово, состоящее из ряда последовательно присоединяющихся аффиксов, скрепляется и упорядочивается явлением гармонии гласных и изменением по глухости-звонкости. Ж. Дени выделяет три схемы турецкого слова: корень (непроизводное слово), слово, имеющее в своем составе словообразующий аффикс, и слово, имеющее в своем составе аффикс словоизменения. Термины «корень» и «непроизводное слово» в каждом отдельном случае имеют предварительный характер, так как недостаточность сравнительного изучения алтайских языков не позволяет с уверенностью говорить, имеем ли мы дело действительно с непроизводным словом. Слова 1-й и 2-й схемы Ж. Дени называет основами или «несклоненными» (non fléchi) в противоположность словам третьей схемы, имеющим в своем составе «окончания». Ж. Дени подчеркивает, что с теоретической точки зрения основы могут рассматриваться как содержащие нуль словоизменительной формы. Как и в «Грамматике», Ж. Дени выделяет понятие изменяемых и неизменяемых слов в зависимости от их способности принимать словоизменительные аффиксы. Сам словоизменительный аффикс определяется как элемент, который заставляет именные основы терять значение основного падежа, а глагольные основы — значение повелительного наклонения 2-го лица ед. числа.

«Основы турецкой грамматики» представляют интерес для тюркологов. Составление научных грамматик различных тюркских языков продолжает оставаться актуальной задачей советской тюркологии. В этой работе, несомненно, должно учитываться и новое исследование Ж. Дени.

Э. А. Грунина

T. Lehtisalo. **Juraksamojedisches Wörterbuch** [2]. — Helsinki, 1956. CIX, 601 стр.

Рецензируемая работа финского ученого проф. Т. Лехтисало состоит из 710 страниц, из которых 109 заняты предисловием, 522 — ненецко-немецким словарем и 79 — алфавитным указателем немецких слов, при помощи которых переведены соответствующие ненецкие слова.

В предисловии автор описывает свои путевые впечатления во время путешествия в Северо-Восточную Сибирь и на Европейский Север России и пребывания в различных районах расселения ненцев, среди которых он провел в общей сложности три года (с некоторым перерывом с 1911 по 1914 г.).

Словарь построен главным образом на материале, извлеченном составителем из записей ненецкого фольклора, а также из собранных им этнографических данных, характеризующих дореволюционный быт ненецкой народности. Уже то обстоятельство, что материал собран самим автором, придает работе значительную ценность. Вместе с тем характером материала определяются и основные особенности словника. С одной стороны, дается большое количество слов с ограниченной сферой употребления, а также слов, не встречающихся уже как норма в разговорной ненецкой речи. К ним относятся слова, связанные с различными видами дореволюционной хозяйственной деятельности

---

[1] Ж. Дени употребляет этот термин в значении родового понятия «аффикс», так как не противопоставляет его «префиксу», отсутствующему в тюркских языках.

[2] Проф. Т. Лехтисало сохраняет в своей работе для наименования ненцев термин «самоеды-юраки» (или «юраки»), принятый в зарубежной и в дореволюционной русской литературе, в соответствии с чем ненецкий язык обозначается им как юрако-самоедский.

ненцев, религиозными представлениями, религиозными обрядами и др. Отражая ушедший в прошлое быт, отжившие формы хозяйства и мировоззрения, некоторые слова, включенные в словарь, в настоящее время уходят из языка. Поэтому приведенный материал весьма важен для изучения прошлого ненецкой народности. С другой стороны, несмотря на довольно большой объем словаря, для него характерна известная ограниченность лексики: в нем не отмечено значительное количество широко употребительных слов.

Насколько можно судить в результате просмотра словника, автор рецензируемой работы не ставил перед собой задачу полностью раскрыть значения приводимых им ненецких слов. По-видимому, указываются лишь те значения, которые встретились в его материалах. Поэтому на данной стороне вопроса мы не останавливаемся. Укажем только, что в словаре ограниченно представлены переносные значения слов и идиоматические выражения, которыми так богат ненецкий язык.

Перевод ненецких слов на русский язык (а также на немецкий) нередко оказывается весьма затруднительным, поскольку значения многих ненецких слов приходится не переводить, а толковать на русском (или немецком) языке. В основном Т. Лехтисало удалось, как нам кажется, успешно справиться с этой весьма нелегкой задачей. Но вместе с тем в переводе ряда слов и выражений имеются, с нашей точки зрения, неточности. Так, например, выражение *jēdāi χōmβ'qdāβ̌ʒp'' jāŋGu* (в нашем написании: *jедэj номбадawa jaŋгу*) (стр. 120, левый столбец) переведено: «Мы не имеем нового заработка». Более точно перевести это выражение следовало бы так: «Мы ничего не находим нового» (дословно: «новое находимое наше отсутствует»). Слово *jīēdāqñ̆ʒ* [в нашем написании *jеданз'*] (стр. 120, правый столбец) переведено «танцевать». Насколько нам известно, это слово применяется для обозначения движений ногами, которые производят во время религиозного обряда присутствующие вслед за шаманом [1]; оно употребляется также в значении «приплясывать на одном месте».

Транскрипция в словаре принята фонетическая, а не фонологическая. При помощи различных диакритических значков обозначены довольно тонкие звуковые нюансы. Имея известные достоинства, фонетическая транскрипция вместе с тем не всегда отражает состав фонем того или другого языка. В частности, в рецензируемой работе не выделяются две гортанные смычные фонемы. В результате слова, различающиеся между собой характером конечного гортанного смычного звука, оказываются омонимами, хотя в приведенном иллюстративном материале составителю неизбежно приходится отмечать различия в чередовании как одного, так и другого гортанного смычного звука. Например:

jā̄q''Я «сажа» (вин. падеж мн. числа *jāŋū*), *jā̄q''Я* «прядь волос» (то же *jāñ̆ʒū*), *Bī̆Я* «тундра» (то же *βī̆ŋŋū*), *Bī̆Я* «путешествие шамана в другом мире» (то же *βī̆ʒū*) и др.

В этом отношении Т. Лехтисало отступает от М. А. Кастрена, который различал и обозначал каждый из гортанных смычных звуков, хотя и рассматривал их в качестве особых придыханий (Aspiration) [2].

В словаре отражены фонетические особенности ряда говоров обоих наречий ненецкого языка (как тундрового, так и лесного), причем обозначена принадлежность того или иного фонетического варианта слова тому или иному говору. Это является ценным для изучения диалектных особенностей ненецкого языка и составляет несомненную заслугу рецензируемой работы. При ряде заимствованных слов даются указания, из какого языка (русского, комизырянского или хантыйского), по предположению составителя, они проникли в ненецкий язык. Можно только пожалеть, что принцип диалектологического словаря выдерживается не всегда последовательно.

Словарь богато иллюстрирован примерами, причем многие иллюстрации даны из шаманских текстов, из мифологических преданий и пр. Примеров из живой разговорной речи приводится сравнительно немного.

Слова расположены по гнездовому принципу. Сам по себе такой принцип подачи материала, по нашему мнению, в известных случаях закономерен. Он дает возможность более отчетливо показать связи между различными однокоренными словами (даже в том случае, если значения производных слов существенно отличаются от значения корневого слова), установить порой довольно неожиданные для современного языка сближения. В словаре действительно приводятся интересные в плане исторической семантики лексические гнезда. Так, например, устанавливается связь слова *jār'ǫj* «заслон от ветра и дождя» со словом *jā̄r''Я* «бок», «сторона». Т. Лехтисало указывает при этом, что в целях защиты от ветра и дождя ненцами употребляется несколько палок (от трех до шести), наклонно воткнутых в землю с привязанной к ним берестяной покрышкой. Естественно, что такого рода сооружение может служить защитой

[1] Характерным для раскрытия значения этого слова является употребление его по отношению к ребенку, который не может еще твердо держаться на ногах, но делает попытку приподнять то одну, то другую ножку. Эти движения ребенка предвещают, по представлениям ненцев, хороший промысел — наполнение котла (ср. *jед* «котел»).

[2] M. A. Castrén, Grammatik der samojedischen Sprachen, St. Petersburg, 1854.

лишь с одной какой-либо стороны, отсюда и особенность его обозначения. Это сближение подкрепляется наличием в ненецком языке слова *jăr'ǫ* «быть на боку», «лежать на боку» и слова *jăr'ęβ* «половина чума». От того же корня происходит слово *jàrn'ǎŋŋī* «дальний родственник со стороны жены» (точнее: «свойственник». — *Н. Т.*), а также словосочетание *jap''н'a* «побочный брат», не отмеченное в словаре.

Слово *jǎrōkku* (*jǫraḳkō*) «ковш», «черпак» возводится к слову *jǎr''Я* «нарост на дереве». В прошлом материал этот применялся ненцами для изготовления различной посуды (чашек, ложек и пр.). Слово *jǎr''Я* имеет также значение «хрящевой нарост на лбу упряжного оленя, вызванный налобной костью упряжки»[1].

Однако принятый принцип расположения слов проводится в рецензируемом словаре, по нашему мнению, не вполне последовательно. С одной стороны, к одному гнезду относятся слова, значительно различающиеся между собой по звуковому составу и морфологическому построению, хотя и происходящие от одного корня. Так, например, слова *jǭǏłęmĭ'ę* «стать светлым», «наступить» (о дне), *jǭǏłęmtǭ* «осветить», «сделать светлым» (после темноты), *jǎǏ'l'ĕkkō* «светлый», *jǎǏ'l'ĕńnāńnp* «блестящий», «белый», *jǭǏłęmĭ''Я* «утренняя заря»[2], *jǎǏłǫmĭ'ę* «стать белым, седым, блестящим», *jǫłmrā* «сделать белым, блестящим, седым», *jàl'leŋ Gǭł'l'e* «карась» и др. даны на слово *jǎł'l'è* «свет», «солнце», «день». Различия в этих словах не помешали составителю, с нашей точки зрения, вполне правильно, объединить их все в одном гнезде. С другой стороны, ряд слов выделяется в особые словарные статьи, а не дается внутри того словарного гнезда, с которым они, как нам представляется, явно связаны по своему корневому значению. Так, слово *jǭβ̆ǭn'ę* «ездить в лодке по морю»[3] и по корневому составу и по лексическому значению явно связано со словом *jǭm''Я* «море», но помещено в гнезде *jǭβ̆ǭńĭ'ę'* «охотиться на белых медведей»; выделение последнего гнезда в качестве самостоятельной лексической единицы нам представляется неоправданным, так как слово *jǭβ̆ǭn'ę* является производным от слова *jǭβ̆ǭī* «белый медведь»[4], которое, в свою очередь, восходит к слову *jǭm''Я* «море».

В гнезде *βāłǫ* «слово», «язык», помимо уменьшительной и ласкательной форм этого слова, даны глагол *βǫd'ĕłę'ę* «рассказывать», а также глагол *βǫd'ĭnīōrłę'ę'* «сплетничать», «судачить». В то же время глагол *βāxàłę'ę* «заговорить», «начать говорить» выделен в особую словарную статью, в которую помещено также слово *βāełł'ę* «речь», «разговор». Ни в одно из этих гнезд не включены не только такие слова, как *wадари* «пустослов», *wадаси''* «безоговорочно», *wадас'ада* «безоговорный», *wадас'аламз'* «замолкнуть», «умолкнуть», «лишиться слова», *wадас'алмде(с')* «заставить умолкнуть», *wадаоjалц'* «упомянуть» (о ком-, о чем-либо), *wадаоjа''нанда* «словно», «будто», *wадецо* «предмет разговора», *wаде''ла* «сказитель» и другие, но и глагол *wас'* «сказать», к которому в конечном счете восходят все указанные выше слова.

Вместе с тем наблюдаются случаи, когда различные, с нашей точки зрения, по своему происхождению слова соединяются в одном словарном гнезде. Слова *jǭŋG'ǫł'ę* «выбить», «выколотить колотушкой или палкой» (снег с обуви перед тем, как войти в жилое помещение, пыль из шкур и пр.), *jǫŋG'ǫł'ę''Я* «лопатка для осмотра ягеля и выколачивания шкур» (у мужчины), «палка» (у женщины) даются в одном гнезде со словом *jǭŋG'ǭ* «продолбить лед». Слова эти, хотя и близкие по своему звучанию, различаются по значению и вряд ли могут рассматриваться в качестве однокоренных. В то же время слово *jеаŋkуэ* «отверстие во льду», «прорубь» выделено в особую словарную статью, хотя именно с ним связано по своему корневому составу слово *jǭŋG'ǭ*[5].

---

[1] Наличие в современном ненецком языке омонимов *jǫr''Я* «бок», «сторона», и *jǎr''Я* «нарост на дереве», возможно, объясняется единством происхождения обоих этих корневых слов: «нарост на дереве» — это то, что не относится к основному стволу, нечто побочное.

[2] Слово *jǭǏłęmt''Я* (в нашем написании *jалумд''*, *jалэмд''*) означает просто «заря»: *hушы jалумд''* «утренняя заря», *пэwс'умбы jалумд''* «вечерняя заря».

[3] В иносказательной форме передает понятие «охотиться на морского зверя».

[4] Описательное название, дословно: «морской».

[5] Различия в звуковом составе этих слов объясняются диалектными соответствиями — первое слово записано Т. Лехтисало от лесных ненцев, второе — от тундровых.

Со словом *jаŋга(с')* «продолбить лед» значительно более тесно связано по своему значению не отмеченное в словаре слово *jāŋга(с')* «привить», «сделать прививку» Действия этих глаголов сближаются в сознании ненцев, по-видимому, по сходному их результату — разрыву сплошного верхнего покрова.

В словарной статье *βāбā*, судя по нашим материалам, объединены две различные группы слов: *wāдā(c')* «вести»; *wāдā(c')* 1) «вырастить», «выкормить», «воспитать», 2) «развести» — с различными производными формами.

Не всегда выделено по единому принципу ведущее слово в гнезде. Например, в качестве основного слова в гнезде *jārā* «положить на бок», *jār'ā* «быть на боку» и пр. выделено слово *jār*"II «бок», «сторона», а в гнезде *jārxāб* «плакса», *jārdā* «довести до слез», *jārṣāββāi*" «с плачем» и пр. — *jārī'ṣ* «плакать» при наличии слова *jār* «плач».

Нам представляется не вполне ясной система, по которой даются производные слова: в некоторых гнездах представлено значительное количество производных слов. Для других, не менее богатых по возможностям однокоренных образований слов, производные слова даются очень ограниченно или не даются вовсе. Например, в словарном гнезде *jāβ* «счастье», «удача» дано только три однокоренных слова: *jāβṣāβāi* «счастливый», *jāpṣèбp* «несчастный», *jāβбāйпр* «счастливый». В речи число слов с этим корнем неизмеримо больше: *jабс'алмз'* «стать несчастным», *jабс'алмде(c')* «сделать несчастным», *jабда* «счастливо», *jабдалта(c')* «осчастливить», «сделать счастливым», *jабац'* «иметь счастье», «пользовать счастьем», *jабта* «счастливый», «счастливец» и др.

Сам отбор производных слов всецело обусловливается, по-видимому, имеющимися материалами: в одних гнездах даются одни словообразовательные формы, в других — другие.

В отдельных случаях вызывает сомнение принцип выделения самостоятельных слов. Так, например, на стр. 122 в качестве заглавного слова гнезда дано *jī* «бедный», «вызывающий сожаление». Судя по приведенным примерам, речь идет, как нам представляется, об одном из суффиксов субъективной оценки — сожалительном суффиксе *-je* (*-ju*) [ср., например, *пыдар* «ты» и *пыдjер* «ты бедняга», *пыдара*" «вы (многие)» и *пыдjера*" «вы (многие) бедняги» и др.]. В эту же словарную статью включены такие самостоятельные слова, как *jēзākku* «сирота», *jēβōmī'ṣ* «стать сиротой», *jēβūmtā* «оставить сиротой».

Приходится сожалеть, что сложность принятой транскрипции, а также некоторые особенности построения словаря ограничивают круг возможного его использования и затрудняют, по нашему мнению, в ряде случаев нахождение нужного слова.

Работа по составлению словаря такого лексикологически почти совершенно не изученного языка, каким является ненецкий язык, очень сложна и чрезвычайно трудоемка. Составитель не может здесь опираться на уже имеющийся опыт, а должен сам ставить и разрешать все вопросы лексикографии, пытаясь решать вместе с тем и основные вопросы лексикологии. Большая заслуга проф. Т. Лехтисало состоит в том, что он один из первых взялся за эту работу, соответствующим образом обобщил имеющиеся в его распоряжении богатые материалы и создал серьезный научный труд, который является значительным вкладом в исследование далеко недостаточно еще изученного ненецкого языка.

Выход в свет труда проф. Т. Лехтисало следует всячески приветствовать.

Н. М. Терещенко

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В работе «Оптатив в функции прошедшего времени в хорезмийском языке»[1] польский ученый З. Рысевич, ссылаясь на работу пишущего эти строки «Образование прошедшего времени в хорезмийском языке» («Уч. зап. [ЛГУ]», № 60, Серия филол. наук, вып. 6., 1940), повторенную затем в книге «Хорезмийский язык» (I, М.—Л., 1951), приводит содержащиеся в ней данные в подтверждение известной уже в науке роли оптатива в ряде индоевропейских языков в образовании прошедшего времени.

Из большого числа приведенных Рысевичем работ, посвященных вопросу об отношении оптатива к прошедшему времени, наиболее существенное значение имеет одна из последних работ Э. Бенвениста «Претерит и оптатив в индоевропейском» (E. Benveniste, Prétérit et optatif en indo-européen, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. XLVIII, fasc. 1, 1951, стр. 11—20).

С талантом, присущим этому выдающемуся языковеду, он вскрывает вероятный генезис сближения, смешения функций претерита и оптатива. Этому сближению со-

---

[1] Z. Rysiewicz, Optativus w funkcji czasu przeszłego w chorezmijskim, «Biul. Polsk. t-wa językoznawczego», zesz. XIII, Kraków, 1954, стр. 93—98.

действовали два момента: 1) претерит и оптатив одинаково характеризовались вторичными окончаниями и 2) вторым моментом, облегчавшим это сближение, было постепенное исчезновение претеритальных форм.

Естественно, поэтому, что это сближение, замена наилучшим образом прослеживается в иранских языках, где старые претериты или их обычные функции начинают стираться еще в древности и оптатив постепенно и заблаговременно становится заместителем этих претеритальных форм.

Бенвенист приводит в указанной работе в подтверждение своего тезиса примеры из ряда иранских языков вплоть до современных восточноиранских языков, за исключением хорезмийского, грамматическое освещение которого было ему, по-видимому, в 1951 г. еще неизвестно.

Этот пробел заполняется Рысевичем, который в рецензируемой здесь работе об оптативе в функции прошедшего времени в хорезмийском привел необходимые данные, характеризующие эти формы, вплоть до парадигмы, ссылаясь на указанную выше работу советского ученого.

А. А. Фрейман

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1957

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РАБОТА НАД НОВЫМ СТАРОЧЕШСКИМ СЛОВАРЕМ

В этом году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти Яна Гебауэра, который оставил неоконченными два основных труда «Историческую грамматику чешского языка» и «Старочешский словарь»; последний начал выходить в 1900 г., но это издание прекратилось на 15-й тетради (до слова naliti— т. II, стр. 472). По картотечным материалам Я. Гебауэра проф. Э. Сметанка продолжил работу над «Старочешским словарем» и издал еще 2 тетради — 16-ю и 17-ю (1909 и 1913 гг., до слова netbalivost). Затем первая мировая война прервала это издание, которое, к сожалению, не было возобновлено, и столь необходимый труд остался неоконченным. Э. Сметанке удалось с помощью своих университетских слушателей провести только подготовительную работу по размножению словарных выписок Я. Гебауэра. После смерти Э. Сметанки в 1949 г. весь оставшийся материал был переведен в Институт чешского языка; Сектор истории языка должен был продолжить работу над «Старочешским словарем». Сначала предполагали продолжать словарь Я. Гебауэра на основе его материалов и с применением его методов, но критический разбор результатов этой работы обнаружил серьезные, прежде всего методические недостатки такого пути. Кроме того, выяснилось, что материал Я. Гебауэра, собранный им самим, не может быть достаточно надежным при работе, выполняемой коллективно. Это привело к решению не ограничиваться доведением до конца труда Я. Гебауэра, а приняться за составление нового словаря, отвечающего принципам современной лексикографии. Первым условием было, разумеется, значительное пополнение старочешской картотеки, основой которой являлся материал Я. Гебауэра. Эта работа стала вестись более быстрыми темпами с конца 1952 г., когда Институт чешского языка был включен во вновь организованную Чехословацкую Академию наук.

Уже в начале 1955 г. можно было разработать проект будущего словаря и на его основе составить достаточное количество пробных словарных статей; часть их вместе с кратким введением была издана в конце прошлого года («Старочешский словарь. Принципы работы и образцы словарных статей», литографиров. изд.[1]). Пробные статьи были подготовлены сотрудниками Сектора истории языка под руководством акад. Б. Гавранка и Фр. Рышанка и под редакцией М. Недведовой и Зд. Тыла. На основании этого материала Институт чешского языка решил организовать предварительную дискуссию, приложив к статьям письменную анкету. Анкета оправдала свое назначение: было получено более тридцати весьма ценных критических замечаний и отзывов. Успешной оказалась и дискуссия об основных проблемах «Старочешского словаря», проведенная с 28 февраля по 1 марта в Доме научных работников в Либлицах (около г. Мельника).

В дискуссии участвовало более сорока специалистов из Чехословацкой Академии и из всех чехословацких вузов; кроме языковедов, присутствовали также представители некоторых смежных научных дисциплин: историки, литературоведы, историки права и др. На совещании присутствовали также проф. Р. И. Аванесов из Москвы и проф. Ст. Урбанчик из Кракова. Перед началом совещания Р. И. Аванесов, руководитель коллектива, работающего над составлением древнерусского словаря, выступил с интересным докладом, посвященным некоторым общим вопросам исторической лексикологии и лексикографии и, в частности, проблеме подготовляемого древнерусского словаря [2]. Ст. Урбанчик поделился своим богатым опытом, который он приобрел, будучи главным редактором большого «Старопольского словаря», издаваемого с 1953 г. Польской Академией наук.

Совещание открыл директор Института чешского языка акад. Б. Гавранек. Руководитель Сектора истории языка Института чешского языка Зд. Тыл сделал отчет о ре-

---

[1] «Slovník staročeský. Pracovní zásady a ukázky hesel», Praha, 1956, 73 стр. [отпечат. множит. аппаратом].

[2] На эту тему Р. И. Аванесов сделал также обстоятельный доклад в Институте чешского языка 6 марта 1957 г.

зультатах, которые дала письменная анкета. Затем развернулась дискуссия по общим и частным вопросам (тип и объем словаря, характер словарных статей и т. п.). Почти все участники совещания высказали свое принципиальное согласие с общими принципами словаря, с его содержанием и объемом; возражения касались в основном второстепенных вопросов и отдельных словарных статей; ценны были дискуссионные замечания акад. Фр. Рышанка — одного из немногих оставшихся в живых учеников Я. Гебауэра.

Институт чешского языка планирует создать словарь старочешского языка среднего типа в трех томах, но, принимая во внимание значительное членение внутри словарных статей и обилие иллюстративного материала, речь будет идти о среднем словаре повышенного типа: можно предположить, что объем его будет приблизительно вдвое большим, чем был бы объем словаря Гебауэра, если бы тот был доведен до конца. Словарь охватит словарный запас старочешского языка от первых письменных памятников — литературных и нелитературных — вплоть до конца XV в., когда распространение гуманизма в Чехии и одновременное расширение книгопечатания оказало серьезное влияние на развитие письменного языка и его лексики. В Словарь будут включены все слова со всеми значениями, извлеченными из старочешской картотеки, над пополнением которой ведется интенсивная работа; слова и их отдельные значения будут сопровождаться тщательно подобранными иллюстрациями. В соответствии с принципом словаря Я. Гебауэра при выборе иллюстраций основное внимание будет уделяться примерам из наиболее древних памятников. В отношении рассмотрения материала с семантической стороны в словаре, в противоположность Я. Гебауэру, будет проведен принцип подробного и пунктуального членения.

При классификации значений по возможности будут исходить из значения, которое можно считать основным с точки зрения исторической и этимологической. В тех случаях, когда это значение не окажется представленным в памятниках и исчезло, очевидно, уже в древнечешский период, на первом месте будет дано самое типичное значение, разумеется, опять с точки зрения старочешского языка. Значения будут истолкованы новочешскими эквивалентами. С этой стороны старочешский словарь будет напоминать двуязычные словари. Но в случае надобности будет употреблено и перечисление признаков, а иногда — особенно у специальных ботанических, медицинских, философских, религиозных терминов — значение будет освещено современным латинским эквивалентом вместе с кратким вещественным толкованием. От последовательного приведения латинских эквивалентов (современных), как, например, это имеет место в «Старопольском словаре», отказались; но в иллюстрационной части словарных статей будут широко приведены современные латинские параллели, крайне важные для подлинного понимания значения слова. В заглавиях словарных статей будут отмечены некоторые формы, отличающиеся от новочешских; у слов, заимствованных из чужих языков, будет дано указание на их происхождение, у слов производных будут ссылки на основное слово; по возможности будут отмечены также и этимологические, и лексические толкования старочешских слов, которые утратились и не сохранились в новочешском языке, указания на их диалектальные и инославянские параллели и т. д.

Предполагаются и библиографические указатели важнейших статей к толкованию старочешских слов в фонетическом, морфологическом, словообразовательном, этимологическом и семантическом отношении; они будут приведены в конце отдельных словарных статей в особом абзаце. По практическим соображениям прежде всего будет издан второй том словаря (N—Ř), затем заключительный третий том (S—Ž); только после этого будет разработана остальная часть словаря (A—M). На эти буквы имеется пока «Старочешский словарь» Я. Гебауэра. По предварительным подсчетам указанные тома по своему объему будут равны томам недавно законченного «Настольного словаря чешского языка» (примерно 1000—1200 страниц, набранных петитом, в две колонки). Время, когда словарь выйдет из печати, пока еще трудно определить.

Итоги оживленной дискуссии были подведены акад. Гавранком. Он остановился на важнейших замечаниях и предложениях, оценил их с точки зрения поставленных задач и реальных возможностей и наметил в общих чертах основные принципы, которыми следует руководствоваться в дальнейшей работе над «Старочешским словарем».

Зд. Тыл

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ЛИНГВИСТОВ В ОСЛО [1]

VIII Международный конгресс лингвистов открылся в Осло 5 августа 1957 г. На заседании, посвященном открытию конгресса, с речью выступил президент конгресса Альф Соммерфельт (Осло, Норвегия). К. Морман (Неймеген, Нидерланды) доложила конгрессу о деятельности Постоянного Международного Совета лингвистов за период после VII Международного конгресса лингвистов, состоявшегося в Лондоне в 1952 г. С приветствием VIII конгрессу от предшествующего (VII-го) конгресса выступил Ф. Норман (Лондонский университет, Англия).

За время работы конгресса (5—9 августа) состоялось четыре пленарных заседания и двенадцать секционных заседаний, а также было заслушано около шестидесяти индивидуальных сообщений, время для которых предоставлялось каждое утро перед пленарными заседаниями. Первое пленарное заседание конгресса, проходившее под председательством Э. Бенвениста (Париж, Франция), было посвящено вопросу о значении типологических исследований для сравнительно-исторического языкознания. Р. Якобсон (Кембридж, Массачусетс, США), выступивший с докладом на эту тему, подчеркнул, что в основе структуры различных языков лежат одинаковые общие принципы, благодаря чему оказывается возможным их сравнение. Типологическое сопоставление языков обнаруживает их изоморфность. Для типологического исследования необходим не инвентарный перечень языковых фактов, а анализ системы, учитывающий иерархию явлений языка. Типология языков устанавливает законы импликации, согласно которым наличие одного явления влечет за собой наличие (или отсутствие) другого явления. В случае, если факты какого-либо одного языка противоречат закону, установленному для всех других языков, об этом законе можно говорить как о правиле, имеющем большую статистическую вероятность. Значение таких типологических законов для сравнительно-исторического языкознания докладчик показывает на примерах из сравнительной фонологии индоевропейских языков. В конце своего доклада Р. Якобсон останавливается на вопросе о соотношении синхронии и диахронии. Синхронное исследование позволяет обнаружить динамические законы перехода от одной системы к другой, так как каждое изменение вначале относится к синхронии. В прениях по докладу Р. Якобсона, в которых приняли участие В. Аллен (Кембриджский университет, Англия), К. Горалек (Прага, Чехословакия), Дж. Девото (Флоренция, Италия), Э. Зейдель (Берлин, ГДР), М. Коэн (Париж, Франция), Л. Р. Палмер (Оксфорд, Англия), Э. Хэмп (Чикаго, США), Г. Хэрдан (Бристоль, Англия) и другие лингвисты, обсуждались методы типологических исследований, соотношение типологии и синхронии, а также проблемы индоевропейского языкознания (реконструкция праязыка, вопрос о единственной гласной в свете ларингальной теории и др.).

Индоевропейским «ларингальным» было посвящено секционное заседание, на котором с докладом выступил А. Мартинэ (Париж, Франция). Исходя из общефонологических предпосылок, А. Мартинэ указал на возможность принятия десяти индоевропейских «ларингальных» фонем. На двух секционных заседаниях были заслушаны доклады о новых открытиях в индоевропеистике. В докладе о хеттском языке Ю. Курилович (Краков, Польша) показал, что многие особенности этого языка (в частности, система глагола) объясняются инновациями. В докладе Дж. С. Лэйна (Северная Каролина, США) был дан обзор современного состояния исследования тохарских языков. А. Товар (Саламанка, Испания) сделал доклад о древних индоевропейских языках Иберийского полуострова. Дж. Чедвик (Кембридж, Англия) выступил с докладом о языке крито-микенских греческих надписей линарного письма Б, которые были расшифрованы М. Вентрисом (погибшим в 1956 г.) совместно с Чедвиком.

Вопросы индоевропейского языкознания рассматривались также в индивидуальных сообщениях В. Пизани (Милан, Италия) «Реконструированный индоевропейский», К. Мастрелли (Флоренция, Италия) «Инновации в индоевропейском мире», В. Георгиева (София, Болгария) «Пеласгский» — вновь открытый индоевропейский язык», А. Карнуа (Лувен, Бельгия) «Ликийский, этрусский и индоевропейский», О. Парланджели (Мессинский университет, Италия) «Новые находки мессапских надписей». Проблемам хеттского языка были посвящены сообщения А. Хан (Нью-Йорк, США) «Залог в хеттском языке», В. Махка (Брно, Чехословакия) «Некоторые именные и глагольные суффиксы в хеттском и славянском», Г. Неймана (Гёттинген, ФРГ) «Пережитки хеттского и лувийского в эллинистическую эпоху», В. В. Иванова (Москва, СССР) «Значение новых данных хеттского и тохарских языков для сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков». Вопросы истории славянских языков освещались в сообщениях Ф. Байкатревича (Белград, Югославия) «Влияние восточных языков на сербо-хорватский», У. Мэтьюса (Лондон, Англия) «Фонетическая основа восточнославянского полногласия», К. Треймера (Вена, Австрия) «Иллирийцы и этногенез германцев и славян».

---

[1] Помещая информацию о работе Конгресса, редакция предполагает вернуться к его итогам в одном из следующих номеров журнала.

Второе пленарное заседание, на котором председательствовал Ч. Фриз (Энн Арбор, США), было посвящено проблеме дистрибутивного анализа. В докладе П. Дидерихсена (Копенгаген, Дания) «Значение распределения по сравнению с другими критериями при лингвистическом анализе» была дана критика понимания дистрибутивного анализа в американской лингвистике. Докладчик указывает на противоречия, возникающие при изложении методов дистрибутивного анализа в работах Сводеша, Блоха и Харриса. Считая необходимым использование коммутации при исследовании языка, П. Дидерихсен указывает на невозможность исключения значения из сферы лингвистического анализа. В содокладе Х. Спанг-Хассена (Копенгаген, Дания) «Типологический и статистический аспекты распределения в лингвистическом анализе» было подвергнуто критическому рассмотрению понятие «дополнительного распределения». Указывая на различия между статистическим и лингвистическим пониманием распределения, докладчик высказал предположение, что методы теории информации могут дополнить лингвистические методы дистрибутивного анализа. В обсуждении методов дистрибутивного анализа приняли участие И. Бар-Хиллел (Иерусалимский университет, Израиль), К. Горалек, Л. Ельмслев (Копенгаген, Дания), Л. Завадовский (Вроцлав, Польша), А. Мартинэ, К. Пайк (Калифорния, США), Г. Хэрдан и другие лингвисты, остановившиеся на проблеме различительной функции языковых единиц и ее связи с распределением, на вопросах применения статистических и логико-математических методов в лингвистике и др. Проблема методов лингвистического исследования была поставлена также в докладе К. Пайка, заслушанном на секционном заседании. Докладчик рассмотрел три способа анализа различных уровней языка: метод последовательного восхождения от низшего (фонемного) уровня к высшим, используемый Харрисом и Блохом, метод одновременного рассмотрения различных уровней, применяемый Ферсом и его школой, и метод интегрированного исследования взаимопроникновения фонологии, морфологии и синтаксиса, разрабатываемый самим К. Пайком. Методам лингвистического анализа были посвящены также индивидуальные сообщения Э. Хэмпа «Вычисления параметров морфологической сложности», Б. Сиртсема (Ибадан, Нигерия) «Дальнейшие мысли относительно глоссематической идеи описания лингвистических единиц только по их отношениям», Л. Завадовского «Так называемая относительная мотивация в языке», Р. Кирка (Дургем, Англия) «Некоторые ограничения метода субституции», Р. Валена (Квебек, Канада) «Применение к частной проблеме (употребление латинского имперфекта) методов анализа, используемых в психосистематике языка», Х. Глинца (Цюрих, Швейцария) «Рабочая гипотеза, эксперимент и интерпретация и их значение в различных направлениях языкознания». Методы синтаксических исследований освещались в индивидуальных сообщениях Н. Гарвина (Вашингтон, США) «Синтаксические единицы и операции», М. Регула (Грац, Австрия) «Мысли о структуральном синтаксисе в связи с критическими замечаниями о системе Л. Теньера», А. Хэтчер (Балтимор, США) «Семантический подход к синтаксическому анализу». Х. Рока Понс (Сантьяго, Куба) «Субъект и предикат». Вопросы применения математических методов в лингвистике были рассмотрены на секционном заседании, на котором с докладом «Математическая лингвистика» выступил Дж. Уотмо (Кембридж, Массачусетс, США), подчеркнувший значение для языкознания теории информации и математических методов анализа системы. Вопросам статистической лингвистики были посвящены также индивидуальные сообщения Г. Фанта и М. Рихтер (Стокгольм, Швеция) «Некоторые наблюдения над относительной встречаемостью букв, фонем и слов в шведском языке» и Г. Хэрдана «Относительность словарных пропорций».

На пленарном заседании, проходившем под председательством П. А. Аристэ (Тарту, СССР), Л. Ельмслев сделал доклад о возможностях структурного исследования значений слов. Коротко охарактеризовав историю семасиологии, Л. Ельмслев указал на несостоятельность логических методов универсальной семантики. Для использования понятия структуры в семасиологических исследованиях докладчик считает необходимым введение понятия ценности (в понимании де Соссюра). Значение метода коммутации для структурного исследования лексики Л. Ельмслев иллюстрирует сопоставлением слов различных языков со сходными значениями. В семантических единицах различаются несколько уровней: знаки (слова), части знаков, минимальные единицы (корень, аффикс). Слова обычно образуют открытый класс (с безграничным числом элементов) в отличие от грамматических единиц, образующих замкнутые классы (со счетным числом элементов). Для структурного исследования необходимо сведение открытых классов к замкнутым посредством разложения плана содержания на составные части (подобно тому, как структурное описание плана выражения выделяет единицы, из которых состоят знаки). По мнению Л. Ельмслева, семантическое описание должно состоять прежде всего в сопоставлении языка с другими социальными установлениями. Оно должно образовывать область, где лингвистика соприкасается с другими социальными науками. Для этого необходимо находить «ключевые слова», характеризующие общество данной эпохи, и исследовать функциональную сеть подчиненных слов, зависящих от ключевых, и иерархию, определяющую эту функциональную сеть. В прениях по докладу Л. Ельмслева приняли участие Э. Бюиссанс (Брюссель, Бельгия), Э. Вюстер (Визельбург, Австрия), Л. Прето (Кордоба, Аргентина), П. Эринга (Хемстеде,

Нидерланды) и другие ученые. В ходе прений обсуждались вопросы соотношения означаемого и означающего, нейтрализации семантических противопоставлений, структуры систем терминов и др. Вопросы анализа значений слов рассматривались также в докладе Т. Кнудсена и А. Соммерфельта (Осло, Норвегия) «Принципы определений значений слов в толковом словаре», который был заслушан на секционном заседании. Т. Кнудсен и А. Соммерфельт изложили принципы построения диахронических и синхронических словарей и остановились на методах, использованных докладчиками в составленном ими словаре норвежского языка (1930—1957 гг.). Проблемам семасиологии были посвящены также индивидуальные сообщения Н. Андриотиса (Салоники, Греция) «Греческая семасиология» и Э. Рейфлера (Вашингтон, США) «Несколько существенных примеров, показывающих значение сравнительной семасиологии для исторического языкознания», И. Бар-Хиллела «Роль теоретических терминов в лингвистике». Поставленный Л. Ельмслевом в его докладе вопрос о связи языка с культурой общества, говорящего на этом языке, освещался также в докладе Х. Хойера (Лос-Анжелос, США) «Реакция носителя языка как критерий при лингвистическом анализе». Х. Хойер охарактеризовал различное решение этого вопроса в работах последователей Блумфилда и в школе Пайка (продолжающей традицию Сэпира) в США, а также в глоссематике Ельмслева и в трудах представителей Пражской школы в Европе. Присоединяясь в основном к точке зрения школы Пайка, докладчик указывает на взаимопроникновение подсистем языка и на неотделимость языка от культуры общества. Вопросам связи языка и культуры было посвящено индивидуальное сообщение Ф. Кемени (Осло, Норвегия) «Отражается ли в языке развитие современного мышления?».

На пленарном заседании, проходившем под председательством Д. Фрая (Лондон, Англия), был заслушан доклад Эли Фишер-Йёргенсен (Копенгаген, Дания) о значении для лингвистики новейшей техники акустической фонетики. Докладчица подчеркнула значение лингвистического анализа как предварительной основы акустических исследований и отметила необходимость тесного сотрудничества между лингвистами, инженерами связи и психологами. В докладе Э. Фишер-Йёргенсен был дан обзор новейшей акустической аппаратуры и результатов, полученных благодаря ее использованию при анализе гласных, согласных и просодических явлений, а также при исследовании взаимосвязи артикуляционного, акустического и слухового аспектов речи и членения звучащей речи. В конце своего доклада Э. Фишер-Йёргенсен останавливается на вопросе о дифференциальных признаках и приводит некоторые экспериментальные данные, которые могут подтвердить бинарный (двоичный) характер противопоставлений дифференциальных признаков. Докладчица выражает сомнение относительно возможности установления универсальных дифференциальных признаков для всех языков. Для целей коммуникации необходимо только, чтобы единицы в одинаковом окружении характеризовались постоянными различиями. Но варианты двух фонем могут в разном окружении различаться посредством разных фонетических черт, что делает затруднительным обнаружение общего знаменателя. Докладчица указывает также на сложность акустического определения дифференциальных признаков, установленных на основе артикуляции и восприятия. Э. Фишер-Йёргенсен отмечает, что новейшая техника акустической фонетики не является средством обнаружения функциональных единиц, но позволяет дать их фонетический анализ и тем самым способствует решению важнейших проблем лингвистики и психологии. В прениях по докладу участвовали К. Боргстрём (Осло, Норвегия), Э. Косериу (Монтевидео, Уругвай), П. Ладефогед (Эдинбург, Англия), Т. Уитли (Лондон, Англия), Г. Фант, Ж. Фурке (Страсбург, Франция), Р. Якобсон и другие лингвисты. В прениях обсуждалось соотношение различных этапов процесса речи, проблемы психологии восприятия речи и его неврологический аспект и др. На секционном заседании был заслушан доклад Г. Фанта о современных инструментах и методах электроакустического изучения речи, сопровождавшийся демонстрацией новейшей аппаратуры. Участникам конгресса был представлен также в напечатанном виде доклад Г. Петерсона (Мичиганский университет, США) «Основные проблемы анализа и синтеза речи». Специальное заседание было посвящено демонстрации машины для синтеза речи, осуществленной П. Стревенсом (Эдинбург, Англия) совместно с Дж. Антони (Эдинбург, Англия). Участникам конгресса был также показан фильм о работе гортани. Фонетическим вопросам были посвящены индивидуальные сообщения Э. Цвирнера (Брауншвейг, ГДР) «Задачи и результаты фонометрии», Р. Стопа (Краков, Польша) «Энергия, производящая речь, и типы фонетических систем», Х. Треби (Лаборатория Хаскинс, Нью-Йорк, США) «Наблюдения над видимой и неделимой речью», Д. Фрая «Восприятие ударения», Б. Хольмберга (Гётеборг, Швеция) «Некоторые замечания об акустической структуре шведского словесного ударения», К. Сёдерберга (Мальмё, Швеция) «Экспериментально-фонетическое исследование английского ударения», М. Дюран (Париж, Франция) «Проблемы понятности в фонетической реализации», М. Диллона (Дублин, Ирландия) «Проблема структуральной фонологии», Х. Пенцля (Энн Арбор, США) «Орфографические свидетельства различных типов фонологических изменений». На секционном заседании, посвященном вопросам машинного перевода, были заслушаны доклады П. Гарвина об общей пробле-

матике машинного перевода, У. Локка и В. Ингве (Массачусетский Технологический институт) о работе над машинным переводом в Массачусетском Технологическом институте, Э. Рейфлера о работе над машинным переводом в Вашингтонском университете, а также сообщения М. Хэллидэя (Кембридж, Англия) о работе кембриджской группы, письменное сообщение о работе лондонской группы и сообщение В. В. Иванова о работе советских специалистов по машинному переводу.

На секционном заседании, посвященном прикладной лингвистике, были поставлены доклады Ч. Фриза о составлении учебных грамматик и словарей для изучения иностранных языков в связи с применением принципов дескриптивной лингвистики и Дж. Берри (Институт африкановедения и востоковедения, Лондонский университет, Англия) о составлении алфавитов. В качестве индивидуального сообщения был заслушан доклад Е. А. Бокарева (Москва, СССР) «Опыт создания письменности для народов СССР». Вопросов письменности касалось также индивидуальное сообщение С. Юстес (Лондон, Англия) «Реформа английского правописания». Применение методов современной лингвистики в педагогических целях освещалось в индивидуальных сообщениях М. Горошa (Эльвшё, Швеция) «Английский язык без книги и без учителя, в начальной школе (7—11 лет), зрительно-слуховой метод» и В. Маккея (Квебек, Канада) «Теория структурной последовательности».

На секционном заседании был поставлен доклад Э. Хаугена (Висконсинский университет, США) «Контакт языков», в котором излагались результаты новейших исследований взаимодействия языков. Участникам конгресса был также представлен в напечатанном виде содоклад Э. Вейнрейха (Колумбийский университет, США), о различных точках зрения, с которых можно исследовать двуязычие, используя новейшие достижения лингвистики (синтез звуков, статистические методы и др.). Проблем двуязычия касалось также индивидуальное сообщение Я. Рудницкого (Виннипег, Канада) «Проблемы ономастического двуязычия в Канаде и США».

На секционном заседании с докладом «Лингвистический структурализм и исследования диалектной географии» выступил В. Дорошевский (Варшава, Польша). Остановившись на понимании языка у Соссюра, В. Дорошевский указал затем на значение количественного изучения явлений речи для диахронических исследований. Вопросам лингвистической географии были посвящены индивидуальные сообщения М. Деановича (Загреб, Югославия) «Об осуществлении средиземноморского лингвистического атласа» и Дж. Эйкина (Колорадо, США) «Диалектные системы США». Б. А. Серебренников (Москва, СССР) сделал индивидуальное сообщение на тему «История языка и ареальная лингвистика». Методам изучения истории языка были посвящены также индивидуальные сообщения И. Вахка (Прага, Чехословакия) «Несколько замечаний о развитии языка как системы систем», А. А. Принса (Лейден, Нидерланды) «Применение структурных методов к историческому исследованию английского языка», Р. Деролеса (Гент, Бельгия) «Норма и употребление в позднем древнеанглийском».

Вопросам истории финно-угорских языков были посвящены сообщения П. А. Аристэ (Тарту, СССР) «Связь между северным и южным эстонским языком» и Б. Кальмана (Дебрецен, Венгрия) «История конечных гласных в финно-угорских языках». А. Гриера (Барселона, Испания) сделал сообщение «Происхождение баскского языка». Языкам Древнего Востока были посвящены индивидуальные сообщения Ж. Гарно (Париж, Франция) «Современное состояние лингвистических исследований по египтологии» и А. Пэля (Рим, Италия) «Новые исследования по шумерской грамматике и лексикографии». Л. Омбюрже (Париж, Франция) сделала сообщение на тему «Дравидийцы и Африка». А. Одрикур (Париж, Франция) выступил с сообщением «Связи и отношения между языками Юго-Восточной Азии и Океании». Х. Хойер посвятил свое сообщение «Новейшим открытиям в области сравнительной грамматики атабаскских языков». Проблемы аффриканистики освещались в индивидуальных сообщениях Х. Улдалля (Ибадан, Нигерия) «О гармонии гласных в некоторых западно-африканских языках» и Н. Хеддок (Ибадан, Нигерия) «Некоторые аспекты языка бариба». Ш. Мораг (Иерусалим, Израиль) выступил с сообщением «Особый тип эволюции: аспекты исследования в лингвистической традиции». Дж. М. Ричардс (Ливерпульский университет, Англия) сделал сообщение «Изучение названий мест в Уэльсе».

На заключительном заседании конгресса генеральный секретарь конгресса Х. Вугт (Осло, Норвегия) подвел итоги работы конгресса. С приветственными речами выступили: А. Хан — от имени делегации США, Б. А. Серебренников — от имени делегации СССР, Э. Бенвенист — от имени делегации Франции, Л. Пальмер — от делегации Англии, В. Пизани — от делегации Италии. С заключительной речью выступил президент конгресса Альф Соммерфельт.

В работе конгресса принимали деятельное участие делегации ряда стран народной демократии и делегация СССР, в состав которой входили Б. А. Серебренников (глава делегации), П. А. Аристэ, Е. А. Бокарев, В. В. Иванов, С. А. Миронов, Э. Н. Пялль. Во время обсуждения докладов и сообщений и в ходе бесед между участниками конгресса проявлялся живой интерес к советской лингвистической науке. VIII Международный конгресс лингвистов способствовал расширению и укреплению связей советских лингвистов с языковедами зарубежных стран.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

30—31 октября состоялось общее собрание Отделения литературы и языка АН СССР, посвященное 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Академик-секретарь Отделения акад. В. В. Виноградов выступил на собрании с сообщением о проблемно-тематическом плане научно-исследовательских работ Отделения на 1958 г. Были также прочитаны доклады: «Достижения русского советского языкознания в области лексикографии» (член-корр. АН СССР С. Г. Бархударов), «Восточнославянские рефлексы так называемой новоакутовой интонации» (член-корр. АН СССР Л. А. Булаховский), «Основные проблемы изучения языка русской художественной литературы» (акад. В. В. Виноградов), «Иберийско-кавказское языкознание, его общелингвистические установки и основные достижения» (акад. АН Груз. ССР А. С. Чикобава), «Развитие арменистики в советский период» (член-корр. АН Арм. ССР А. С. Гарибян), «Терминотворчество — один из решающих факторов обогащения казахского литературного языка советского времени» (акад. АН Казахск. ССР С. К. Кенесбаев).

Доклады В. В. Виноградова и С. Г. Бархударова опубликованы соответственно в журналах «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка» (1957, № 5) и «Вопросы языкознания» (1957, № 5). Доклад Л. А. Булаховского будет опубликован в одном из ближайших номеров нашего журнала

Юбилейное расширенное заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР в ознаменование 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции было проведено 24—25 октября. Заседание открылось вступительным словом директора Института проф. В. И. Борковского. Затем были заслушаны доклады доктора филол. наук Ю. Д. Дешериева «Об изучении младописьменных языков СССР», доктора филол. наук Р. И. Аванесова «Достижения современного языкознания в области русской лингвистической географии» и старшего научн. сотр. Института С. И. Ожегова «Развитие русского литературного языка в советскую эпоху».

В обсуждении докладов приняли участие старшие научн. сотр. Института П. С. Кузнецов, Е. Н. Убрятова, А. М. Бабкин и А. А. Реформатский.

В октябре с. г. в Московском государственном университете состоялась научная конференция «Ломоносовские чтения», посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На заседаниях секции филологии выступили с докладами: акад. В. В. Виноградов «О развитии советского языкознания за 40 лет», проф. Е. М. Галкина-Федорук «О развитии русского языкознания за 40 лет», проф. С. Б. Бернштейн «О развитии славянской филологии за 40 лет», доц. О. С. Ахманова «Романо-германское языкознание за 40 лет»

На заседаниях секции восточных языков были заслушаны доклады канд. филол. наук Э. А. Грунина «Достижения советской тюркологии за 40 лет» старш. преподавателя Ш. С. Айлярова «Языковая реформа в Турции», старш. научн. сотр. Т. П. Задоенко «О границах между словом и словосочетанием в связи с проблемой реформы китайской письменности». На заседании кафедры древних языков доц. В. С. Соколов сделал доклад «Публикации греко-латинских источников за 40 лет».

В чехословацком журнале «Slovo a slovesnost» в № 1 за 1957 г. помещено подробное изложение передовых статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в № 3 и в № 4 за 1956 г.

Румынский еженедельник «Veac nou» в номере от 9 августа 1957 г. поместил статью Котяну «Интересная лингвистическая дискуссия». В статье дается обзор материалов, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в связи с обсуждением вопросов лингвистического структурализма.

В Швейцарии летом 1957 г. начал выходить новый международный журнал «Phonetica», публикующий статьи по вопросам общей, экспериментальной и исторической фонетики и фонологии. Из советских лингвистов в редакцию журнала входят Р. И. Аванесов и А. А. Реформатский.

В г. Уппсала (Швеция) в августе 1957 г. состоялся съезд скандинавских славистов.

В «Информационном бюллетене ЮНЕСКО» (№ 7, 1 августа 1957 г.) помещена информация о книге «Научный и технический перевод и другие проблемы языка», изданной ЮНЕСКО в 1957 г. В книге рассматриваются проблемы организации перевода, создания терминологии, изучения учеными иностранных языков. В Приложении к книге дается библиография по вопросам научного и технического перевода.

В Массачусетском технологическом институте (Кембридж, штат Массачусетс, США) создан центр по изучению языка объединенными усилиями специалистов в разных областях знания (лингвистов, математиков, физиологов и др.). В работе центра принимает участие создатель современной теории информации Клод Шеннон.

По сообщению английского журнала «Africa» (т. XXVII, № 2, апрель 1957 г.), в ноябре 1956 г. в Лондоне под председательством проф. Гутри («School of African and oriental studies» при Лондонском университете) состоялся Международный конгресс лингвистов, специалистов по африканским языкам. В конгрессе приняли участие лингвисты из Бельгии, Франции, Федерации Родезии и Ньясаленда, Португалии, Южно-Африканского союза, Великобритании, а также наблюдатели ЮНЕСКО и Восточно-африканского института социальных исследований. На конгрессе обсуждалось предложение о создании Межафриканского лингвистического комитета в рамках Межафриканского комитета социальных наук. Конгресс принял проект устава комитета, а также рекомендовал создание Комитета по традиционной африканской литературе, в функции которого входила бы публикация африканской литературы в английском или французском переводе, а также организация записи устного народного творчества африканских народов. Конгресс обсудил, кроме того, современное состояние исследовательской работы в различных областях изучения африканских языков и возможность переиздания научных работ, посвященных этим языкам.

В Лондоне в 1957 г. вышла в английском переводе книга французского этнографа А. Метро «Остров Пасхи» (A. Metraux «Easter Island»). В новом английском издании книги прибавлен раздел, посвященный работам советских ученых по расшифровке письменности острова Пасхи. Высоко оценивая труды Б. Г. Кудрявцева, Д. А. Ольдерогге, Н. А. Бутинова и Ю. В. Кнорозова, А. Метро указывает на значение этих трудов и последних исследований западногерманского исследователя Бартеля для окончательного решения проблемы письменности острова Пасхи.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1957 г.

Передовая

Пути развития советского языкознания . . . . . № 5

Статьи

Андреев Н. Д. — Периодизация истории индоевропейского праязыка . . . № 2
Бархударов С. Г. — Русская академическая лексикография за 40 лет . . № 5
Булаховский Л. А. — Грамматическая индукция в славянском склонении . . . . . № 3
Гурычева М. С. — Основные линии развития словосочетаний во французском языке . . . . . № 6
Гухман М. М. — Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание и типологические исследования . . . . . № 5
Дешериев Ю. Д. — Создание письменностей для языков народов СССР . . . № 5
Кнорозов Ю. В. — Проблема изучения иероглифической письменности майя . . . . . № 5
Миронов С. А. — Некоторые вопросы сравнительной морфологии немецких диалектов (Система склонения) . . . . . № 3
Мухин А. М. — О категории падежа в современном английском языке . . . . № 2

Орлова В. Г. — Типы употребления аффрикат как различительный признак русских народных говоров . . . . . № 1
Серебренников Б. А. — Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой аттракции . . . . . № 4
Степанов Г. В. — Проблема изучения испанского языка Латинской Америки . . . . . № 4
Сунник О. П. — К типологической характеристике языков тунгусо-маньчжурской группы . . . . . № 6
Трубачев О. Н. — Принципы построения этимологических словарей славянских языков . . . . . № 5
Щербак А. М. — Способы выражения грамматических значений в тюркских языках . . . . . № 1

Сообщения и заметки

Апресян Ю. Д. — Проблема синонима . . . . . № 6
Борковский В. И. — Фонетико-морфологические заметки о грамотах на бересте из раскопок 1953—1954 гг. . . . . № 4
Вавслова М. Л. — Сложные предложения с союзом *чем-тем* . . . . . № 2
Гаджиева Н. З. — Критерии выделения придаточных предложений в тюркских языках . . . . . № 3
Гвоздев А. Н. — Обладают ли позиции различительной функцией? . . . . № 6
Жилко Ф. Т. — О некоторых особенностях современного изучения диалектов украинского языка . . . . . № 5
Жуковская Л. И. — Типы лексических различий в диалектах русского языка . . . . . № 3
Зиндер Л. Р. — О звуковых изменениях . . . . . № 1
Иванов С. Н. — Категория залога в определительных сочетаниях с формой на *-ган* в узбекском языке . . . . . № 2
Иванова Т. А. — Из истории именного склонения . . . . . № 6
Крейнович Е. А. — Об изучении юкагирского языка . . . . . № 5
Крупаткин Я. Б. — К вопросу о стяжении германских *ai*, *au* . . . . . № 4
Лыткин В. И. — Изучение диалектов коми языка . . . . . № 5
Махек В. — Славянская клеть и ее название . . . . . № 1
Некоторые новые данные о русских народных говорах (по материалам диалектологических атласов) . . . . . № 5
Правдин А. Б. — К вопросу о праславянских значениях дательного падежа . . . . . № 6
Расевский М. В. — О двух предлогах *unter* в современном немецком языке . . . . . № 4
Реформатский А. А. — Фонологические заметки . . . . . № 2
Сенкус Ю. Ю. — Исследование литовских диалектов. . . . . № 5
Стойков Ст. — Социальные диалекты (на материале болгарского языка) . . № 1
Суперанская А. В. — Грамматические наблюдения над именами собственными. . . . . № 4
Терещенко Н. М. — К вопросу о взаимоотношении самодийских языков с языками других групп . . . . . № 5
Трубачев О. Н. — К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства . . . . . № 2
Фельдман Н. И. — Окказиональные слова и лексикография . . . . . № 4
Ференс Г. Ф. — О типах словообразовательной формы слов (На материале современного немецкого языка) . . . . . № 4
Чичагов В. К. — Вопросы русской исторической ономастики. Об отношении русских имен к греческим в русском языке XV—XVII вв. . . . . № 6
Шапиро А. Б. — К учению о второстепенных членах предложения в русском языке . . . . . № 2
Шведова Н. Ю. — Междометия как грамматически значимый элемент предложения в русской разговорной речи . . . . . № 1
Шеворошкин В. В. — К истории индоевропейского генитива . . . . . № 6
Яхонтов С. Е. — Проект китайского алфавита . . . . . № 3

Дискуссии и обсуждения

Абаев В. И. — О подаче омонимов в словаре . . . . . № 3
Деборин А. М. — Заметки о происхождении и эволюции научных понятий и терминов . . . . . № 4
Комиссаров В. Н. — Проблема определения антонима (О соотношении логического и языкового в семасиологии) . . . . . № 2

Левковская К. А. — О принципах структурно-семантического анализа языковых единиц (На материале немецкого языка) . . . . . № 1
Мельничук А. С. — К оценке лингвистического структурализма . . . . . № 6
Микуш Ф. — Обсуждение вопросов структурализма и синтагматическая теория . . . . . № 1
Пиотровский Р. Г. — Структурализм и языковедческая практика (Возможна ли структуральная диалектология?) . . . . . № 4
Ревзин И. И. — Структуральная лингвистика, семантика и проблемы изучения слова . . . . . № 2
Реформатский А. А. — Что такое структурализм? . . . . . № 6
Рубинштейн С. Л. — К вопросу о языке, речи и мышлении . . . . . № 2
Стеблин-Каменский М. И. — Несколько замечаний о структурализме . . . . . № 1
Трнка Б. и др. — К дискуссии по вопросам структурализма . . . . . № 3
Штибер З. — Слово в дискуссии о структурализме . . . . . № 3
Щедровицкий Г. П. — Языковое мышление и его анализ . . . . . № 1

Языкознание и школа

Панов М. В. — О преподавании «Истории отечественного языкознания» . . . № 3

Из истории языкознания

Винокур Г. О. — Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике . . . . . № 2
Иванов Вяч. Вс. — Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова . . . . . № 3
Поливанов Е. Д. — Фонетические конвергенции . . . . . № 3
Поспелов Н. С. — О лингвистическом наследстве С. Карцевского . . . . . № 4
Селищев А. М. — О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка . . . . . № 4
Трубачев О. Н. — Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского . . . . . № 6

Языкознание, теория информации и машинный перевод

Андреев Н. Д. — Машинный перевод и проблема языка-посредника . . . . № 5
Зиндер Л. Р. — Об одном опыте содружества фонетиков с инженерами связи . . . . . № 5

Опыты машинного перевода

Молошная Т. Н. — Некоторые вопросы синтаксиса в связи с машинным переводом с английского языка на русский . . . . . № 4
Молошная Т. Н., Пурто В. А., Ревзин И. И., Розенцвейг В. Ю. — Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода . . . . . № 1

Критика и библиография

Ахманова О. С. — *А. А. Реформатский*. Введение в языкознание . . . . № 1
Ахманова О. С. — *R. Jakobson and M. Halle*. Fundamentals of language . . № 3
Баскаков А. Н. — Обзор лингвистических статей в журнале «Турецкий язык» . . . . . № 4
Бородина М. А. — *P. Fouché*. Traité de prononciation française . . . . . № 6
Бородина М. А. — *M. Toussaint*. La frontière linguistique et Lorraine . . . № 4
Былинский К. И. и Розенталь Д. Э. — Орфографический словарь русского языка . . . . . № 5
Гаринова Н. Д. — *Zs. Telegdi*. Beiträge zur historischen Grammatik des Neupersischen. Über die Partikelkomposition im Neupersischen . . . . . № 1
Гинзбург Р. С. — *P. Guiraud*. La sémantique . . . . . № 1
Грунина Э. А. — *J. Deny*. Principes de grammaire turque («turk» de Turque). . № 6
Дыбо В. А. — *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch . . . . № 2
Зиндер Л. Р. — *Н. Р. Аванесов*. Фонетика современного русского литературного языка . . . . . № 5
Иллич-Свитыч В. М. — *V. Machek*. Česká a slovenská jména rostlin . . . . № 2
Иллич-Свитыч В. М. — *J. Schütz*. Die geografische Terminologie der Serbokroatischen . . . . . № 4

Ильиш Б. А. — Новые работы по истории английского языка . . . . . № 2
Исаев М. И. — Последние зарубежные труды об осетинском языке . . . . . № 4
Искоз А. М., Эйхбаум Г. Н. и Фомина Н. П. — *В. Г. Адмони*. Введение в синтаксис современного немецкого языка . . . . . № 1
Исаченко А. В. — О книге П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии» . . . . . № 3
Катагощина Н. А. — Романо-германская филология. Сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева . . . . . № 5
Клепикова Г. П. — *B. Rosenkranz*. Historische Laut- und Formenlehre des Altbulgarischen (Altkirchenslavischen), *H. Y. Lunt*. Old Chirch slavonic Grammar . . . . . № 3
Коломиец В. Г. и Мельничук А. С. — *Fr. Trávníček*. Historická mluvnice česka. III . . . . . № 5
Копецкий Л. — «Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника» . . . . . № 2
Кржевская О. В. — *Р. Г. Пиотровский*. Очерки по грамматической стилистике французского языка . . . . . № 4
Кубрякова Е. С. — Bibliographie linguistique des années 1939—1953 . . . № 2
Кузнецов П. С. — *F. Liewehr*. Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen . . . . . № 2
Кузнецова А. И. — *J. M. Carlsen and P. M. H. Edwards*. A Numericon of Russian Inflections and stress Patterns . . . . . № 4
Кузнецова А. И. — *J. R. Hulbert*. Dictionaries British and American . . . № 2
Курашкевич В. П. — «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот» . . . . . № 2
Курышжанов А. — *Ш. Ш. Сырыбаев*. Библиографический указатель по казахскому языку . . . . . № 5
Лебедева Г. Г. — *B. T. Sozzi*. Aspetti e momenti della questione linguistica . . . . . № 4
Левитская Н. Г. — *K. Nitsch*. Wybór pism połonistycznych . . . . . № 1
Лыткин В. И. — *W. Steinitz*. Geschichte des Wogulischen Vokalismus . . . . № 3
Мазур Ю. Н. — *А. А. Холодович*. Очерк грамматики корейского языка . . . № 2
Мартемьянов Ю. С. — *H. Weber*. Das Tempussystem des Deutschen und des Französischen. Übersetzungs und Strukturprobleme . . . . . № 2
Мельчук И. А. — *Ch. Bruneau*. Petite histoire de la langue française. T. I № 2
Мельчук И. А. — *P. Guiraud*. Index du vocabulaire du théatre classique . . . № 3
Мельчук И. А. — *V. G. Hez*. Vocabulario usual, vocabulario común y vocabulario fundamental . . . . . № 4
Миронов С. А. — *P. C. Paardekooper*. Sintaxis, spaakkunst en taalkunde . . № 6
Михаилэ Г. — Limba romînă. Fonetică — Vocabular — Gramatică . . . . № 4
Михайлов М. А. — *A. Dostál*. Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině . . . . . № 1
Михальчи Д. Е. — Три работы акад. В. Ф. Шишмарева . . . . . № 5
Мурат В. П. — *E. Leisi*. Das heutige English. Wissenszüge und Probleme . . . № 2
Мурат В. П. — *E. Otto*. Stand und Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft . . . . . № 2
Ожегов С. И. — О крылатых словах (По поводу книги П. С. и М. Г. Ашукиных «Крылатые слова») . . . . . № 2
Пейсиков Л. С. — Новые работы профессора М. Моина . . . . . № 1
Рожновская М. Г. — «Сборник в чест на академик Александр Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина» . . . . . № 3
Слюсарева Н. А. — *Ch. F. Hockett*. A manual of phonology . . . . . № 1
Смирнов Л. Н. — «Kapitoly ze srovnávasí mluvnice ruské a české». I . . . . № 3
Сорокин Ю. С. — Словарь языка Пушкина в четырех томах. Т. 1 . . . . . № 5
Степанов Г. В. — *Fernando Lázaro Carreter*. Diccionario de términos filológicos . . . . . № 3
Терещенко Н. М. — *T. Lehtisalo*. Juraksamojedisches Wörterbuch . . . . № 6
Тихомирова Т. С. — *H. Koneczna, W. Zawadowski*. Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich . . . . . № 4
Толкачев А. И. — Обзор зарубежных славистических журналов [Вопросы славянского языкознания в польских лингвистических журналах (1954—1955)] . . . . . № 4
Томашевский Б. В. — *B. O. Unbegaun*. Russian versification . . . . . № 3
Трубачев О. Н. — *H. Frisk*. Griechisches etymologisches Wörterbuch . . . № 3
Усманов Н. К. — *T. W. Thacker*. The relationship of the semitic and egyptian verbal systems . . . . . № 2
Фрейман А. А. — Письмо в редакцию . . . . . № 6
Фрумкина Р. М. — *E. Alarcos Llorach*. Fonologia espanola . . . . . № 3

Фрумкина Р. М. — *S. Elia*. Orientações da linguística moderna . . . . . № 4
Цейтлин Р. М. — *L. Sadnik und R. Aitzetmüller*. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten . . . . . № 3
Щур Г. С. — *A. Jóhannesson*. Isländisches etymologisches Wörterbuch . . № 2

Обзоры

Баскаков Н. А. — Состояние и ближайшие перспективы изучения караимского языка . . . . . № 6
Белкин В. М. — Арабское языкознание последних лет . . . . . № 6

Письма в редакцию и консультации

Пассек В. В. — Некоторые вопросы конверсии . . . . . № 1
По поводу одного обзора . . . . . № 1
Серебряков И. Д. — Письмо в редакцию . . . . . № 1
Соколова М. А. — Письмо в редакцию . . . . . № 1

Научная жизнь

Анацкий И. Н., Григорьев В. П. — В Институте языкознания АН СССР . . . . . № 2
Баскаков Н. А. — Читательские конференции в Казахстане, Киргизии и Туркмении . . . . . № 4
В Институте языкознания АН СССР . . . . . № 4
VIII Международный конгресс лингвистов в Осло . . . . . № 6
Гаджиева Н. З. — Координационное совещание по диалектологии тюркских языков . . . . . № 3
Гаджиева Н. З., Оруджев А. Г., Орлова В. Г. — Координационные совещания в Алма-Ате, Баку и Тбилиси . . . . . № 2
Горалек К. — Чешские лингвистические работы по славистике за 1945—1955 гг. . . . . № 3
Жуковская Л. П. — Юбилей Остромирова евангелия . . . . . № 5
Калинин А. В. — Межвузовское совещание языковедов . . . . . № 2
Кирай П. — Славянское языкознание в Венгрии за последние десять лет . . № 1
Коготкова Т. С., Григорьев В. П. — В Институте языкознания АН СССР . . . . . № 1
Коклянова А. А. — Первая Всесоюзная конференция востоковедов . . . № 5
Колпаков А. П. — Языкознание в Таджикистане . . . . . № 5
Лепика М. Я. — Обсуждение рукописи первого тома «Грамматики современного латышского литературного языка» . . . . . № 3
Марош В. Ф. — Заседание Международного комитета славистов в Праге . . № 4
Марош В. Ф. — Чехословацкая общегосударственная конференция по сравнительно-историческому изучению славянских языков . . . . . № 4
Мацюсович Я. В. — Польские языковеды к юбилею Мицкевича . . . . . № 1
Мельчук И. А. — Совещание по вопросам разработки информационных машин . . . . . № 5
Михальчи Д. Е. — Языкознание в академиях союзных республик и в филиалах Академии наук СССР . . . . . № 1
О тематическом плане журнала «Вопросы языкознания» на 1958 год . . . . . № 5
Паулини Е. — Словацкое языкознание после 1945 г. . . . . № 4
Силина Л. А. — В Комитете технической терминологии АН СССР . . . . № 2
Тыл Зденек — Работа над новым старочешским словарем . . . . . № 3
Хроникальные заметки . . . . . № 6
Хроникальные заметки . . . . . № 4
Хроникальные заметки . . . . . № 5
Хроникальные заметки . . . . . № 6
Шмелев Д. Н. — Третье Всесоюзное совещание по древнерусской литературе . . . . . № 5

Т-10891 Подписано к печати 27. XII. 1957 г. Тираж 9925 экз. Зак. 306.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 4. Печ. л. 10,96. Уч.-изд. л. 13,6.

1-я типография Издательства Академии Наук СССР. Ленинград, В-34, 9 л., д. 12

Исправления
в журнале «Вопросы языкознания»
№ 3, 1957 г.

Стр.	Строка сверху	Строка снизу	Напечатано	Следует читать
3		14	*kremēna*	*kremẽno*
4	8		*stijela*	*strijela*
4	28		*glávõm*	*glạ̑võm*
6		11—10	и в сербском языке), слово стоит особняком, как несклоняемое и среднего рода;	и в сербском языке, слово стоит особняком, как несклоняемое и среднего рода);
7	17		*gõspoja*	*gõspojo*
7	23		*planina*	*plȁnina*
10		8	Łubelskim	Lubelskim
11		21	*mõst*	*mọ̃st*
11		22	*мọ̃ст*	*мọ̃ст*
13	6		к старому ѣ	к старому ѣ
13	Сноска	3	См. «Slovenska slovnica»	См. A. Breznik, «Slovenska slovnica»
14		14	*ѣедра*	*ѣедра*
17		3	Viden	Videň
70		23	*"myāt» < mit*	*"myāt > mit*
96	6		t ç	tç'
96	13		ʃ	ʂ
97	2		ʤ	ʤ
97		5	[əᴬ]	[/əᴬ]
97		22	[fanvǧan]	[/fan\ǧan]
97		23	[faŋ/an]	[—faŋ\an]
98	8		ǵ	ŋ
98	24		звук [ī]	звук [ĭ]
98		13	[ɹ]	[ʒ]
98		23	но после них	но после них
98		25	перед [ī]	перед [i]
99	9		[əᵛ]	[əᴬ]
99	18		*á, à, ǎ, a*	*á, á, ǎ, a*
99		25	[/xəᴬ/ixn]	[/xəᴬ/iæn]
99		26	[—xei/an]	[—xei\an]
99		27	[/p'iau]	[\p'iau]
99		29	[/p'ivau]	[\p'i\/au]
100		2	*piau*	*piau*
100		19	[ʤz]	[ʤz]
167	20		И. И. Резвин	И. И. Ревзин
			№ 4, 1957 г.	
4		25	языков[3].	языков»[3].
31		3	[cer]	[čer]
49	6		*столы*	*стола*
58	11		[— *А. С.*]	[1 — *А. С.*]

24 Московского 18 кв 13

Цена 12 р.

Любкину

Продолжение

Стр.	Строка сверху	Строка снизу	Напечатано	Следует читать
58		21	-юго-	-ого
61		30	*тиуны*	*тиунъ*
96		21	j	J
104		11	Yanit	Yanıt
107	3		*çag*	*çağ*
115	26		*moliunea*	*moţiunea*
122		24	*d lga, talas*	*dàlga, tȁlas*
127	11		многие	многое
			№ 5, 1957 г.	
67		1	Bd. I, II, III (1—22) Lief. 1—4	Bd. I, II, III (Lief. 19—22)
77			*bulus*	*buluc*
106		8	*ə'əjанс*	*ə'əjан*
139		23	*gъlava*	*gъlava*
156	22		[ý]	[ў]
168	15		V. J. Litkine	V. J. Lytkine

СОДЕРЖАНИЕ

О. П. Суник (Ленинград). К типологической характеристике языков тунгусо-маньчжурской группы 3
М. С. Гурычева (Москва). Основные линии развития словосочетаний во французском языке 15

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. А. Реформатский (Москва). Что такое структурализм? 25
А. С. Мельничук (Киев). К оценке лингвистического структурализма . . 38

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Т. А. Иванова (Ленинград). Из истории именного склонения 50
А. Н. Гвоздев (Куйбышев). Обладают ли позиции различительной функцией? 59
В. К. Чичагов. Вопросы русской исторической ономастики. Об отношении русских имен к греческим в русском языке XV—XVII вв. 64
А. Б. Правдин (Тарту). К вопросу о праславянских значениях дательного падежа 81
Ю. Д. Апресян (Москва). Проблема синонима 84
В. В. Шеворошкин (Москва). К истории индоевропейского генитива . . 89

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

О. Н. Трубачев (Москва). Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского 91

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. М. Белкин (Москва). Арабское языкознание последних лет 97
Н. А. Баскаков (Москва). Состояние и ближайшие перспективы изучения караимского языка 101

Рецензии

С. А. Миронов (Москва). *P. C. Paardekooper*. Syntaxis, spraakkunst en taalkunde 103
М. А. Бородина (Ленинград). *P. Fouché*. Traité de prononciation française 108
Э. А. Грунина (Москва). *J. Deny*. Principes de grammaire turque («turk» de Turquie) 110
Н. М. Терещенко (Ленинград). *T. Lehtisalo*. Juraksamojedisches Wörterbuch 112
А. А. Фрейман (Ленинград). Письмо в редакцию 115

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Зд. Тыл (Прага). Работа над новым старочешским словарем 117
VIII Международный конгресс лингвистов в Осло 119
Хроникальные заметки 123
Указатель статей, напечатанных в журнале «Вопросы языкознания» в 1957 г. 124